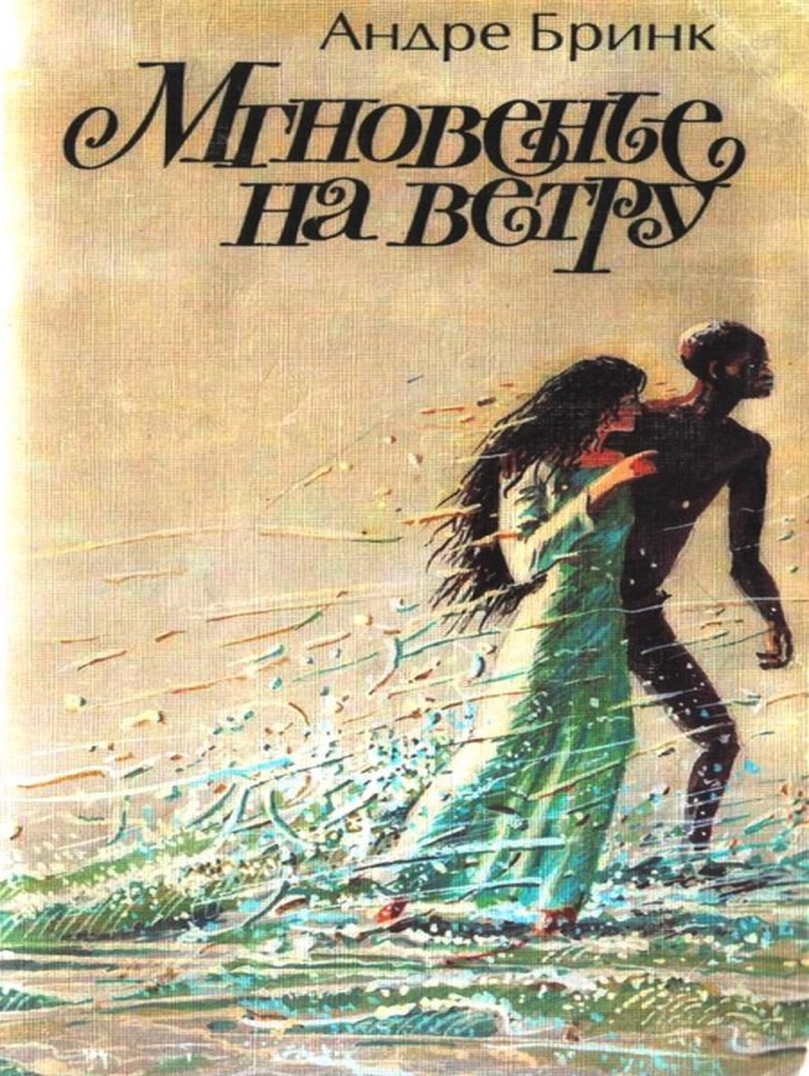
Андре Бринк

Мгновенье на ветру



Мгновенье на ветру
Андре Бринк

Аннотация
Андре Бринк
Предисловие
Мгновенье на ветру. (Роман)

Аннотация

Андре Бринк — один из нескольких южноафриканских писателей, пользующихся мировой известностью. Роман «Мгновенье на ветру» — среди его лучших. Сюжет его несложен: белая женщина и африканец волею обстоятельств вынуждены проделать длительное, чрезвычайно трудное путешествие по Африке теперь уже далекого прошлого. Постепенно между ними зарождается любовь, которую ждет трагический конец. Их отношения, чисто личные, хотя и с общественной подоплекой, обрисованы с большой психологической глубиной.

Андре Бринк

Предисловие



Передо мной лежат дневниковые путевые заметки, которым уже почти двести лет. Они считались настолько интересными, что были изданы на нескольких языках.

Вот пять томов русского издания. Первые два — почти тысяча страниц — вышли еще в 1793 году. В Москве, в типографии Зеленникова. А называются они: «Путешествие г. Вальяна во внутренность Африки, через мыс Доброй Надежды в 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 и 1785 годах». Эти тома читали современники Екатерины II, Суворова, Державина, да, может быть, и они сами.

Во времена Пушкина и декабристов, в 1824 и 1825 годах, в Санкт-Петербурге вышли еще три тома: «Второе путешествие Вальяна во внутренность Африки через мыс Доброй Надежды».

Эти книги читались и потом еще долгие годы. Гончаров в своем «Фрегате „Паллада“» ссылался на них не раз.

Через какие только приключения и злоключения не прошел автор этих дневников, французский натуралист Франсуа Ле Вальян! Повидал места, где до него не ступала нога европейского ученого.

Толстые тома с гравюрами и картами… Как памятники стародавним далеким путешествиям

стоят они в книжных шкафах. Осыпалась позолота на корешках, пожухла кожа переплетов. И все-таки, словно живой, говорит путешественник о чужих землях, об иных мечтах, о совсем другой жизни.

Читая эти записи, то и дело думаешь: какой же прекрасный сюжет для романа!

«Но к чему здесь-то вспоминать об этих теперь уже давно забытых манускриптах? — может спросить читатель. — Какая может быть связь между ними и книгой Андре Бринка, нашего современника, известного южноафриканского писателя?»

Андре Бринк попытался представить себе и показать читателям, какой могла быть жизнь двести с лишним лет тому назад. И не в Европе — о ней мы знаем немало, — а на самом юге Старого Света, там, где волны Атлантики и Индийского океана, наталкиваясь друг на друга, бьются о подножье древнего Африканского материка.

Как жили тогда люди? Каковы они были? Как любили, как ненавидели?

И вечная тема: он и она. И препятствия, которые не дают им быть вместе.

Бринк решил восстановить образы людей далекого прошлого. Самых разных по всему строю

жизни, по характеру, воспитанию, даже по цвету кожи — европейцев и африканцев.

Бринк ясно понимает, как нелегко заставить читателя поверить, что эти образы правдоподобны, реальны. И он прибегает к литературному приему: ссылается на якобы сохранившиеся их дневники. Это нужно ему вначале, чтобы с первых страниц вызвать к себе доверие. Дальше уже читателя захватывает и сюжет и динамика талантливо обрисованных человеческих отношений. Автору уже нет надобности ссылаться на эти дневники, читатель верит, даже когда из хода изложения становится ясным, что сохраниться те документы в общем-то никак не могли.

Но вот роман прочитан, перевернута последняя страница этого лирического, необычайно человеческого повествования. Оно не может не тронуть.

И все-таки остается вопрос: могло ли на самом деле произойти что-то подобное? Уж очень тут все непривычно для нашего современного глаза, непохоже на читанное прежде. Тем более нам, кто живет не только в совсем другой эпохе, но и в совсем другом краю земли.

Вот тут и стоит открыть пожелтевшие страницы Вальяна.

Как же перекликаются через два столетия очевидец и наш современник?

Вальян путешествовал по тем самым местностям, что и герои Бринка. Примерно в те же времена — всего на тридцать лет позднее. И даже многие эпизоды в романе напоминают странствия, описанные в книге французского натуралиста! Был даже в жизни Вальяна момент, когда он в незнакомом краю остался один — без спутников, да и вообще безо всего, с одним лишь охотничьим ружьем.

Так и просится мысль: а может быть, какой-то основой для романа Бринка и послужили записки Вальяна?

Отчасти это, наверно, так и было. «Путешествия» Вальяна — чуть ли не самые известные во всем мире книги о Южной Африке XVIII столетия.

Ну, а сами наблюдения и суждения Вальяна — в какой мере они помогают понять роман Бринка, поверить ему?

Персонажи Бринка — готтентоты и белые. Как же пишет о них Вальян?

Вальян, пожалуй, впервые подробно рассказал европейцам о трагической судьбе готтентотов. На этих древних обитателей Южной Африки к

тому времени уже много лет наступала голландская колония, обосновавшаяся на мысе Доброй Надежды и постепенно расширявшаяся на север, в глубь материка.

Суждения Вальяна, пожалуй, интереснее привести в старинном русском переводе, как их читали когда-то наши предки.

> «…Обманутые, угнетенные, сжатые со всех сторон, готтентоты разделились и приняли две совсем противоположные стороны. Одни, коим попечение о их стадах еще было приятно, удалились во внутренность гор, к северу и северо-востоку. Другие, которым несколько стаканов водки да несколько картузов табаку вскружили голову, видя себя бедными, ограбленными до нитки, не думали нимало оставить свою родину и не стыдились продавать свои услуги белым, которые, из подвластных пришельцев, вдруг сделались высокомерными властителями… Сложивши с себя совершенно тяжкие и многообразные труды, употребляемые на обрабатывание их полей, обременили ими сих нещастных готтентотов, кото-

рые, час от часу более унижаясь, наконец совсем удалились от прежних своих свойств».

Пожив среди одного готтентотского племени. Вальян с грустью отметил: «Много раз я радовался, что народ сей был одним из беднейших африканских народов и что, не имея ничего, ничего не мог и предложить в обмен торговли. Без сего те из колонистов, которые разъезжают по пустыням, может быть, дошли бы до них. Может быть, продали бы им ружья и порох. По крайней мере заставили бы желать иметь их. Эх! Кто знает, что произвело бы сие желание!»

Вальян путешествовал по землям самых разных племен. Убить его не составляло, конечно, никакого труда. Да что там убить — достаточно было просто отказать ему в поддержке, и он неизбежно бы погиб среди неведомой природы и неожиданных опасностей. Его лечили от болезней травами и снабжали пищей; ему помогали прокладывать путь.

Надо отдать должное и Вальяну. Он сумел оценить все это. Его не озлобили те случаи, когда не все складывалось гладко, а без подобных случаев, конечно, не могло обойтись такое долгое путе-

шествие. Его отзывы об африканцах исполнены благодарности.

«Некоторые не одобряли моего предприятия, несправедливо судя о характере диких африканцев, которых представляли себе лютыми чудовищами и людоедами, у которых я скоро и непременно должен был найти себе смерть. Что до меня касается, то думаю, что знаю дикого человека гораздо лучше, нежели сии превосходные говоруны, коих поверхностные сведения почерпнуты в наполненных лжами книгах, а посему нимало не страшился опасности, которую мне предвещали. Я имел случай вникать в природу человеческую; везде она показалась мне доброю; и везде также я видел ее гостеприимною и дружественною, когда не оскорбляли ее; и утверждаю здесь, прежде сам будучи истинно уверен, что в сих мнимо варварских странах, где белые не сделали себя ненавистными, потому что никогда там не были, мне стоило только подать руку в знак мира, дабы тотчас видеть африканцев, искренне ее

сжимающих в своих руках и принимающих меня, как своего брата».

В романе Бринка натуралист Эрик Алексис Ларсон поражен, увидев, что «цвет и строение мускулов под кожей» у африканца «оказались точно такими же, как у белых». Для тех времен такое удивление вполне правдоподобно. Но все же были и люди, которых это сходство не приводило в изумление. Вальян такой же ученый-натуралист, как и Ларсон, и лишь немногим моложе, но он видит намного больше общего между белыми и черными, предрассудков у него явно меньше.

Непредубежденность Вальяна, очевидно, располагала людей, они тянулись к нему и искренне рассказывали о себе. Такие рассказы помогают как-то представить себе тех, кто жил за пределами общины капских белых. Это относится не только к африканцам, но и к мулатам, которых на Юге Африки во времена Вальяна было тысячи (сейчас их число приближается к трем миллионам). На первых порах в Капской колонии было очень мало белых женщин, и связи колонистов с готтентотками, нередко даже целые гаремы, были обыденным явлением, как бы ни доказывали нынешние сторонники политики апартхейда,

что их предки всегда отстаивали здесь «расовую чистоту».

О настроениях в среде мулатов можно отчасти судить по одной беседе Вальяна с девушкой, которую он называет «прекрасной мулаткой». Вальяна удивило, что она жила среди готтентотов. «Мне казалось странным, что, родясь от белого, могши жить между белыми и иметь селение, подобно своему отцу, она отказалась от такой выгоды».

Ответ мулатки, видимо, обрадовал Вальяна своей искренностью. «Правда, я дочь белого, сказала она мне, но мать моя готтентотка… Вы знаете, сколь великое презрение ваши белые имеют к черным и даже получерным, подобным мне. Остаться жить между ими значило подвергать себя ежедневным оскорблениям и ругательствам или быть принужденною жить отдельно, одинокою и нещастною, между тем как у моих готтентотов я нахожу ласковость, дружество и уважение. Я вас спрашиваю, друг мой: что бы вы сделали на моем месте? Я не колебалась в выборе между известными друзьями и верными врагами; предпочла щастие гордости. У ваших колонистов я была бы в величайшем презрении; у людей, имеющих цвет моей матери,

я щастлива».

А что писал Вальян о белых колонистах?

В романе Бринка выведены белые жители самого Капстада — «Города на Мысе», основанного Голландской Ост-Индской компанией в 1650-х годах в качестве «морской таверны» на пути из Европы к Батавии и другим странам и городам Востока, казавшегося тогда сказочным.

Показаны и жители окружавшей Капстад Капской колонии — «Колонии на Мысе». Это все были выходцы из Голландии, а к концу XVII столетия к ним присоединились французские гугеноты — им пришлось покинуть Ла-Рошель и другие города Франции после того, как Людовик XIV отменил эдикт о веротерпимости, принятый его дедом, Генрихом Наваррским.

Колонисты были полными властителями судеб своих рабов — обращенных в рабство готтентотов, а также невольников, которых привозили с Мадагаскара, из Западной Африки, из стран Азии.

Но над колонистами стоял свой господин — Голландская Ост-Индская компания. Она устанавливала свои порядки, досаждала колонистам своими требованиями. И многие, видя перед собой бескрайние просторы Африканского

материка, уходили на север, далеко за пределы Капской колонии. Там над ними не было уже никакой власти. Они захватывали под свои фермы громадные участки земли и обращали в рабство столько африканцев, сколько это им удавалось.

В романе Бринка мы видим и тех поселенцев, что обосновались в самом Капстаде, и тех, что жили за его пределами, но все же в самой колонии, и тех, что переселились в глубь материка и нередко кочевали там со своими семьями, невольниками и всем своим скарбом.

Вальян, хорошо зная подобных людей, пытался даже классифицировать их — весьма интересно, хотя в свете наших сегодняшних представлений, может быть, и несколько наивно.

> «Можно разделить колонистов мыса на три класса: одни живут близко от мыса, на расстоянии пяти или шести миль; другие далее, во внутренности земель; наконец, последние еще далее, на границах колонии между готтентотами.
>
> Первые имеют богатые земли или красивые загородные дома и могут быть уподоблены нашим старинным мелкопоместным дворянам; они очень от-

личаются от других колонистов своим довольством и роскошью, а наипаче своими надменными нравами: здесь зло происходит от их богатства. Вторые просты, гостеприимны, очень добры, и все земледельцы, которые живут плодами трудов своих… Последние очень бедны и очень ленивы, не хотят снискивать себе пропитания от земледелия, живут только тем, что держат несколько скота, который питается, как может… Кочевая жизнь препятствует им строить постоянные жилища. Когда их стада заставляют их жить несколько времени на одном месте, то они на скорую руку строят другой шалаш, который покрывают рогожами — так, как готтентоты, коих обычаи они приняли и от коих ныне разнятся только чертами лица и цветом».

Самый нелестный отзыв дает Вальян первой, самой богатой части поселенческой общины. «Нет ничего ниже и подлее колонистов первого класса. Гордясь своим богатством, испорчены близостью к городу, от которого заимствовали одну только роскошь, их развратившую, и пороки,

их унизившие, они особенно пред иностранцами выставляют свою спесь и бессильную свою надменность. Будучи соседями колонистов, живущих во внутренности страны, не думайте, чтоб считали их за своих братьев. Исполнены к ним презрения, они назвали их Раув-Бер; название обидное, которое значит мужик, деревенщина».

Это приведенное Вальяном выражение «деревенщина» распространилось потом по всему миру: всех голландско-французских поселенцев стали называть бурами. Но в самой среде колонистов значение этого слова, очевидно, изменилось в XIX столетии, когда колония была захвачена Англией и прежние, голландско-французские колонисты организовали «Великий трек» — исход из Капской колонии в глубь материка, окончившийся созданием республик Трансвааль и Оранжевая. Ведь и те участники исхода из Капской колонии, которые прежде жили в городах, надолго перестали быть горожанами.

Вальян много говорит о таких колонистах, которые стремились «только грабить, устрашать, опустошать. В такой стране, в которой мы жили, все это было очень удобно».

Рассказывает и о том, как преступники из колонистов подбивали африканцев на участие в

грабежах. И о том, как спаивали африканских вождей; те становились пьяницами и, пишет Вальян, нередко просили у него «воды моей страны».

В этом-то краю, среди таких порядков и таких людей и развивается действие романа Андре Бринка. Его главным героям — Элизабет Ларсон и Адаму Мантоору — удается на какое-то время освободиться от тех социальных пут, которые так жестоко закрепляют положение каждого из них в обществе. И они живут надеждами, что все устроится к их благополучию и счастью.

Но это были несбыточные иллюзии. Хотя законодательство Капской колонии в ранние времена и допускало браки между белыми и небелыми, но на белых женщин это не распространялось. Если же случалось, что белая «согрешит» с рабом, то рабов чаще всего ссылали на остров Роббен, откуда они редко возвращались, а белых девушек и незамужних женщин насильно выдавали замуж — так и случилось с героиней Бринка.

А о том, чтобы выкупить невольника, Элизабет не могла и мечтать. Права выкупать раба белая женщина не имела.

К тому же Адам Мантоор не просто раб, а беглый раб. Беглых не прощали. Больше того, Адам

Мантоор поднял руку на своего хозяина, пытался убить его — и может быть, даже убил. О том, как поступали в таких случаях власти Капской колонии, можно судить по сохранившимся документам. Когда невольник по имени Клаас убил свою хозяйку, его приговорили к колесованию, к смерти на колесе. Другой невольник поджег дом своего хозяина — тогда его самого сожгли заживо.

Подобная участь для Адама Мантоора была неизбежной.

На первый взгляд может показаться, что этот роман в творчестве Бринка стоит особняком. Бринк пишет, как правило, о сегодняшнем дне своей родины, Южно-Африканской Республики. О сегодняшнем Капстаде, или — как его теперь чаще именуют — Кейптауне.

«Мгновенье на ветру» — пока единственный исторический роман писателя, уже давно добившегося известности во всем мире.

Вероятно, Бринку можно бросить упрек в том, что он несколько осовременивает своих героев, приписывает им подчас мысли, слова и поступки, которые в той эпохе не всегда выглядят вполне правдоподобно. Но, как известно, академик Тарле подмечал это даже в таком гениальном творении,

как «Война и мир».

Вольно или невольно чуть-чуть осовременивая своих героев — но при этом все же не греша всерьез против исторической правды, — Бринк подчинил весь свой роман одной цели — выяснить истоки нынешних порядков в своей стране, лучше увидеть корни не только официальной, проводимой сверху политики, но и широко распространенных представлений и предрассудков, которые в не меньшей степени определяют облик нынешней ЮАР.

Пристально всматриваясь в глубокое прошлое, Бринк пытается разглядеть самые ранние признаки той раковой опухоли, которая затем пронзила жизненные ткани его отчизны. Может быть, понять и психологию своих собственных предков, белых колонистов.

И, мне кажется, это ему удалось.

Аполлон Давидсон



Мгновенье на ветру[**]
(*Роман*)

Посвящается Брейтену
...какой долгий путь нам с тобой предстоит...



Я вышел в мир изломанных дорог,
Ища любви, чей голос неземной —
Мгновенье на ветру. Всесильный рок
Диктует выбор, каждому — иной.

Гарт Крейн

[**] Примечания: **

© André Brink, 1976.

...Мы живем в нравственно больном обществе, где все естественное извращено, но мы презрели законы и обычаи этого общества, мы внутренне освободились от его цепей и от его безумия. Там, куда мы вырвались, нам одиноко. Мы встретили друг друга. И удивительно ль, что, встретившись, мы тянемся душой друг к другу, хотя наш ум колеблется, не смеет принять решения и замирает в страхе?

Элридж Кливер

Кто они? Мы знаем их имена — Адам Мантоор и Элизабет Ларсон, и есть несколько записей, упоминающих о некоторых эпизодах их жизни. Известно, что в 1749 году, в последний год правления губернатора Свелленгребеля, Элизабет отправилась со своим мужем, шведским путешественником Эриком Алексисом Ларсоном, в экспедицию по капстадским пустыням, что Ларсон вскоре погиб, а жену его случайно нашел беглый раб по имени Адам, и в конце февраля 1751 года они вместе вернулись в Капстад — любопытная деталь, пустяк, ничего, в сущности, не добавляющий к тому, что нам известно о стране и об ее истории.

Кто же они? Мы потратили немало труда,

изучая их родословные, и нам повезло: мы обнаружили еще несколько фактов.

Адам Мантоор. В 1719 году в реестре рабов, принадлежащих фермеру Виллему Лоувренсу Рикерту, чьи земли находились в окрестностях Констанции, появилась запись о рождении младенца мужского пола, нареченного Адамом. Мать ребенка — готтентотка по имени Крисси, или Карие. Но готтентоты в те времена не были рабами, и чтобы выяснить, почему Крисси попала в реестр, нужно отлистать несколько страниц обратно, и тогда мы узнаем, что она стала собственностью Рикерта в 1714 году в возрасте десяти или одиннадцати лет, ее подобрала в бассейне реки Олифантс какая-то экспедиция вместе с десятком других детей, осиротевших после эпидемии оспы, которая свирепствовала в том году в колонии. Отцом ребенка записан Онтонг, раб, также принадлежащий Рикерту, но проданный вскоре некоему Херемии ван Никерку, фермеру из Пикет-Берга, за восемьсот риксдалеров.

Судя по дошедшим до нас сведениям, Онтонг появился на свет то ли в 1698, то ли в 1699 году от брака раба по имени Африка, вывезенного с Мадагаскара, и рабыни Сели, привезенной из Паданга почти девочкой. Вероятно, Африка и был

тот самый раб, которого в 1702 году казнили на площади перед дворцом губернатора за подстрекательство к бунту и за убийство своего хозяина, некоего Грове. Палачу уплачено за труды шестнадцать риксдалеров — четыре за клеймение каленым железом и двенадцать за пытку на колесе с сохранением жизни.

Сорок лет спустя внук Африки, Адам, тоже нарушил закон, он оказал неповиновение своему хозяину, вышеупомянутому Виллему Лоувренсу Рикерту, и даже бросился на него с палкой. За это преступление он был приговорен после справедливого суда к порке плетьми и клеймению каленым железом с последующей ссылкой на остров Роббен. В 1744 году он бежал, но запись о побеге весьма скупа, и потом в течение семи лет никаких сведений о нем не было. В марте 1751 года он был бит плетьми (три риксдалера) и повешен (шесть риксдалеров).

Элизабет Ларсон. Почему-то до сих пор считалось, что она приехала из Швеции вместе со своим мужем. Но в архивах Капстада найдено письмо (№ C41, стр. 154) от 17 мая 1749 года, в котором губернатор Свелленгребель дает согласие на путешествие в глубь страны. В этом письме перечислены также члены экспедиции: Херма-

нус Хендрикус ван Зил, свободный бюргер города Стелленбос; Эрик Алексис Ларсон из Гётеборга (Швеция) и «его супруга Элизабет Мария Ларсон, урожденная Лоув, жительница Капстада».

Основатель этой ветви рода Вильхельмус Янсоон Лоув приехал в Капстад в 1674 году в качестве солдата Ост-Индской торговой компании, с женой и двумя малолетними сыновьями. Один из сыновей умер в 1694 году, возвращаясь домой с острова Тексел, другой, Йоханнес Вильхельмсоон, родившийся в 1668 году, женился на гугенотке Мари Жанне Нуртье, родившейся в 1676 году в Кале. К тому времени его отец Вильхельмус уже оставил службу в Компании и возделывал землю в окрестностях Стелленбоса. Сын с невесткой поселились в том же поместье, вероятно, потому, что здоровье отца пошатнулось и одному ему было не под силу управляться с хозяйством.

От брака Йоханнеса с француженкой родилось шестеро детей: Жан Луи (в 1696 году; однако младенец умер шести месяцев от роду), Элизабет Мари (в 1697 году), Маркус Вильхельм Йоханнес (в 1698 году), Аллета Мария (в 1701 году), Анна Гертруда (в 1703 году) и Якомина Гендрина (в 1704 году). Есть основания считать, что Йоханнес играл не последнюю роль в борьбе свободных

бюргеров против губернатора Вильяма Адриана ван дер Стела, но в 1705 году он умер, так и не увидев плодов своей борьбы, которая увенчалась изгнанием губернатора. Его вдова вышла замуж за некоего Германуса Кристоффеля Фалька и родила еще троих детей.

Единственный сын Йоханнеса, Маркус Вильхельм, имя которого мы уже упоминали, поступил письмоводителем в Ост-Индскую торговую компанию, где служил еще его дед, и очень скоро был произведен сначала в счетоводы, а позднее в смотрители складов. В 1721 году он женился на Катарине Терезе Ольденбург (родившейся в 1703 году), дочери высокопоставленного инспектора Компании, которая приехала в Капстад из Батавии[2] погостить.

От их брака родилось двое сыновей — один в 1722 году, другой в 1725-м, но оба еще в младенчестве умерли, в живых остался лишь один ребенок — дочь Элизабет Мария, родившаяся в 1727 году. Любопытно, однако, что за восемь лет, протекших между 1740 и 1748 годами, у Маркуса родилось еще пятеро детей от трех принадлежащих ему рабынь, но после его смерти, последовавшей в 1750

---

[2] Примечания: 2
Центр нидерландской колонии на островах Индонезии.

году, все пятеро были приписаны к поместью как собственность семьи.

Элизабет Мария познакомилась со шведским путешественником Ларсоном, видимо, вскоре после его приезда в Капстад, куда он прибыл в феврале 1748 года. Поженились они через год, перед тем, как отправиться в свое роковое путешествие в глубь континента. Экспедиция Ларсона привлекла в то время так мало внимания скорее всего потому, что он с самого начала представлял ее властям не как путешествие с научными целями, а как обыкновенную охотничью прогулку (в лицензии, которую он получил, значилось разрешение на отстрел слонов, носорогов, гиппопотамов и других «экзотических животных»). Мало того что Компания тогда косо смотрела на иностранных путешественников, стремящихся исследовать колонию, — хотя всего двадцать лет спустя она встретила с распростертыми объятиями прославленных соотечественников Ларсона — Тунберга и Спармена, — но, судя по всему, и сам Ларсон не хотел допустить, чтобы кто-то другой опередил его и помешал осуществлению его планов. А планы эти заключались в том, чтобы собирать и классифицировать неизвестные в Европе растения, птиц и животных, но главное — он

задумал провести тщательнейшее географическое исследование страны с тем, чтобы составить подробную карту ее внутренних районов.

Вернувшись в Капстад, Элизабет Мария Ларсон, урожденная Лоув, вышла замуж вторично (в книге записей актов гражданского состояния значится только ее девичья фамилия, и, вероятно, по этой-то причине следов Элизабет так долго не удавалось найти). Вторым мужем Элизабет был Стефанус Корнелис Якобс, их сосед, человек уже весьма немолодой (он родился в 1689 году); бракосочетание состоялось в мае 1751 года. В августе того же года Элизабет разрешилась сыном. Вскоре муж ее умер, и больше она замуж не выходила.

В архивах Капстада хранятся под именем Элизабет Якобс написанные от руки «Мемуары» на восьмидесяти пяти страницах в восьмую долю листа, в которых Элизабет коротко рассказывает о своей жизни, по-видимому, обращаясь к сыну. Сдержанно и просто, что поражает в женщине, которая пережила столь страшные испытания, но повергает в горькое разочарование современных историков, повествует она о своем путешествии с Ларсоном: «Мы выехали из Капстада в двух крытых фургонах в апреле 1749 года, перевалили через горы Готтентотской Голландии и

двинулись к Теплым Ключам…» — вот в каком стиле описывает она путь экспедиции: сначала до бухты Мосселбай, куда в те времена добирались обычно вдоль побережья, потом через горы Аутениква и дальше чуть ли не по прямой на север, потом, описав плавную дугу на восток через Камдебу, в глубь горной страны Винтерберге и в Суурвельд. Насколько можно судить по «Мемуарам», путешествие сначала очень занимало молодую женщину, но скоро ее интерес угас и уступил место скуке, а потом и «невыразимому отвращению». Муж ее со страстью предавался занятиям наукой, посвящая им почти все время и внимание, засушивал цветы, охотился на птиц и потом набивал их чучела, выделывал шкуры зверей, ловил ящериц, тщательно наносил на карту пройденный путь.

Видимо, у него начались нелады с Ван Зилом, который отправился с экспедицией в качестве проводника, но очень скоро безнадежно сбился с пути. Развязка наступила неожиданно: после бурной ссоры с Ларсоном Ван Зил убежал в заросли и пустил себе пулю в лоб. Через несколько дней бушмены украли у них двадцать волов, и один фургон пришлось бросить. Потом сбежали все их слуги-готтентоты, оставив им лишь двух волов,

остальных они увели с собой. А потом в один прекрасный день Эрик Алексис Ларсон ушел на охоту и больше не вернулся. Экспедиция в то время находилась в бассейне одного из притоков реки Грейт-Фиш, в заросшем кустарником вельде. Там и нашел Элизабет беглый раб.

В «Мемуарах» содержится очень мало сведений о первой половине их обратного путешествия к морю, но, к счастью, описана, хоть и коротко, вторая половина пути, так что при некоторой доле воображения мы можем представить себе, как они пробирались через леса северо-восточной Цицикаммы и через горы к долине Ланг-Клооф и к Малому Карру, потом одолевали Свартберге — «Черные горы», потом Карру и, наконец, дошли до Капстада.

Но даже эти сведения обрывочны и скудны. Поражает неожиданно глубоким, тайным смыслом лишь последняя фраза, когда, сухо изложив все факты и перечислив названия, Элизабет вдруг пишет: «Этого у нас никто не отнимет, даже мы сами».

Недавно во время разборки какого-то архива, хранящегося в штаб-квартире Лондонского Миссионерского Общества, Ливингстон-хаусе, был совершенно случайно обнаружен еще один

важный документ — сильно попорченные дневники самого Ларсона, которые хоть и с трудом, но удалось прочесть. Как эти три тетради инфолио в толстых кожаных переплетах попали в руки Лондонского Миссионерского Общества, объяснить невозможно. Можно лишь предположить, и то с большой натяжкой, что кочевники-готтентоты случайно нашли дневники на заброшенной ферме много лет спустя после того, как Элизабет сделала в них последнюю запись, и передали их миссионерам в Бетелсдорпе, который находится неподалеку.

Большая часть записей в дневнике сделана рукой самого Ларсона — дотошнейший, подробнейший отчет о каждом дне их пути, наблюдения, открытия и находки, предположения, выводы. Есть, например, полный список всего, что они взяли с собой в путешествие, когда уезжали в двух фургонах из Капстада. В первый фургон было погружено шесть больших сундуков (на них стелили ночью постель для супругов) и два поменьше, и в них находились:

— одежда;
— сахар;
— кофе;

— чай;

— 10 фунтов шоколаду;

— домкрат, гвозди, железные прутья, буры, буравы и зубила;

— иголки, булавки, вата;

— товары для меновой торговли: стеклянные бусы, медные трутницы, ножи, прессованный табак, индийские шарфы, гребни;

— 500 фунтов табаку в маленьких бочонках, завернутых в мокрые овечьи шкуры, чтобы внутрь не проникал воздух;

— 1 тонна свинца и олова, а также набор разнообразных форм для отливки;

— 16 короткоствольных ружей с раструбом, 12 двуствольных пистолетов, 2 сабли, 1 кинжал;

— 10 стоп писчей бумаги для засушивания растений;

— научные приборы, в том числе компас, гигрометр, магнитная стрелка на горизонтальной оси, ртутный барометр в коробке (длина трубки 1 ярд) с запасом ртути в фаянсовом флаконе.

Во втором фургоне стояли два больших пустых сундука, которые предназначались для коллекций растений, насекомых и пр., а также:

— 2 палатки;
— 1 стол и 4 стула;
— 1 железный рашпер;
— 1 большая сковорода, 4 кастрюли, 2 чайника, 2 заварочных чайника, 2 кофейника, 2 корыта, 3 таза;
— 4 ящика бренди: два, чтобы спиртовать пойманные образцы фауны, и два, чтобы подкупать готтентотов и завязывать дружеские отношения с местным населением;
— фарфоровые тарелки (мелкие и глубокие), чашки и блюдца.

В путешествие взяли тридцать два вола, четырех лошадей, восемь собак, пятнадцать кур и шесть готтентотов.

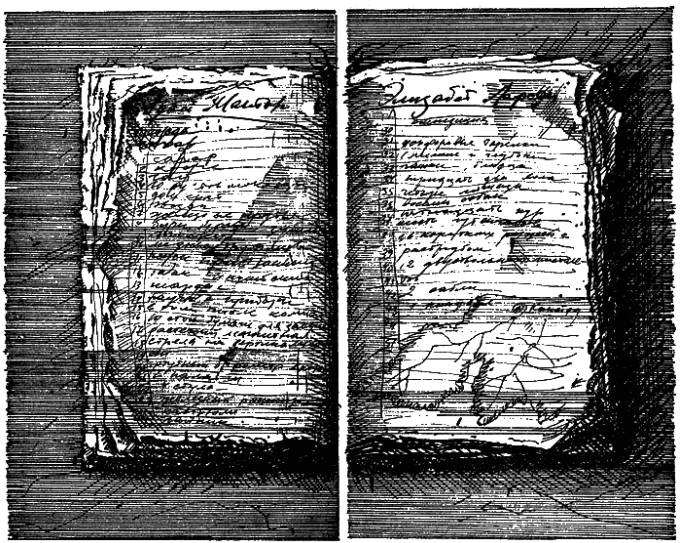
Каждый день измеряли пройденное расстояние и записывали погоду. Сразу же обращаешь внимание на то, что почти в каждой записи упоминается ветер — «Сегодня ветрено…», «Опять ветрено…», «Сильный ветер…», «Элизабет жалуется на ветер…», есть даже более распространенное

описание — самое поэтичное из всего, что можно прочесть в дневнике Эрика Алексиса Ларсона: «Эта страна похожа на бушующий воздушный океан, ветер несет и швыряет наш фургон, точно утлую ладью». В дневнике имеется каталог образцов фауны и флоры с точным указанием дня и числа, когда что найдено или поймано. Каждый подстреленный зверь, каждое животное препарировалось и тщательнейшим образом описывалось. Столь же подробно изложены происходящие во время путешествия события: «На меня бросился раненый лев, в последнюю минуту меня спас готтентот Боои, он убил льва, но зверь успел разорвать ему руку. Любопытно, что цвет и строение мускулов под кожей у Боои оказались точно такими же, как у белых».

Из дневника также явствует, что Ларсон придумал чрезвычайно оригинальный способ подстреливать птиц, не портя их оперения, чтобы потом делать для своей коллекции чучела. Этот способ, который много лет спустя вновь «изобрел» естествоиспытатель Вальян, состоял в том, что в дуло насыпалось небольшое количество пороха (в зависимости от размеров птицы и от расстояния до нее), потом забивался пыж из воска и наливалась вода. Таким образом, выстрел

только оглушал птицу, но так как перья у нее были мокрые, улететь она не могла.

Записей, касающихся лично Ларсона и его супруги, в дневнике очень мало. Лишь изредка встречаешь беглую фразу: «Была ссора с Элизабет...», «Увы, наука совершенно недоступна уму Элизабет...», «Ночью Элизабет была очень требовательна, утром повторилось то же самое; это не способствует сосредоточенности на занятиях».



После последней записи, сделанной 3 января

1750 года, в дневнике следует несколько пустых страниц, потом записи возобновляются почерком Элизабет, но без указания каких бы то ни было дат. Ее заметки пространнее ларсеновских и содержат гораздо больше сведений лично о ней, чем написанные столько лет спустя мемуары. К сожалению, в них отсутствуют подробности, а некоторые важные, судя по взволнованности ее тона, события так и остались загадкой. Однако за некоторыми фразами вдруг угадываешь совершенно иную, скрытую от нас жизнь: «Какой долгий путь нам с тобой предстоит. О, боже мой, боже…»

Так кто же они? Сейчас готовятся к изданию «Мемуары» и «Дневник» с комментариями, хотя Лондонское Миссионерское Общество еще не дало своего окончательного согласия на публикацию последнего. И когда книга выйдет в свет, авторы записок займут подобающее им место в истории. Но история как таковая нас сейчас не интересует, нас интересует то, что скрывается за фразами: «Этого у нас никто не отнимет…» и «Какой долгий путь…»

И ради них мы должны соскрести с истории верхний слой. Не просто пересказать ее, но проникнуть вглубь и заново все пережить. Пройти

по этой бескрайней земле и вновь вернуться к городу тысячи домов у подножья высокой горы, к городу, открытому ветрам и морю. Пройти по этой дикой неизведанной стране — кто ты, скажи? и кто я? — не зная, что тебе уготовано, когда ветер разбил все приборы и инструменты и листает страницы брошенных дневников, когда осталось только одно — идти вперед и вперед, пока еще есть силы. Идти и не думать о том, что тебя ждет. Идти и верить.

Она сидит на козлах фургона, сжавшись в комочек. Вечер, в ветвях диких смоковниц возле их бивака устраиваются на ночлег птицы. Вокруг разбросаны остатки снаряжения, с которым она совершала свое путешествие, — символы, олицетворяющие здесь, в диком, пустынном краю, высшие достижения ее цивилизации: разряженные ружья (она стреляла из них сегодня ночью и утром), мешочки с порохом и свинцовыми пулями, цветы, засушенные между листами белой, сплошь в пятнах, бумаги, чучела птиц и тщательно собранные скелеты, рисунки животных и деревьев, пейзажи с реками и горами, где отряд стоял лагерем, заспиртованные ящерицы и змеи, барометр, возле костра чайник и кастрюли, развешенные на кустах вышитые простыни, еще

не просохшая после вчерашнего ливня мятая одежда, покрытый свежей ржавчиной рашпер, тарелки и чашки, на сундуках у нее за спиной карта, ее контуры были нанесены более века назад португальскими мореплавателями и постепенно уточнялись, дополнялись, и вот теперь из левого угла к центру тянется узкая полоска, на которой обозначены реки, горы и равнины, указана широта, долгота и высота над уровнем моря, определены климатические зоны и преобладающие ветры, — узкая полоска среди белой пустоты, и в этой пустоте лишь несколько робких точек и линий, пустота открытая и обнаженная, великая, бескрайняя terra incognita[3].

Он стоит у ограды из веток, которая кое-как защищает фургон, в руке у него убитый заяц, он держит его за задние ноги, и с мордочки на примятую траву капля за каплей падает кровь. Она сидит, не поднимая головы.

Еще не поздно уйти. Она даже не узнает, что он был здесь; собак давно нет, их увели с собой готтентоты. Что гонит человека из вельдов и лесов, где все ему знакомо и привычно, к такому вот обреченному биваку? Что заставляет его

---

[3] Примечания: 3
Неизведанная земля *(лат.)*.

неделю за неделей красться по следу фургона, выслеживать его, точно собака или хищный зверь? Какой неистребимый инстинкт вынуждает его без конца кружить возле лагеря, все суживая и суживая свои круги?

Он еще может вернуться. Но он стоит и глядит на нее, как глядел уже столько раз в эти дни и недели, только сейчас он стоит гораздо ближе и смотрит не таясь. Ее длинные темные волосы рассыпались по узким ссутуленным в изнеможении плечам, точно эта ночь отняла у нее все силы, она кажется совсем юной, почти девочкой. Голубое платье с белыми кружевами, без фижм, подкладок и кринолина, которые носят в Капстаде, измято и грязно. Сегодня ночью она спала в нем и впервые за все их путешествие не переоделась утром, не умылась и даже не убрала волосы.

Вот я, перед тобой. Пять лет я ждал, это долго, слишком долго.

Наконец что-то заставляет ее поднять голову — не шорох, но тишина. Ветер, который не стихал все эти дни, который бушевал над лагерем сегодня ночью, ломая ветки, стараясь сорвать парусину с плетеного кузова фургона и истрепать ее в клочья, вдруг улегся.

И вот она видит его, видит его одежду и, потря-

сенная, отшатывается.

— Кто ты? — наконец произносит она.

— Мое имя — Адам Мантоор. — Он не сделал ни шага, не шевельнулся, лишь перехватил поудобнее заячьи лапы.

— Но кто ты?

Нелепая до смешного сцена: он хочет рассеять ее страх и подходит ближе, но она, не так истолковав его движение, хватает ружье и вскакивает на ноги.

— Стой, не подходи!

Он замер было на секунду, потом все-таки шагнул вперед.

Она нажимает спусковой крючок, но выстрела нет. Опустив ружье, она в растерянности ищет вокруг себя глазами, хватает пистолет с длинным дулом и швыряет в него. Он увернулся, и пистолет летит мимо. Теперь он знает наверняка. Он неспешно подходит к фургону и кладет возле нее зайца. Она медленно отодвигается в глубь фургона, глядя на него сквозь упавшие на лицо пряди. Он протягивает руку к ружью. Миг сопротивления, и она его выпускает, ее сковал такой страх, что она не пытается ни убежать, ни хотя бы спрятаться.

Адам берет из открытого мешочка щепоть

пороха, взвешивает на ладони и насыпает на полку, потом ловко забивает пыж и вгоняет в дуло свинец. Она глядит на него остановившимся взглядом. Он взводит курок, так что кремень поднимается вверх, точно голова змеи, которая готовится ужалить, и протягивает ей ружье, повернув к ней резным прикладом.

Она берет ружье, не сводя с него глаз.

— Что тебе надо?

Он пожимает плечами. Камзол ему явно велик.

— Подожди, — вдруг говорит она, скрывается в палатке и через минуту снова выходит с медной кружкой в руках. — Бренди. — Она показывает на свой рот. — Пей. — И повторяет настойчиво, потому что он точно не слышит: — Пей же.

Адам качает головой и ставит кружку на сиденье возле убитого зайца.

— А теперь уходи, — приказывает она, чувствуя себя гораздо увереннее с заряженным ружьем в руках. — Сейчас вернется мой муж.

— Нет, ваш муж не вернется. Он заблудился.

— Если он тебя здесь увидит, застрелит на месте.

— Чем — водой?

— Откуда ты знаешь?.. — спрашивает она,

растерявшись. Но гнев ее тут же вспыхивает снова. — А, так ты следил за ним! И давно ты за нами шпионишь?

Он неопределенно разводит руками, и ей снова бросается в глаза, как широки ему рукава парчового камзола.

— Это *его* одежда. Ты убил его и украл одежду!

— Я уже давно ее ношу.

Да, это верно, вчера утром, когда Эрик Алексис ушел за своей красной птицей, он был одет по-другому. Но недели две назад он записал в своих дневниках о пропаже платья — они решили, что его украли готтентоты.

— Так это ты вор!

Он снова пожимает плечами.

— На тебе платье моего мужа.

— Ну и что?

— Наглец, с кем ты разговариваешь!



Да, он более худ, чем Эрик Алексис. Примерно такого же роста, но гораздо тоньше. И какой же у него дурацкий вид в этом роскошном голубом камзоле, в расшитом цветами жилете и панталонах, но без шляпы и без чулок, в грубых башмаках из сыромятной кожи на босу ногу. Шут, настоящий шут, откуда ты взялся в этой пустыне? Зачем ты пришел? Уходи, я боюсь тебя. Но кто-то же должен мне помочь. Вчера его не было целый день. Он уже не раз забредал далеко, преследуя какую-нибудь экзотическую птицу или редкого зверя, но еще никогда не бывало, чтобы он провел ночь в вельде. Да еще такую страшную, как нынешняя.

А она, несмотря ни на что, уснула. Наверное, в ней накопилось слишком много страха и усталости, она спала и почти не слышала грозы. Собак у них не осталось: двух задрал лев, одну утащила гиена, трех подстрелили бушмены, когда псы погнались за ними, остальные ушли со слугами-готтентотами — предатели. Ван Зил с каждым днем все больше отбивался от рук, воровал бренди, задирался, подглядывал из-за кустов, как она моется и переодевается, а потом убежал в лес и застрелился. «Мне помогут готтентоты, мы сами его похороним. Ты не ходи, зрелище

не из приятных...» Какая деликатность! Только где же она была ночами, твоя деликатность? Я до рассвета видела в желтом свете лампы твой затылок, ты бесконечно писал свои дневники и чертил свою карту. Ты такой же одержимый, как мистер Ролофф. Тебе бы с картой обвенчаться, жаль только, карты не умеют стряпать. Больше ведь тебе от жены ничего не надо. Я корчусь и горю на медленном огне, но что тебе за дело? И для того-то я все бросила и отправилась с тобой в дикую, неизведанную страну, прилепилась к тебе и стала с тобой одна плоть? А ты прилепился к своей карте, к своим дневникам, плоть для твоего строгого научного ума слишком переменчива, слишком ненадежна, она шокирует тебя своей непристойностью и пугает. Ты доверяешь только своему барометру, ртутному столбику, который едва заметно поднимается и опускается. Как страшно ты наказал готтентота, который разбил флакон с запасом ртути! Ты велел привязать его между колесами фургона и запороть до смерти, а сам стоял и глядел, и твои бледные, как у всех шведов, руки тряслись. В ту же ночь все наши слуги убежали. Ты удивлен, что я так крепко спала нынче ночью? Меня освободил, раскрепостил мой собственный страх. Среди неистовства грозы

я чувствовала, что я в безопасности, с тобой я никогда не ощущала такого спокойствия, но сейчас я знала: мне ничего не грозит. Но вот прошел еще один день, и сегодня я уже не сомкну глаз. Ты жив, ты где-то неподалеку. Почему же ты не вернулся, когда я стреляла? Я разрядила все наши ружья, и вот пришел этот дикарь и снова их зарядил. А ты — надеюсь, ты настиг свою птицу с таким красивым, ярким оперением…

— Откуда ты? — спрашивает она.

Он оборачивается и широким неопределенным взмахом показывает назад, на сумеречный мир за своей спиной: высокие пологие холмы, глубокие долины, заросшие непроходимой чащей, неведомые ей деревья и кусты, которым придумывал названия Эрик Алексис Ларсон — латинские названия, ничего не говорящие ее слуху.

Как хорошо, что ты ничего не стал объяснять, а просто указал рукой, ведь этой земле еще не дали названия, во всяком случае латинского, она пока еще не существует. И эта земля принадлежит тебе, владей ею. Но я-то, я-то что здесь делаю? Что привело меня сюда, зачем я бросила Капстад и шла через горы, реки, долины? Неужели только затем, чтобы передо мной вставали все новые горы, все новые реки, раскидывались равнины и

плоскогорья, чтобы меня снова и снова встречали ветер и дождь, зной, сушь, безмолвие? Нет, нет, не хочу, не надо!

Адам делает к ней движение, и она мгновенно сжимается. Но он всего лишь берет зайца — на этот раз за уши — и идет к черному кострищу, залитому ночным дождем. Она настороженно наблюдает за ним. Он опускается на корточки спиной к ней — «Я могу его сейчас убить из того самого ружья, которое он мне зарядил», — достает нож и принимается свежевать зайца. Несколько быстрых, точных движений от белых лапок вверх, потом вдоль грудки и живота… Она завороженно глядит. *Цвет мускулов точно такой же…* Она опускается на козлы фургона и кладет ружье на колени, но он не поднимает глаз. Из бочки, которая стоит возле фургона, он наливает в чайник воды и относит к кострищу, достает из-под фургона сухие дрова, точно все здесь, в лагере, ему давно знакомо. Стоя к ней спиной, разводит огонь. Интересно, как он его разжег? Плывет дым, ползет едкий запах каких-то местных трав, и к ее горлу подкатывает тошнота.

Запах трав, запах страны… Он обжигает рашпер и раскладывает на нем мясо.

Солнце село, но небо продолжает гореть. В воз-

духе неправдоподобно тихо. За ближней грядой гор поднимается другая, третья, как они не похожи на синие, будто нарисованные на фарфоровом блюде, горы Готтентотской Голландии, они тяжелее, массивней и напоминают огромных спящих зверей.

Пока жарится мясо и закипает на костре чайник, он приводит двух оставшихся волов в загон и начинает поправлять поваленную ветром ограду. Он чувствует, что она не спускает с него глаз. Стоит ему только поднять голову, и он встретит ее взгляд. Но что он ей скажет? Я знаю тебя? Я тебя не знаю? Кто ты? Что ты здесь делаешь? Ты здесь чужая. Мы здесь не хотим знать о Капстаде… Нет, нет, это ложь. Пять лет я разговаривал сам с собой, скитаясь по диким лесам, по пустыне, пять лет я не мог прогнать из своей памяти Гору и бухту. Самый красивый вид на них открывается с острова Роббен. Тебя зарывают по шею в песок и мочатся тебе на голову. Между их расставленных ног ты видишь горы. Мать поет в винограднике: «Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо ты — каменная гора и ограда моя…»

Закутавшись в вышитое одеяло, бабушка тихо рассказывает о Паданге, о зеленых зарослях ги-

бискуса, сплошь покрытого красными цветами, о дрожащих листьях недотроги…

Она ест свой ужин, сидя на козлах фургона, он остался возле костра.

Поев, она ставит тарелку и поднимает голову.

— Принеси мне воды помыться, — приказывает она. За ее спиной под парусиновой крышей фургона висит на короткой цепи горящая лампа.

Он не шевельнулся.

— Ты что, не слыхал?

— Носите себе воду сами.

Даже при свете костра он видит, как она побледнела.

— Как ты смеешь так разговаривать со мной, раб! — в гневе кричит она.

— Я не раб.

— Что же ты тогда здесь делаешь?

— Я думал, вы нуждаетесь в помощи.

— Я?! Какая наглость!

— А почему, собственно? — Он неторопливо встает.

— Убирайся вон! — кричит она, срываясь на истерику. — Я прекрасно обойдусь без тебя!

Бледная, стиснув зубы, она слезает с фургона на землю и, подойдя к костру, берет кипящий на огне чайник, а он стоит и смотрит на нее. Потом

она возвращается к фургону и, обернувшись к нему, злобно бросает:

— Места своего не знаешь, видно, не научили.

Но он все молчит.

— Подожди: вот муж вернется…

Он лениво поворачивается к ней спиной и начинает класть в костер поленья на ночь. Когда от них повалил дым, он отходит чуть в сторону и видит на парусиновой стенке фургона ее тень. Наверное, она возле самой лампы, потому что тень ее уродливо велика, но все равно он не может отвести от нее глаз. Никогда еще он не был к ней так близко. Она раздевается. Высвободив руки и плечи из лифа пышного платья, она наклоняется над корытом и начинает мыться. Он видит сбоку ее грудь, и теперь это не просто выпуклость, скрытая под рюшами и кружевами, но две отдельные полусферы.

Ты белая, и рядом твоя черная тень. Пять лет мне приходилось разговаривать с самим собой или с кочующими готтентотами воинственных племен среди бескрайних просторов и безграничной свободы, которую я выбрал по собственной воле. Выбрал в ту ночь, когда бежал с острова и, чудом не утонув, поднялся, шатаясь, на берег; надо мной стоял узкий серп месяца, я был наг и

дрожал на ветру от холода, но я знал: это путь к свободе.

Где-то там она ждет меня, все время удаляясь. За какими горами я ее встречу, за какой рекой? Где юг отпускает человека, где перестает тянуть его, точно на волнах прилива, к дому, к матери, к детству? И вот ты стоишь в своем фургоне, я вижу на стене твою тень. А ты и не знаешь, что я на тебя смотрю, а может быть, ты так меня презираешь, что тебе все равно? Ты расчесываешь волосы, твои руки поднимаются, опускаются. Если ты слегка повернешься, я увижу твои острые соски. Ты, самый страшный из наложенных на меня запретов, самое недостижимое из всех живых существ — белая женщина.

Их окружает хлипкая изгородь загона, дикие смоковницы. А за ними — бесконечность, они обречены, приговорены ей.

Когда лампа в фургоне гаснет и теплый запах фитиля рассеивается, в темноте появляются дикие звери. Костер прогорел и теперь слабо тлеет. Прошлой ночью, когда ревел ветер и бушевала гроза, хищники таились вдали. Но сегодня они опять осмелели и подали голос, сначала далеко, потом все ближе, ближе и наконец подошли к самому лагерю. Хохотали шакалы, лаяли дикие

собаки, раздавался вой, страшнее которого она ничего на свете не слышала, от которого кровь у нее леденела в жилах, — вой гиен. Вой этот начинался низким глухим рычаньем и поднимался до пронзительного визга, разрывающего темноту. Луны все еще не было.

Эрик Алексис Ларсон знал, когда месяц должен родиться, когда луна начнет убывать, когда совсем исчезнет… Эрик Алексис Ларсон знал все.

Может быть, звери сейчас обгладывают его кости? Или готовятся напасть на лагерь? Растопчут никчемную изгородь, перепрыгнут через костер, может быть, огонь их даже привлекает? Гиппопотамы вылезают ночью из воды и идут на огонь. В тот вечер на берегу реки, которую ты нанес на свою карту и которой дал название, мы играли за нашим походным столиком в шахматы, возле нас горела лампа, и вдруг появилась эта громадина. Ты схватил лампу и бегом вокруг лагеря, гиппопотам за тобой, наконец готтентоты стали кричать тебе, чтобы ты бросил лампу. Ты швырнул ее, а сам кинулся прочь, гиппопотам бросился на лампу, растоптал ее и ушел себе как ни в чем не бывало. Ты потом записал в своем дневнике: «Оказывается, есть животные, которых свет не отпугивает, а привлекает, таковы,

например, бегемоты», — только и всего.

Поднявшись с постели, она подползает к краю фургона и приподнимает уголок парусины. В лицо ей дохнула прохлада ночи, — в фургоне так душно. Привыкнув к темноте, она разглядела возле костра его темную фигуру. Позвать бы его, но что она ему скажет, о чем спросит? Голос ей не повинуется, точно чьи-то руки сдавили горло. Вон он сидит, но ночь так темна, что она не знает даже, смотрит он на нее или нет. Он что же, собирается просидеть так до рассвета? Зачем? Она не хочет, чтобы он был здесь. Он — угроза ее независимости, ее молчанию, угроза ей самой. Но если бы его сейчас не было, она бы наверняка умерла от страха. Может быть, дать ему ружье? Или пусть просто так сидит у костра, в дорогой одежде ее мужа, которая висит на его тощих плечах, как на вешалке? Черная тень в темноте… Элизабет снова завязывает полог фургона. Руки ее дрожат, ладони влажные. Он там, у костра. Она натягивает вышитую простыню до подбородка и зажмуривается. Ей снова представляется та шелковица, истекающие соком спелые красные ягоды… Господи, неужто гиены будут сегодня выть всю ночь напролет? Зрелище не из приятных, сказал тогда он. И лицо ее горит, как в тот

день среди веток шелковицы.



Он возвращается в лагерь под дикими смоковницами первым, вынырнув из зарослей глубокой узкой долины, которую зажали с двух сторон зеленовато-бурые склоны холмов. Жара еще не спала, а на нем к тому же это непривычное платье, он ходил в нем весь день чуть не с рассвета. В мешке из оленьей шкуры, что висит у него за спиной, он принес несколько светлых крапчатых яиц и, проходя мимо костра, осторожно достает их и складывает в ямку. Потом, подняв голову, видит ее. Она идет между деревьями, высокая, тонкая; широкая юбка развевается вокруг длинных ног, ко лбу и щекам прилипли мокрые пряди темных волос. Когда она подходит ближе, он замечает, что она тяжело дышит и очень бледна, вокруг губ синева, на лице капельки пота. Она не видит его, проходит, чуть не задев, к фургону, хватается руками за крыло и падает головой на локти. Рукава ее платья засучены, в солнечных бликах золотится пушок на ее руках.

Она замечает его, лишь когда он наконец поднимается на ноги, и в испуге вздрагивает, но, узнав его, снова роняет голову на руки.

— Принеси… принеси мне… — начинает она, но голос ее прерывается, дыхание перехватывает, она стискивает зубы. Не досказав своей просьбы,

она идет за фургон, зачерпывает воды, наливает в чашку и возвращается. Теперь она садится на траву, привалившись спиной к переднему колесу. Он стоит и наблюдает за ней равнодушно, даже с легким злорадством.

— Не выносите солнца? — наконец спрашивает он.

— Что за глупости, — с досадой говорит она. — Сейчас пройдет. Я просто… — По ее телу словно проходит судорога. Она поспешно встает и бежит за фургон, он с изумлением слышит, что ее начинает рвать. Его охватывают угрызения совести. Чтобы не стоять праздно, он принимается рубить дрова для костра, но тут же бросает топор. Наконец она возвращается.

— Заболели? — спрашивает он.

— Нет. — Она садится и снова прислоняется к колесу. Вынимает из волос шпильки, и они мягкой темной волной рассыпаются у нее по плечам.

— Неправда, вам плохо, — не отступает он.

— Я жду ребенка. — Она вдруг вспыхивает гневом и выпрямляется. — Он не имеет права бросать меня одну. Он никогда ни о ком не думал, только о себе. — Но она так устала, что даже на гнев у нее не осталось сил. — Что, ничего не на-

шел? — спрашивает она, помолчав.

— Нет. Осмотрел шаг за шагом долину и отроги, но ливень смыл все следы.

Еще рано, но он все-таки решает разжечь костер и вскипятить чайник.

— В другое время я бы на солнце и внимания не обратила, — говорит она жалобным голосом, который противен ей самой. — Просто сейчас я…

Он слушает молча.

— Когда я гуляла в Капстаде, я проходила пешком по многу миль, — продолжает она. — Тайком от матери. Мать никогда не отпускала меня без портшеза. Однажды я даже поднялась на Гору, на самую вершину. — Она умолкает и ждет, чтоб он отозвался на ее слова. — На Львином хребте часто бывала и, конечно, на Голове Льва. Но на Гору взбиралась всего один раз. Забавно, правда, — снизу она кажется такой ровной, гладкой, иди себе, точно по улице, а начнешь подниматься, так сплошные скалы и ущелья и непролазные заросли. Там есть кусты с очень смешными плодами, вроде маленькой сосновой шишки, если сожмешь их в руке, они начинают шевелиться и щекотать ладонь. — Она все еще бледна, но лицо понемногу оживает. — Когда мужчины ходили на Гору, они обязательно приносили с собой эти

шишки и просили девиц закрыть глаза и подставить руку. Какой визг поднимался, хихиканье, сколько притворства, до сих пор вспоминать тошно.

Там, наверху, дул сильный ветер. Серые пятнистые скалы спускались к самому морю. А море было синее, огромное, казалось, оно тянется до самого конца земли. Странное чувство охватило ее на вершине, душу наполнила лихость, удаль, хотелось выкинуть какой-нибудь немыслимый поступок, на который она нигде больше не осмелилась бы. Не будь рядом спутников, она бы сбросила с себя платье.

Она открывает глаза и с недоумением, с досадой видит, что перед ней — он.

— Знаю я эту гору, — цедит он сквозь зубы. — Много раз там бывал.

— И тоже любовался морем?

— Да, видел и море.

— Мне так не хотелось спускаться с вершины. — Почему она с ним так разговаривает? Щебечет без умолку, точно капстадская барышня на балу, которой хочется удержать возле себя молоденького офицера с зашедшего в их порт корабля или заезжего чиновника из Патрии, и она без зазрения совести приукрашивает мелкие

события своей жизни: пикники, прогулки, письма, праздники, когда над заливом гремят пушки и вьются флаги и хозяйки в тавернах спешат разбавить вино водой.

— Мы ходили на Гору за дровами, — продолжает он нехотя, как бы через силу. — Уйдем чуть свет, а когда возвращаемся с вязанками, уже темнеет.

— Тяжело, наверное, носить дрова.

— Да нет. С горы мы их скатываем, а внизу свяжем и уж потом несем.

В ее глазах пустота.

— Ты раб, — говорит она.

— Нет, я не раб!

Закипает вода в чайнике.

— Можете налить себе чаю, — угрюмо и враждебно говорит он.

— Зачем ты пришел сюда? — спрашивает она с вновь вспыхнувшим недоверием. — Что тебе от меня надо? У меня ничего нет.

— Почему мне должно быть что-то надо? Я просто увидел в зарослях фургон и пошел посмотреть.

— Ты за нами следил. Ты украл его платье. Это ты его куда-то заманил.

— Вы же сказали, он охотился за птицей.

Она снова откидывается назад, стараясь избежать его взгляда.

— Ты должен отвести меня домой, — говорит она. — Мне надо вернуться в Капстад.

— В Капстад? — переспрашивает он. — Мне-то зачем туда возвращаться?

— Не могу же я остаться здесь! — Она крепко сжимает чашку в ладонях. — Нужно найти людей. Я не могу…

— В той стороне есть кочевники-готтентоты. — Он показывает рукой.

— Какой мне от них толк?

Он молча глядит на нее в упор. Почему я должен жалеть тебя? Не надо мне было вообще подходить к фургону. Да, я здесь, но это вовсе не значит, что…

— Я иду к морю, — говорит он, отводя глаза. — Может быть, по пути нам встретится какая-нибудь ферма или караван путешественников.

К морю, куда угодно, только прочь от этих нескончаемых холмов.

— Мы не можем уйти, пока не найдем его, — возражает она. — Наверно, он упал и сломал себе руку или ногу. Вернется, а меня нет.

— Он вас бросил.

— Нет, он меня не бросил. Он просто охотился

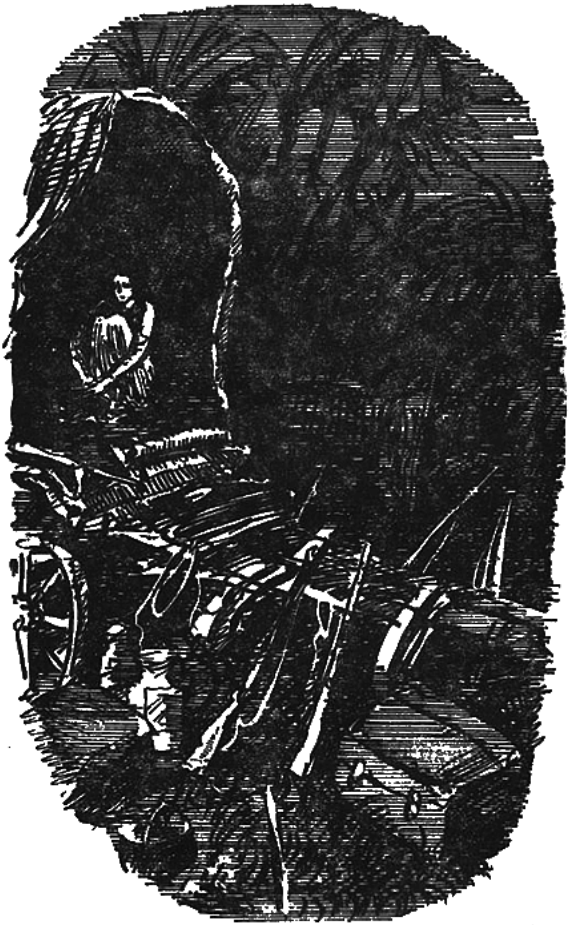
за птицей. Он вернется.

— Он что же, впряжется в ваш фургон и потащит?

— Он выведет нас отсюда. Ведь он же все-таки мужчина, — говорит она и с отвращением думает: «Ну зачем я это сказала?» В ее ушах снова раздается плач новорожденного младенца, вырвавшийся из-за двери, откуда вышел ее отец, голова его низко опущена, он увидел дочь и остановился как вкопанный. «Где ты был?» — спросила она тихо и жестко. «Зачем тебе знать?» — ответил он. Она чувствовала, как пылают ее щеки. «Это твой ублюдок? Значит, еще один? И что за судьба его ждет?» — «Не смей мне дерзить, Элизабет! Тебя это не касается», — сказал он. «По-твоему, рабыня — это всего лишь женщина!» — в ярости крикнула она и про себя подумала: «А женщина — всего лишь рабыня». В его усталых глазах сверкнул бессильный гнев. «Ступай к себе в комнату, Элизабет, будешь сидеть там до вечера».

— Мы не можем уйти сейчас, — решительно говорит она. — Вдруг он вернется. Ну, а уж если…

О, господи, море…



А он в это время думает: «Молочай на берегу в Капстаде… Как терпко его кусты пахнут летом, когда их нагревает солнце. Все это я отринул. Прошло столько лет, и вот теперь…»

Начинают сгущаться сумерки. В долине кричат даманы, они поднимаются вверх по склону.

— Почему они так страшно кричат?

— Что ж тут страшного?

— Будто их убивают. Прямо кровь леденеет в жилах.

Он смеется с презрением.

— Где ты живешь? — вдруг спрашивает она, повинуясь неожиданному порыву.

— Нигде.

— Зачем ты пришел сюда? Я должна знать, — властно говорит она. Но он молчит, и она снова наступает — Надеешься застать меня врасплох, думаешь, я не понимаю? — Она в волнении встает и начинает перекладывать лежащие на передке фургона ружья и пистолеты. — Ты просто выжидаешь случая. Но я с тебя глаз не спускаю, знай. И если ты посмеешь… скорее я себя убью… — В ее голосе начинают прорываться рыдания, но она их подавляет. — Понял? Ты не имеешь права. Я беременна. А ты — всего лишь раб.

Он молча глядит на нее. В руках его треснул

сучок. От резкого сухого звука она вздрагивает, точно от выстрела. Он переводит дух, стараясь овладеть собой, чтобы ответить ей спокойно.

— Раб, — произносит он наконец, — раб! «Ты не имеешь права»! Затвердили, как попугай, других слов и не знаете. Но с меня довольно, я больше слышать их не хочу.

Может быть, у тебя есть право отрубить мне ногу. Ну что ж, отруби, но говорить потом, что я не имею права ходить прямо… нет, этого я не позволю. Он видит, что она дрожит. Тогда он вдруг круто поворачивается и идет к проходу в ограде.

— Куда ты, не смей! — кричит она. — Ночь наступает. Ты не смеешь бросить меня здесь одну. Ты должен отвести меня домой, слышишь? Вернись!

Адам оглядывается на нее через плечо.

— Боитесь?

Она не отвечает.

Ты хочешь помыкать мной, потому что трясешься от страха, потому что передо мной бессильна. Немного же у тебя осталось власти. И вдруг ему становится почти жаль ее.

— Будете есть яйца на ужин? — смущенно спрашивает он. — Я очистил несколько гнезд в долине.

Тот день на чердаке… Мы с Левисом всегда забирались туда, наработавшись и наигравшись. Другие дети бааса были еще малы. Долгими летними днями мы плескались с ним голышом в холодной горной речке за рощей пихт и молодых дубков. Ездили в город в фургоне, отвозили вино на склады Компании. Ставили силки для маленьких серых оленей, которые травили рано утром поля пшеницы и ячменя. Скакали без седла на молодых бычках, кубарем летели с них в пыль и навоз. И каждый вечер лезли по высокой деревянной лестнице на чердак, где так сладко пахло изюмом, который сушили из спелого сочного винограда, мы еще помогали его собирать. Сидя на корточках в душистом полумраке среди выделанных кож и кип сушеного чая, возле двух гробов, сколоченных из атласного дерева, которые держали на всякий случай и, чтоб зря не пропадало место, хранили в них сушеные фрукты, я рассказывал Левису истории, которые слышал от бабушки. Сначала он тоже всегда бегал со мной во двор усадьбы слушать, как она их рассказывает, нанизывая, точно бусы, звучные имена и названия — Тьилатьяп, Палик-папан, Джокьякарта, Смерос, Паданг, Борободур, но потом руки ее скрючились от ревматизма, и она

больше не могла работать, и тогда баас отпустил ее на свободу, и она поселилась в городе, высоко на Львином хребте в крошечной глинобитной лачуге. С тех пор уже я пересказывал Левису ее истории, сидя с ним на чердаке и поедая сладкий изюм. Никакой тайны из своих походов на чердак мы не делали, да нам никто и не запрещал туда ходить, не то что в погреб. Мы не представляли себе жизни без чердака, где пахло корицей и листьями баку[4] вяленой рыбой, сушеными фруктами, кожей. Поэтому-то я сначала ничего и не понял. Левис в тот день уехал с отцом и каким-то их гостем из Патрии на Хаут-бей, а я, вернувшись под вечер голодный с горы, где собирал птичьи яйца, сразу же побежал на чердак за изюмом, а когда начал спускаться по лестнице, меня окликнула хозяйка.

— Что это у тебя в руках?

— Изюм, госпожа. — И я разжал горсть и показал ей.

— Где ты его взял?

— Там, госпожа, наверху. На чердаке, госпожа.

— Кто же это тебе позволил, а?

— Кто позволил, госпожа? Но ведь мы… Как

---

[4] Примечания: 4

Баку — дерево, листья которого содержат тонизирующие вещества, сейчас широко используются в фармакологии.

же так?..

Те же самые слова я повторял и хозяину, когда вечером вернулись мужчины и хозяйка вывела меня к ним.

— Как же так, баас, как же так, ведь мы…

— Ну что за люди, неужто вы никогда не избавитесь от своей привычки воровать? — сказал хозяин. — Видно, придется тебя проучить.

Позвали двух рабов, велели им привязать меня к тачке и раздеть, и все равно я еще не понимал, что происходит. Веревки больно врезались мне в руки и в лодыжки, я заплакал.

— Баас, баас, мы же всегда лазали с Левисом на чердак за изюмом!

Он обернулся к Левису, который все еще держал коней на поводу.

— Это правда, Левис?

— Нет, папа, врет он.

Так он и сказал, мой неразлучный друг, с которым мы купались в горной речке, ездили в город, скакали без седла на молоденьких бычках за каменной оградой загона: «Врет он».

— Ты еще мал, Адам, мал и несмышлен, поэтому, так и быть, обойдемся всего одной трубкой.

Хозяин сел на нижнюю ступень стремянки, которая вела на чердак, раскурил трубку и, думая

о чем-то своем, стал глядеть, как двое молодцов из его дворовой челяди охаживают меня добротными плетками из гиппопотамовой кожи, вспарывая мне зад и спину, будто ножом, точно и ловко, и по бокам у меня бегут горячие, щекочущие струйки крови. Потом хозяйка принесла соль в маленькой солонке и стала втирать мне в раны, а я так кричал от боли, лежа на тачке, что даже описался.

— Мама, но ведь он правда лазал со мной туда, — всхлипывал я ночью, дрожа в ознобе на кипе шкур, а мать осторожно прикладывала мне к ранам целебные травы. Она не плакала — о нет. Она была тиха, как всегда. — Это Левис водил меня с собой на чердак. Хоть бы раз объяснил, что мне туда нельзя. А теперь вот сказал баасу, что я вор. Это несправедливо, мама!

— Откуда нам знать, что справедливо, а что нет? — нежно утешала она. — Взгляни на меня. Мои отец и мать — готтентоты, по закону я должна быть свободной. Но гонкхойква, белые люди с прямыми волосами, рассудили иначе. Они знают, как должно быть, а наше дело повиноваться.

— Нет, мама, ни за что!

— Слушайся меня, а то снова с головы до ног исполосуют.

— Но как же, мама, я не понимаю…

— Шшш, кто мы такие, чтобы понимать? Молчи, Аоб, молчи. Баас велел тебе завтра прийти чуть свет.

Аоб… Это был я. Это мое имя. Его дала мне она, и никто, кроме нас с ней, не знал, что я — Аоб. Для всего мира я был Адам, но тогда, в темноте, когда ее руки утишали боль моих ран, я был Аоб, Аобу она рассказывала о своем вольном народе, который жил среди бескрайних просторов за горами, кочуя круглый год со стадами коров и курдючных овец, останавливаясь возле бесчисленных каменных могил великого охотника Хейтси-Эйбиба, рассыпанных по всему краю… И здесь, сейчас, я тоже Аоб. Но ей я сказал: «Меня зовут Адам Мантоор».

В тот день я впервые понял, что существую в двух лицах. Один я для гонкхойква, и другой, тайный, я — для меня и моей матери, его зовут именем, которое она принесла с собой из безымянной страны, что лежит за многими горами.

— …Я могу высосать из твоего тела яд змеи, — сказала старуха, которая нашла меня возле термитника. И выплюнула потом яд через мое плечо. — Видишь как просто. Но против яда, которым отравляют душу гонкхойква, у меня нет

лекарства…

— Готовы яйца, — объявляет он.

Она сидит в фургоне. За ее спиной, под выгнутой куполом парусиновой крышей, горит лампа; лицо у нее такое же темное, как у него. Она гордо, величаво подходит к костру за тарелкой, но прежде чем повернуться и уйти, медлит мгновенье.

— Послушай, — говорит она. — Я не хотела… Когда я сказала… Просто я не знаю, что теперь будет. Я была уверена, что сегодня мы его найдем…

— Расскажите мне о Капстаде, — резко перебивает он.

— О Капстаде? Зачем он тебе?

— Хочу знать. Для того и пришел к вам.

— Но я, право, не знаю ничего, что было бы тебе интересно… Мы уехали так давно, я почти все забыла. Когда я думаю о Капстаде, то вспоминаю только свое детство.

— Расскажите о детстве.

Она садится, задумывается ненадолго, потом начинает рассказывать, глядя мимо него, точно его тут и нет:

— По воскресеньям мы ходили в собор. Матери всегда хотелось сесть поближе к кафедре, но места отводились прихожанам согласно их положению в обществе. Еще мы ездили во дворец.

Бывали там на всех приемах.

Когда в залив входили корабли, улицы наполнились народом. Вечерами мы сидели на веранде, взрослые пили белое вино с каплей абсента или алоэ, отец иногда давал мне попробовать. После ужина дамы и девицы уходили в гостиную, болтали, играли в разные игры, мужчины оставались в столовой, а если было лето, возвращались на веранду, и слуги носили им туда вино, трубки и табак. Я всегда норовила улизнуть из гостиной, мне хотелось поглядеть на мужчин, послушать, о чем они говорят. До нас доносились громкие голоса, раскаты смеха, у них было куда веселей, чем в гостиной, где дамы чинно пили кофе из маленьких чашечек, или мозельское с сахаром, или сельтерскую воду. — Она глядит вдаль, как глядела и раньше, забыв о его присутствии, и говорит, говорит, точно ее прорвало после долгого молчания и теперь она просто не может остановиться. — Однажды во дворце устроили бой быков. Отгородили часть двора и пригнали туда быка, бык был огромный, черный, без единого пятнышка, с могучим загривком и крутыми рогами. Под кожей у него — я как сейчас вижу — играли и перекатывались мускулы. В каком бешенстве он храпел, рыл ногами песок, с какой

яростью пытался сокрушить забор, доски трещали, дамы пронзительно взвизгивали. Наконец в ограду впустили свору собак, и собаки кинулись на быка. Они норовили вцепиться ему в морду, а он подбрасывал их в воздух, точно кучу тряпья. Но собак было много, они облепили быка со всех сторон, впивались зубами ему в шею, в загривок, в брюхо, в ноги, в морду, в хвост… Они лаяли и рычали, бык ревел, — я чуть не оглохла. Но вот бык споткнулся и упал. Собаки рвали из него мясо огромными кусками. Зрелище было страшное, и публика словно обезумела. Но бык снова поднялся. Морда у него была вся разорвана, кровь хлестала ручьем, но он снова кинулся на собак. Двух поднял на рога, их кишки обмотались у него вокруг головы, глаза заливала кровь. Я хотела уйти, я просто не могла больше смотреть, боялась, что меня вот-вот вырвет. Но я не могла встать, ноги точно отнялись. Я заплакала. Все так кричали и вопили, что моего плача никто не услышал. Когда долгое время спустя я снова открыла глаза, бык лежал на земле, а собаки, рыча и отпихивая друг друга, раздирали его на части. Не было больше атласной черной кожи, не было играющих мускулов, была окровавленная туша, покрытая песком и навозом. Я никогда не

думала, что смерть так безобразна. И так бессмысленна. Бык был такой гордый, могучий, его мышцы так радостно играли, но вот от его силы и красоты не осталось и следа, передо мной лежало омерзительное кровавое месиво вперемешку с песком и навозом. — Из ее глаз полились слезы. Пальцы так крепко сжали тарелку, что она чуть не раскололась.

— Зачем вы мне все это рассказали? — с недоумением спрашивает он.

Она встряхивает головой. Вытирает слезы, сморкается. Потом долго сидит, уставясь в тарелку, где лежит ее ужин. Ты еще не знаешь худшего, опустошенно думает она. Не знаешь, что, когда я вернулась домой, ужаса и отвращения уже не было. Меня переполняла удивительная легкость, точно я навсегда освободилась от всех своих тревог. Голова кружилась, как после глотка арака, который отец давал мне несколько раз попробовать. Я словно пережила огромную радость, у меня словно выросли крылья.



Ее стеганое одеяло из гагачьего пуха расстелено на траве, а на одеяле она разложила огромную карту и, чтобы карта не свертывалась, поставила на один ее конец несколько банок с заспиртованными ящерицами и змейками, а другой прижала коленями. Это та самая карта, которую составлял Эрик Алексис Ларсон, карта, где узкий клин испещрен значками, линиями и надписями, а вокруг огромное белое пространство, на котором лишь несколько робких, условных помет — сведения Кольба и Де ля Кея, рассказы охотников за слонами и готтентотов, которым Ларсон дал взамен медные трутницы и стеклянные бусы, бренди, несколько плиток жевательного табака… Так вот в этом месте я знаю все наверняка, все точно начерчено и надписано, река проходит именно здесь, в этом я не сомневаюсь, этот горный хребет и его отроги я сама исследовала и делала записи, на этих плоскогорьях уровень летних осадков очень низок… А дальше? Дальше может быть все, что угодно — Мономотапа, земли, где живут белые люди с длинными прямыми волосами, царство сказочных зверей, золото, — дальше простирается Африка.

— Поди сюда! — зовет она, и он подходит. Она разглаживает складку на карте. — Покажи мне,

как нам добраться отсюда до моря.

— До моря? — Он оборачивается и показывает рукой — море находится там, далеко, правее восходящего солнца.

— Да нет, ты мне здесь покажи, — с досадой говорит она, — здесь, на карте.

Он опускается против нее на корточки и, нахмурившись, с любопытством и опаской разглядывает карту.

— Мы находимся вот здесь. — Она показывает ему — где. — Вот это берег моря. Но как нам к нему выйти? Где лежит путь?

Он качает головой, поднимается на колени и снова машет на юго-восток.

— Ты что же, никогда не видел карты?

Он смотрит на нее угрюмо, подозрительно.

— Вот это Капстад, — нетерпеливо объясняет она. — Здесь Горячие Ключи. Здесь Свеллендам. Это — горы Аутениква. Вот путь, которым мы двигались сюда. Теперь покажи мне…

— Зачем вы меня-то спрашиваете? — в гневе перебивает ее он. — Вы же считаете, что эта земля вам принадлежит. — Он хватает карту за угол и дергает, банки падают, спирт льется на траву. Швырнув карту на землю, он в сердцах плюет. — Растопчите свою карту, выбросьте, — земля как

была, так и будет, ничего на ней не изменится.

— Не смей трогать мою карту! — кричит она, пораженная этой неожиданной вспышкой, испуганная, обескураженная. Нет, она не поддастся страху. Она никогда никому не позволяла брать себя за горло, почему же сейчас должна спасовать? Отец, который был ей ближе всех, несмотря на их бурные ссоры, любил повторять: «Не понимаю я тебя, Элизабет. Надо было тебе родиться мужчиной», потому что в ней было качество, которое многие принимали за проявление «мужского характера»: не резкость и не суровость, о нет, но внутренняя замкнутость, сознанье собственного достоинства, скрытое за внешней мягкостью и простотой манер, готовность дать немедленный отпор всем, кто посягнет на ее мир, любой ценой сохранить то, что она считает своим.

Она понимает, что молчание не сулит добра, но все-таки не желает сдаться.

— Что с тобой спорить, только время терять, — надменно бросает она. — Ты просто дурак.

— Ну что ж, прекрасно! — Он снова вспыхивает. — Ваша карта привела вас сюда, пусть она и отведет вас домой!

Ты разбираешься в этой никому не нужной кар-

те, а я нет, и потому я — раб? Нет, ложь! Я не ношу с собой ни клочка бумаги, зато я видел эту землю собственными глазами, я слышал ее запахи и голоса, я ходил по ней, трогал ее, обнимал, она для меня воздух, хлеб, жизнь. И я знаю — земля не там, не на твоей карте, она здесь, со мной. А ты что знаешь о ней?

— Раз я дурак, обходитесь без меня.

Она наклоняется и, взяв с земли карту, начинает ее аккуратно свертывать.

— И обойдусь. Обходилась же я до сих пор, — произносит она наконец с усилием, — и я, и мой муж.

— Ничего себе обходились — ваш муж как ушел, так и не вернулся.

— Он обязательно вернется!

— Уж скоро неделя, как его нет. Сколько вы еще собираетесь сидеть здесь и ждать?

— Как же я могу уйти, а если он вернется? Я потом всю жизнь буду мучиться, что он, наверное, пришел, а я его не дождалась.

— Он что же, малое дитя, без вас шагу ступить не умеет?

— Я — его жена. — Он не ждал от нее ответа, и уж, конечно, не ждал таких тихих, гордых слов и, услышав их, отводит глаза. Она стоит, высоко

вскинув голову, грудь ее прерывисто вздымается. Мало ли что было между нами, сейчас это не важно. Пусть даже мы ошиблись, пусть я не люблю его, презираю, — неважно: он — мой муж, и он — отец ребенка, которого я ношу под сердцем.

— Думаешь, легко мне было ждать здесь столько времени… — говорит она. Голос ее смягчился, но в нем нет жалости к себе. — Думаешь, легко было идти по этой стране…

Он поднимает глаза, но, встретив ее взгляд, потупляется и уходит к фургону. Что ж, видно, настал и твой черед. Человек думает, что он свободен от этой земли, но рано или поздно все начинают чувствовать ее власть.

Она идет следом за ним.

— Что ты собираешься делать? — спрашивает она, забираясь в фургон, чтобы положить карту. — Как по-твоему, что мы должны делать?

— Лично я буду пробираться к морю, — говорит он. — Надоело сидеть и ждать неизвестно чего. Пора двигаться дальше, завтра утром я ухожу. А вы как знаете, можете идти по своей карте. — Он поднимает на нее глаза. — А то идемте со мной, если надумаете.

— А вдруг он завтра вернется? Или через неделю?

— Вы хотите родить живым и здоровым ребенка, которого носите, или вам важнее сидеть здесь и дожидаться покойника?

— Он не покойник, он жив!

Пожав плечами, он берет с сиденья винтовку, отсыпает немного пороха и пуль.

— Куда ты?

— Раздобыть мяса.

— Кто тебе позволил взять винтовку?!

Он видит, каким отчаянием вызван ее протест, и все-таки выходит из ограды, не оглянувшись. Осталась позади купа диких смоковниц, он спускается по травянистому склону, который зазеленел после недавних ливней, прорывших в красной глине глубокие канавы. Чем ниже он спускается, тем гуще заросли деревьев и кустов. Звериная тропа, вьющаяся среди кустов молочая и саговников, привела его к ручью, он переходит ручей вброд и поднимается на следующий холм, где на вершине, он знает, часто пасутся антилопы. На душе у него тяжело. Как же ему довести ее с ребенком до моря? Знала бы ты, как бесконечно далеко до Цицикаммы! И как ты потом будешь добираться от Цицикаммы до Капстада? Тебе нельзя оставаться здесь, я знаю. Но как мы одолеем этот путь? Нет, не этого я ожидал, когда подходил к

твоему фургону, о нет. Я просто хотел… чего я хотел? Откуда мне знать? Я просто хотел, чтобы ты рассказала мне о Капстаде. Я столько лет скитался вдали от него, вокруг были дикие звери, камни, колючий кустарник, безмолвие, лишь изредка я встречал кочевников-готтентотов. Человек ко всему привыкает, смиряется и продолжает жить, и все же, и все же… Я уже не смогу бросить тебя здесь. Я все еще скован печалью, которая пронзила меня, когда я узнал в тебе ненавистный Капстад. Разве я могу с ним снова расстаться?

«Интересно, кто в чьих руках? — думает он. — Кто в ком больше нуждается?»

И все равно они должны идти дальше. Каждый раз, когда человек продолжает путь, он словно начинает его заново. Там, на острове, где ему приходилось с утра до ночи бить камни, копать грядки в огороде, ловить рыбу, он, улучив минуту, собирал обломки досок, чтобы смастерить себе плот и весла. Сколько месяцев прошло, пока наконец все было готово. А потом он стал ждать удобного случая, потому что иногда с каторжников снимали кандалы и цепи. Наверное, был праздник, потому что им дали вина и долго читали Библию, и когда пьяные стражи задремали, он незаметно убежал и до темноты прятался в

зарослях. Шумели волны, шуршала галька на берегу, потом негромко всхлипывали весла, мерно разрезая воду, — он плыл к слабому мерцающему свету на берегу, к темной громаде горы, а в просторном небе над головой горели звезды. Ветер был встречный, море сильно волновалось. Но он знал, что другой возможности у него не будет. Вскоре волны так разыгрались, что пришлось бросить весла и вцепиться руками в плот, иначе его бы смыло. Доски под ним скрипели и плясали, и вдруг плот развязался. Он ухватился за обломок доски, лег на него грудью и поплыл. Если бы только видеть волны, знать, когда на тебя обрушится следующая лавина… Он наглотался воды и чувствовал, что тело его стало тяжелым, как мокрый парус, он уже не знал, в какой стороне берег, его тянуло ко дну, он кашлял, захлебывался. Все, конец. Руки от холода свело судорогой, в груди горел огонь. Вот она — смерть, и все равно он барахтался, все равно пытался плыть. И вдруг его выкинуло на берег. Наверное, такое чувствуют, когда рождаются. Без единой мысли в голове он выполз из полосы прибоя и упал на песок, дрожа и корчась, точно умирающая рыба.

— Помни, — говорил ему баас, — эта земля — твой удел.

Это ты, земля? Так обними меня и не выпускай из своих рук, я больше не могу бороться, вода снова тянет меня к себе.

А потом, проведя ночь в горах, он пробрался тайком в усадьбу, взял там коня и ускакал. Он знал: если рассвет застанет его в окрестностях Капстада, пощады не будет. «Возвожу очи мои к горам…» — эти слова он слышал еще в детстве, ведь его старались воспитать религиозным — как же иначе! — рассказывали об Иисусе Христе, о Хейтси-Эйбибе, но эти легенды перепутались в его голове со сказками бабушки Сели о великом пророке.

Днем он прятался в густых зарослях. А на третью ночь оставил измученного коня уже высоко в горах и полез по крутым скалам вверх.

Внизу, в лунном свете, широкой дугой раскинулся Фолс-Бей, такой прекрасный и величавый, что захватывало дух; вдали темнела Столовая гора — моя гора, мой залив. Здесь я родился, здесь живет моя мать, здесь похоронена бабушка. А отец, которого я никогда не знал? Его колесовали на площади перед дворцом губернатора, но имя его до сих пор живет в народе. Мой край, моя родина. Я закрываю глаза и так ясно вижу широкие равнины, фламинго и виноградники, серебряные

деревья, белые дома, я слышу вонь городских кварталов, где живут рабы, кисловатый запах молодого вина в погребах усадьбы, вижу кареты, которые несутся в тучах пыли, среди своры собак. Эта земля — мой удел, говорил мне баас. И вот теперь я должен ее отринуть, отбросить, точно старое, пропитанное потом и кишащее блохами одеяло, а ведь человек в конце концов начинает любить даже свои струпья. Уйти за этот гребень и все начать сначала, выучиться всему заново: вот это — камень, это — дерево, это — олень, это — гадюка… Моя земля, моя бесплодная пустыня, отныне мы с тобой один на один.

Завтра меня бросятся разыскивать. Начистят и зарядят ружья, оседлают коней, кликнут собак и будут преследовать меня, охотиться за мной, как за шакалом. Ведь я теперь для них дикий зверь, нет, хуже зверя, я — беглый каторжник. У Каина была хотя бы печать на лбу, и потому люди его не трогали, так, рассказывала моя богобоязненная мать. Моя печать у меня на спине, и она не защитит меня, а погубит. Ну что ж, охотьтесь за мной, догоняйте, ловите, посмотрим, удастся вам поймать меня или нет. Отныне мы враги. Мой Капстад, что ты сделал со мной, я тебя ненавижу. Мой Капстад, я не могу без тебя жить. И все же

придется, придется жить розно, ибо теперь я свободен. Так вот, оказывается, что такое свобода — теперь каждый может меня убить…

Из-за деревьев навстречу ему идет молодой самец антилопы. Адам вскидывает ружье и целится ему в шею. Потом бросается к дергающемуся в судорогах животному и чуть не наступает на пятнистую красавицу гадюку, которая греется на солнышке среди камней. Невольно отскочив, хватает камень и бьет змею, на золотистой коже выступает кровь. Перевернув антилопу на спину, он быстрым движением вспарывает ей брюхо, выпускает кишки, выливает кровь, которая скопилась внутри, и забрасывает тушу себе на плечи.

Услышав выстрел, стоящая возле фургона Элизабет вздрагивает. На нее накатывает такая слабость, что она не может шевельнуться. Господи, он вернулся, значит, он все-таки жив! Она подбегает к проему в ограде и останавливается, дальше идти у нее нет сил. Проходит несколько бесконечных минут, и наконец далеко в зарослях она видит Адама, он шагает слегка согнувшись под тяжестью антилопьей туши. Так это всего лишь ты, это не он!

Она опускается на землю. Слишком велико

потрясение, слишком велика радость. Стыдно признаться, но она чувствует невыразимую радость от того, что человек, который поднимается к ней по склону, — не Эрик Алексис Ларсон.

— …А это герр Ларсон… Моя дочь Элизабет. Мы столько о вас слышали, и право же, нам не терпелось познакомиться с вами.

Высокий, лет тридцати пяти, с пышной холеной рыжеватой бородой и удивительно белой кожей — она-то представляла его себе загорелым до черноты, — румянец как у девушки, большие белые руки покрыты жесткими рыжими волосками, ясные голубые глаза смотрят рассеянно и с легким удивлением.

Он сдержанно поклонился, она присела. Ни она, ни он не произнесли ни слова. Отец что-то говорил, но они его почти не слышали, потом мать отозвала отца к другим гостям. На них смотрели с любопытством, особенно барышни.

— Ваш батюшка непременно хотел представить меня, — проговорил он смущенно. Наверное, он хотел взять легкий, развязный тон, но прозвучало иначе. — Я слышал, вы восхитительно играете на клавесине.

— В Капстаде все девицы восхитительно играют на клавесине, — ответила она. — И все поют.

И танцуют. Что нам еще делать, ведь других занятий у нас нет.

— Какую мрачную картину вы нарисовали.

— Капстад — очень тесный мирок, — ответила она. — Вы здесь скоро соскучитесь. Впрочем, вам-то скука не грозит, ведь вы можете уехать, когда захотите.

— Я намереваюсь пробыть здесь довольно долго.

— О, девицы будут в восторге. Обычно иностранцы только приедут к нам и сразу уезжают.

Он молчал, думая о чем-то своем. Потом заговорил с волнением, которое ее удивило, и при этом она обратила внимание, что у него очень приятный выговор:

— Поймите, мадемуазель, для нас, путешественников, мир становится все более и более тесен. После того, как открыли Перу, нам почти ничего не осталось. Пожалуй, одна только Африка.

— Капстад еще не Африка.

— Да, но отсюда можно начать.

Она не сдавалась.

— Не так-то легко получить разрешение губернатора для путешествия в глубь страны.

— Вы точно меня обвиняете.

— В чем мне винить вас? Ведь я вас совсем не

знаю. И меня совершенно не касается, что вы намереваетесь делать. Но согласитесь, лучше уж быть готовым к тому, что тебя ждет, правда? Здесь, в Капской колонии, каждый пустяк сопряжен с бесконечной волокитой, и никто вам ни в чем не поможет. Шагу нельзя ступить без разрешения Палаты. А эти господа в Палате... — Она возмущенно тряхнула головой. — Эти господа хотят запереть нас между горами и морем. По-моему, они просто боятся пустить нас в глубь страны. Вдруг это подорвет их власть? Вижу, вы мне не верите, но я сказала правду. А мой отец — один из их чиновников.

— Что вам Палата? Ведь вы здесь сами себе хозяева, не так ли?

— О да, мы сами себе хозяева! — с горечью воскликнула она. — Это-то нас и губит.

— Вы не бывали в других странах?

— Нет, я была в Голландии, мы прожили там с маменькой целый год. Навестили всех ее родных. — Она немного помолчала, потом сказала загадочно — Голландия тоже довольно тесный мирок.

— Но там кипит жизнь! — возразил он. — Туда съезжаются со всего мира.

— Конечно, мне там понравилось. Балы, кон-

церты. И Амстердам очень красив. И все-таки… и все-таки там все чужое. Это маменькина родина, а не моя. — Она улыбнулась ему чуть более доверчиво. — Знаете, что мне больше всего понравилось во время путешествия? Когда мы возвращались домой, в Бискайском заливе разыгрался ужасный шторм, все думали, корабль утонет. Меня не выпускали на палубу, но я все-таки вышла и стояла там, вцепившись в поручень, а брызги окатывали меня с ног до головы. Было так страшно и прекрасно, казалось, наступил конец света.

— Видимо, вы жаждете свершения апокалипсических пророчеств.

Она оставила его и через минуту вернулась с вазой фруктов.

— Я пренебрегаю обязанностями хозяйки по отношению к гостю, — светским тоном сказала она. — Попробуйте этот мелкий красный инжир, он удивительно сладкий. Его специально привезли с острова Роббен. Маменьке доставляют оттуда и цветную капусту, надеюсь, вы вечером попробуете. А по особо торжественным случаям мы заказываем там даже воду для питья, считается, что во всем Капстаде нет такой чистой свежей воды. Видите, все лучшее к нам привозят

со стороны.

Он молчал, пристально глядя на нее отсутствующим взглядом.

— Ну так что? — вдруг с вызовом спросила она. — Вы удостоите меня нескольких строк в вашем дневнике?

— Виноват, — он встряхнул головой, будто только что проснулся.

— Вы так пристально смотрели на меня.

— Ради бога простите, — смущенно пробормотал он. — Мне так редко доводилось беседовать с молодыми девицами.

— Пожалуйста, не считайте, что вы обязаны терять время в моем обществе.

— О, ради бога, вы не так меня поняли, — возразил он в некотором смятении. — Я подумал, что это вам со мной скучно. Во мне нет светской любезности. Мне так редко доводится бывать в обществе, ведь я провел жизнь в путешествиях по неизведанным странам.

Наверное, эта его молчаливость, эта суровая сдержанность и заставили ее взбунтоваться, ей захотелось расшевелить этого незнакомца, пусть он раскроет перед ней хоть часть своих тайн, ведь он носит в себе такой огромный мир — путешествия и приключения, полные опасностей

ночи, штормы на море, маяки, сказочные страны, экзотические животные, дикари — и не желает делить этот мир с ее Капстадом.

— А вам не кажется, что люди — те же страны, и их тоже стоит исследовать? — дерзко спросила она.

— Вы бросаете мне перчатку, — сказал он.

— О нет, герр Ларсон, — сухо возразила она. — Я не страна, я — всего лишь крошечный клочок земли, зажатый между горами и морем.

Неделю спустя они ехали в наемной карете по горной дороге в Констанцию, с каждым поворотом лежащая внизу болотистая равнина распахивалась перед ними все шире, но Элизабет зорко наблюдала за своим спутником: от его глаз не ускользала ни одна мелочь, при малейшем волнении лицо его загоралось, — точно так же он, должно быть, путешествовал и по другим странам, по землям, где до него никто не бывал, и ей захотелось проникнуть в его душу, заставить его раскрыться перед ней, увидеть то, что видит он, испытать то, что он испытывает, понять человека, в котором живет такая страсть.

Неподалеку от города их карета вспугнула большую стаю бабуинов, обезьяны кинулись врассыпную, и собаки, которые провожали ка-

рету, с бешеным лаем гнали животных до самых скал.

— Сегодня они нас испугались, — с усмешкой сказала она. — А в прошлый раз, когда я была здесь верхом, один старый самец отделился от стаи и хотел на меня броситься. Еле от него ускакала. — Она засмеялась и откинула назад волосы.

— Вы часто здесь бываете?

— Меня все время сюда тянет. Но матушка, конечно, возражает.

— Разве эти прогулки не опасны?

— Опасны, наверное. На Горе все еще водятся леопарды. В зарослях скрываются бродяги и беглые преступники. Но если всего на свете бояться, придется всю жизнь просидеть дома… Сейчас, за следующим поворотом, откроется удивительный вид, смотрите.

Они обогнули выступ горы и увидели внизу, в мелких озерцах, которые усеивали болотистую равнину, несколько больших стай фламинго. Одна из стай, испуганная стуком колес, взлетела в воздух, махая розовыми крыльями.

— Видите? — в восторге вскричала она. — По-моему, это самый красивый уголок во всем Капстаде.

— Phoenicopterus ruber[5], — задумчиво проговорил он. — Принадлежит к тому же отряду, что и журавли, grallae[6].

Она быстро обернулась к нему, но он уже умолк. Дорога начала спускаться вниз к песчаному плоскогорью.

— Зимой здесь проехать невозможно, — говорила она. — Дорога залита водой. Если вы еще будете здесь зимой, непременно съездите и посмотрите.

Островки диких цветов по сторонам дороги становились все больше, все пышнее и наконец слились в сплошной ковер, их окружило огромное вересковое поле, пестреющее протеей.

Некоторые цветы он назвал ей — иксия, мелантия, монсония, вашендорфия, она никогда прежде не слышала этих названий; потом он даже велел кучеру остановиться и стал собирать цветы, которых не встречал раньше. Вернувшись к карете, он протянул ей огромный букет и вдруг улыбнулся, и от улыбки лицо его стало гораздо моложе.

— Благодарю, — сказала она с радостным удив-

---

[5] Примечания: 5
Фламинго алый *(греч. и лат.).*

[6] Примечания: 6
Голенастые *(лат.).*

лением и взяла цветы. — Какой прелестный букет!

Но как только он снова сел рядом с ней в карету, он отобрал цветы. Она поняла, что ошиблась, и в смущении и досаде закусила губу.

— Я их засушу дома, — объяснил он. — Подумать только, ни у одного из этих растений до сих пор нет названия.

— Как это вам удается придумать столько названий? — не без сарказма спросила она.

— О, я называю их условно, — ответил он. — Потом я пошлю все, что собрал, в Швецию. У меня там есть друг, Карл, он как раз разрабатывает систему растительного мира, и теперь можно будет дать названия всем растениям, какие есть на земном шаре.

— А что вы будете делать, когда все на свете систематизируете?

— Куда бы я ни ездил, я всюду собираю для него растения, — продолжал он, не слушая ее. — В долине Амазонки, в Суринаме, в Новой Зеландии — везде. — В первый раз за все время их знакомства он говорил горячо и увлеченно. — Иной раз просто теряешься, попадая в незнакомую страну, все вокруг ново, все поражает, чувствуешь себя совершенно беспомощным перед таким разнооб-

разием. Хочется все взять с собой, вобрать в себя, сохранить. Кажется, глаза и уши не справятся с этой массой впечатлений. Но вот начинаешь работать, даешь названия растениям, животным, стараешься не заглядывать слишком далеко вперед и не разбрасываться, а сосредоточиваться на чем-то одном. И вдруг глядишь — все уже сделано, и смешно, что сначала ты растерялся. Ты уже не чужой в этой стране, она принадлежит тебе. И ничто ее у тебя не отнимет, пусть ты уехал за тысячи миль, пусть вас разделяют океаны и континенты. Теперь этот уголок земли твой, ты его властелин. — Он бережно убрал свой букет под сиденье. — Вы меня понимаете? Вот так же я скоро увезу с собой и частицу Африки. Частицу этого огромного материка, который станет моим.



На миг ей показалось, что она знает его всю жизнь, на миг поняла, почему он всегда так молчалив и отчужден, что-то в ее душе отозвалось ему, что-то знакомое, давно уже жившее в ней. Рядом с ней в наемной карете сидел не сдержанный незнакомец, замораживающий всех своей строгой немногословностью, не заезжий чужестранец, но человек, совершивший путешествия в далекие миры, которые для нее существовали только в музыке названий: Гайана, Суринам, долина Амазонки, Пернамбуко, Терра-дель-Фуэго,

Новая Зеландия, Фиджи — эти названия звучали как имена богов или заклинания. Они пробуждали в ней жажду, которой она не могла утолить. И вдруг, вопреки всему, она чуть не взмолилась: «Я тоже неведомая страна, которую надо исследовать. Ведь я здесь как в тюрьме, неужто вы не видите?»

— Я выхожу замуж за Эрика Алексиса Ларсона, — объявила она своим родителям полгода спустя. — Он просил меня подождать, пока он вернется из путешествия в глубь континента, но я сказала, что хочу обвенчаться сейчас и ехать с ним вместе.

— Разумно ли ты поступила? — осторожно спросил Маркус Лоув.

— Ни за что! — вскричала мать. — Это безумие, неслыханное безумие!

— Пусть безумие, я все равно с ним еду, — сказала Элизабет.

— Ты отец, Маркус, запрети ей, — приказала Катарина. — Что скажут наши друзья? Женщина отправилась в пустыню!

— А почему бы женщине не отправиться в пустыню? — возмутилась Элизабет. — Почему ей на все наложен запрет? Разве быть женщиной зазорно? Ты говоришь так, будто родиться женщиной

— преступление. Мужчине можно отправиться в путешествие, почему же мне нельзя?

— Если ты с ним пойдешь, ты всех нас опозоришь! В моей семье…

— Когда ты обвенчалась со мной и решила уехать в Капстад, твоя семья тоже хотела от тебя отречься, — спокойно напомнил ей Маркус. — Ты была точно такая, как Элизабет, ты забыла? Своенравная, неугомонная.

— И чем все кончилось? — с горьким упреком спросила мать. — Я вышла замуж за человека, который лишен честолюбия. Похоронила двоих детей, двух сыновей, — ах, будь они живы, все сложилось бы совсем по-другому. Пережила в этой стране столько горя, столько лишений. Но тебя ничем не проймешь. Сколько раз ты мог перевестись в Батавию или в родные края, — нет, куда там: Маркус Лоув здесь родился, здесь и умрет. Чего же требовать от Элизабет? Но на этот раз ты проявишь твердость и удержишь ее от этого сумасбродства.

— Когда твоя мать бежала из Франции, разве кто-нибудь в силах был ее удержать? — сказал он. Отец редко давал волю гневу, но сейчас тонкая сетка прожилок, покрывающих его щеки, налилась кровью.

— Разве можно сравнивать, — возразила Катарина. — У моей матери не было выбора, гугенотов преследовали. Но ведь Элизабет отсюда никто не гонит. Ей-то зачем бежать к дикарям?

— А у меня разве есть выбор? спросила Элизабет. Умереть или сойти с ума — ни то, ни другое меня не привлекает.

— Не смей мне дерзить! — резко оборвала ее мать. — Умереть или сойти с ума! А что тебя ждет в пустыне, среди диких животных и дикарей? — И она снова сбилась на жалобное сетование. — Пусть туда отправляются мужчины, если они так жаждут приключений. А Ларсона я тоже не понимаю: это молодым все неймется, все их куда-то тянет, а ему, в его-то возрасте, уж давно бы пора угомониться и набраться ума… Бог с ними, но ты, Элизабет, ты выросла в приличной семье, ты так избалована жизнью, и потом, все тобой восхищаются, берут с тебя пример…

— Можно подумать, я собралась не в обыкновенное путешествие по пустыне, а в преисподнюю. Маменька, да не могу я здесь больше, поймите!

— У тебя столько занятий, развлечений.

— О да! Я не пропускаю ни одного бала, ни одного званого вечера, ни одного пикника. Все это помогает убить время, но сколько же еще я

буду так жить? Пока не поймаю себе приличного жениха и не обзаведусь приличным домом?

— Не забывайся, Элизабет! Что же ты молчишь, Маркус?

— Мой отец восстал против губернатора, — сказал он, разглядывая свой стакан.

— И покрыл себя вечным позором!

Отец резко поставил стакан на стол.

— А я покрыл себя вечным позором, вернувшись на службу в компанию, против которой он восстал. Я соблазнился теплым местечком, которое обеспечило моей семье безбедное существование.

— Ты тоже задумал отправиться в путешествие? — язвительно спросила Катарина.

— Нет, для путешествий я слишком стар. Но она, если хочет, пусть едет. Если, конечно, любит этого человека. — И он с болью заглянул дочери в глаза.

Элизабет опустила голову. Она долго молчала, потом поглядела на отца.

— Я решилась, отец. Я выйду за него замуж и поеду с ним вместе.

— Неблагодарная! — закричала мать. — Но уж коли так суждено, мы устроим тебе такую свадьбу, что в Капстаде и через сто лет будут ее

помнить. Только придется ждать, когда вернутся корабли.

— Долго ли вы намереваетесь путешествовать? — спросил отец ее вечером, когда они остались в гостиной вдвоем и сели за шахматный столик, возле которого он поставил свой стакан с араком.

— Хотим как можно дольше, — ответила она. — А там как получится. Он сейчас намечает маршрут, но нигде не может раздобыть надежной карты, а люди говорят один — одно, другой — другое. На днях ему рекомендовали некоего герра Ролоффа из Мюизенберга…

— Ну что же, дай бог. — Отец отпил глоток арака и вздохнул. — А ты не ошиблась, доченька, у тебя нет сомнений? Ты в самом деле так сильно его любишь?

— Папа, куда он пойдет, туда и я с ним пойду.

…А дальше она пойдет одна. Она решила это не разумом, она нутром почувствовала, что так суждено, когда услышала выстрел и увидела Адама, поднимавшегося к ней по склону через заросли. Все, теперь все пути к отступлению отрезаны, возврата нет.

— Что вы делаете? — спрашивает он, бросив антилопу на землю и опускаясь возле туши на

корточки, чтобы ее разделать. Она сидит в фургоне и лихорадочно перекладывает вещи.

— Раз мы завтра снимаемся с места и идем к морю, нужно все разобрать и уложить.

Он прищурясь наблюдает за ней. Она продолжает возбужденно трудиться — пожалуй, слишком возбужденно.

Так, один сундук с платьем можно оставить целиком. А может быть, Адаму что-нибудь пригодится? Но она решает не предлагать ему вещи Эрика Алексиса — вдруг он согласится, а ей не хочется открывать этот сундук. Во втором сундуке сложены ее вещи. В их долгом путешествии она всегда переодевалась по два-три раза в день, ведь стояла такая жара и пыль. Стирать было кому, слуг-готтентотов хватало, а когда они сбежали, она стала стирать сама. Если перед путешествием ей пришлось отбирать свои вещи так строго и тщательно, потому что было очень мало места, что же ей делать сейчас, когда у них осталась всего одна пара волов?

Освежевав антилопу и присолив разрезанное на куски мясо, Адам подходит к фургону и принимается наблюдать за ней. Ему-то легко, думает она, у него сердце ни к чему не прикипело. Он уйдет завтра отсюда и ни разу больше не вспом-

нит этот лагерь.

— Что это такое?

— Его дневники.

Он с недоуменным видом листает тяжелые тетради в кожаных переплетах и отбрасывает в сторону.

— Нет, это мы берем с собой, — извиняющимся тоном говорит она. — Я должна отвезти их обратно в Капстад.

Он презрительно усмехнулся. Под его молчаливым, вызывающим взглядом ей становится неуютно. Избавиться бы от него, отослать с каким-нибудь делом, но ведь он не пойдет, она знает. Такое впечатление, что теперь здесь распоряжается он — спокойный властный хозяин. Она сердито продолжает разбирать вещи, не глядя в его сторону.

Итак, дневники они берут с собой. Тут она одержала маленькую победу. Но для бесчисленных птичьих чучел, для засушенных цветов — названных условно, чтобы потом отослать их в Швецию, — места нет. Даже оружие приходится отбирать очень придирчиво: с собой они возьмут лишь два кремневых ружья и пистолет и небольшой мешочек пороха и пуль. Одну бутыль спирта на случай болезни и нужды, если придется

просить по дороге помощи и завязывать дружбу, небольшой жгут табака, одеяла. Чай, сахар и муку, соль, остатки шоколада. Все остальное — роскошь, даже тончайшие, ручной вышивки простыни из ее приданого, даже щипцы для волос, даже утюг и одеколон. Можно взять ведро, чайник, сковородку, две ложки и вилки, — и то наберется слишком большой багаж.

А теперь надо все пересмотреть еще раз, приказывает он, сейчас еще что-нибудь отложим. И постепенно в ней разгорается страсть к разрушению, — все выкинуть, со всем расстаться, очиститься, избавиться от всего лишнего! Ведь человеку по сути так мало нужно. Пришел же он сюда без всего, у него было лишь платье, которое он украл у ее мужа.

Она с ненужной тщательностью убирает отвергнутые вещи в ящики и сундуки, стоящие в фургоне, старательно их запирает и укрывает на случай грозы, но полотняные стены фургона уже порвались, и кто защитит их добро от диких зверей, от грабителей?

Теперь ей уже хочется освободиться от всего, что ее здесь держало, не оставить ни нитки. Идти навстречу судьбе, которая ее ждет, не отягощенной ничем: пусть будет что будет, она примет все

— и радость, и горе.

Но потом, когда Адам отошел, она снова открывает сундуки и перебирает вещи, откладывая в узел с самым необходимым вату и иголки, мыло, одеколон, свое темно-зеленое платье — его она наденет в конце путешествия, домой надо вернуться в приличном виде.

Адам решил нагрузить их багаж на пегого вола, он привязывает животное к дереву и вставляет в зубы удила с уздой, которые смастерил из короткой палки и кожаных ремней, а рано утром, когда небо над горами стало светлеть, он кидает на спину волу две большие шкуры и принимается укладывать на них вещи. Элизабет помогает ему завернуть поклажу — еще что-то пришлось вынуть и оставить, — и он все увязывает. Потом так туго затягивает ремни у вола под брюхом, что они врезаются ему в кожу.

— А ему не больно?

— Это же вол.

Они завтракают в последний раз.

Потом Адам гасит костер и засыпает угли песком, точно это кому-то нужно.

— Справитесь? — спрашивает он, подводя к ней второго вола, чтобы она села верхом.

— Конечно. — Она смотрит ему прямо в глаза.

— А вдруг с вами что случится?

— Не свалюсь, не беспокойся.

Он берет в руки вожжи и тянет за собой навьюченного поклажей вола, она сжимает пятками бока животного. Они выходят через проем в обветшалой ограде.

Оглянуться бы… но она не может, ее охватывает такое волнение, что она вынуждена стиснуть зубы.

Его нет. Он не умер, он просто исчез. Его поглотила земля, которую он хотел изучить и сделать своей. Теперь я от него освободилась. Но есть еще ребенок. И ради ребенка я должна вернуться в Капстад.

Вол тяжело переваливается на ходу, неуклюжее животное, не то что лошадь. Но, наверное, к нему можно привыкнуть. Ко всему ведь привыкаешь. А может быть, нет? Может быть, что-то в нас продолжает противиться до конца? Скоро ты начнешь во мне шевелиться. Ничего не поделаешь, придется и нам привыкать друг к другу, — ты привыкнешь ко мне, я к тебе, и оба мы привыкнем к волу, который нас везет, к земле, по которой мы едем…

Спустились по склону, стали опять подниматься на холм.

— А ты не собьешься с пути?

— Нет.

— Сколько нам придется идти до моря?

— Долго.

Он на минуту останавливается и глядит назад. Теперь оглянулась и она. Прямо напротив них среди диких смоковниц сереет небольшое пятно — крыша фургона. Над головой вьются птицы. Она видит, как они порхают в ветвях. Интересно, кто это — нектарницы, ткачики, канарейки, вьюрки? Она не знает названий, и вдруг ей становится досадно, что она никогда раньше ими не интересовалась.

Она устраивается на своем воле поудобнее, и они снова трогаются в путь, и лагерь, который они оставили позади, с каждым шагом уменьшается, отдаляется. Теперь ей кажется, что это ее последний и единственный приют в мире, и сердце ее не может с ним расстаться. Нам столько всего приходится оставлять, думает она, и главное — мы оставляем надежду. Впереди, сколько хватает глаз, лишь очертания волнистых холмов и скалистых кряжей, которые встают все выше и выше друг над другом.

Адам оглядывается, смотрит на нее. Ему хочется заговорить с ней. Хочется столько сказать, о

стольком спросить. Проникнуть в ее молчание, прорваться, приблизиться к ней. Но когда наконец он собирается с духом, он решается только попросить ее:

— Расскажите мне еще что-нибудь о Капстаде.

…Капстад — единственный город во всей колонии, и свое название он получил по праву[7], хотя нередко Капстадом называют все поселение без всяких к тому оснований. Город этот амфитеатром спускается к морю, с юга, запада и северо-востока он окаймлен горами: Столовой, Львиной и Чертовым Пиком, с юга и юго-востока его омывает Столовая бухта. Согласно последним измерениям, берег этой бухты находится на высоте 550 туазов над уровнем моря, протяженность мыса с запада на восток составляет 1344 туаза, середина его находится юго-восточнее города на расстоянии 2000 туазов. Горы, окружающие город, по большей части лишены растительности, а склон Столовой горы, обращенный к городу, поднимается к тому же очень круто. Кое-где горы покрыты густыми зарослями деревьев (если их можно назвать деревьями) и кустов низкорослых пород, которым к тому же не дают возможности

[7] Примечания: 7
«Капстад» по-голландски означает «Город, расположенный на мысе».

расти юго-восточные и северо-западные ветры. Поэтому вид у них чахлый, заморенный, листья мелкие и пожухшие, и вообще они производят самое жалкое впечатление. Там, где растительность защищена от ветра выступами склонов и где ее питают горные ручьи, она выглядит не столь худосочной, но все равно ей далеко до пышных темно-зеленых мирт, лавров, дубов, виноградных лоз и лимонных деревьев, которые сажают внизу — в городе и его окрестностях. Дальше вдоль прибрежной полосы лежат унылые, однообразные вересковые пустоши и песчаные плоскогорья. Однако должно заметить, что весной в низинах и по склонам гор расцветает множество цветов редчайшей красоты, и после непролазных колючих зарослей и пустынь, которые окружают город, плантации, разведенные на плодородной земле за чертой города, и возделываемые поля поистине поражают великолепием и яркостью зелени. Но самое большое удовольствие любителю природы доставит путешествие из города по направлению к Констанции, мимо Чертова Пика; легче вообразить себе, чем описать, то восхищение, которое он почувствует, встретив в столь уединенном уголке земли россыпи не виданных им доселе цветов, чрезвычайно любопытных и красивых:

разнообразные иксии, гладиолусы, морей, гиацинты, цифии, мелантии, монсонии, альбука, кислица, аспарагусы, герани, арктопусы, календулы, вашендорфии, арктотисы, различные виды вереска, покрывающие поля, а также кустарники и карликовые деревца, относящиеся к семейству протеи. Сверху открывается превосходный вид на город. На берегу стоит дворец губернатора, окруженный высокими стенами и глубоким рвом. По одну сторону дворца расположены плантации и сады, принадлежащие Компании, по другую — фонтаны, которые питаются водой из горной речки, сбегающей по ущелью в склоне Столовой горы, это ущелье хорошо видно из города. Из этих фонтанов берут воду все жители города, отсюда же ее ежедневно возят в бочках на двухколесной тележке для полива плантаций. Плантации занимают площадь шириной в 200 туазов и длиной в 500 туазов, они засажены капустой и другими овощами, которые подаются к столу губернатора, ими же питаются голландские моряки и пациенты больницы. Разводят в городе также и фруктовые деревья, но для защиты от свирепых юго-восточных ветров вокруг них сажают мирты и вязы. Кроме того, в городе есть парк, где растут дубы высотой до тридцати футов, в приятной

прохладе под их сенью любят прогуливаться в жаркие часы дня заезжие иностранцы. С восточной стороны к парку примыкает зверинец, где можно увидеть за железной и деревянной оградой страусов, обезьян, зебр, антилоп различных пород, а также мелких четвероногих. Сам город очень небольшой, включая фруктовые сады и плантации, которые расположены вдоль одной из его сторон, он занимает около 1000 туазов в длину и столько же в ширину. Город хорошо спланирован, пересекающиеся под прямым углом улицы широки, но мостовая ничем не вымощена, в этом и нет необходимости, так как земля здесь твердая. Многие улицы обсажены дубами. Названий улицы не имеют, кроме одной — Геренграфт, на ней стоит дворец, а перед дворцом площадь. Дома, построенные по большей части в одном стиле, красивы и просторны, но не выше двух этажей; многие из них снаружи оштукатурены и побелены белой краской, некоторые выкрашены в зеленый цвет — любимый цвет голландцев. Лучшие дома в городе сложены из местного синеватого камня, который добывают каторжники в карьерах острова Роббен. Дома, как правило, покрыты темно-бурым тростником (Restio Tectorum), который растет в сухих и пес-

чаных местах. Он прочнее соломы, но тоньше и более ломок. Этот кровельный материал получил в Капстаде такое широкое распространение, видимо, потому, что свирепствующий в этих краях знаменитый юго-восточный ветер-«убийца» срывает более тяжелые крыши и причиняет неисчислимые жертвы и ущерб…

— Неужели это я? — Стоя на коленях, она рассматривает свое отражение на фоне деревьев и медленно плывущих облаков. Туфли она сняла, пистолет лежит на плоском валуне рядом с ней, возле чистого платья. Вода в мелкой заводи у излучины узенькой речки прозрачна и тиха, но поверхность едва заметно рябит, дробя ее отражение. Она удивленно, с волнением всматривается в женщину, которая глядит на нее снизу:

— Что же, ты не узнаешь меня? Лицо как будто знакомое, но…

Всего три дня, как они в пути. Неужто можно измениться до неузнаваемости так быстро? Во время их долгого путешествия, когда они ехали в фургонах, у нее было довольно досуга — более чем довольно — делать себе каждый день прическу перед зеркалом, ухаживать за собой. А дома, в их просторном особняке, ее буквально окружали зеркала, они были везде, в каждой комнате. Эли-

забет потребовала, чтобы ей повесили зеркало даже в ванной: ну и что, почему женщине не жить среди зеркал, если ее единственная забота — быть красивой? Мать была бы довольна тем, как она следит за собой во время путешествия: даже в пустыне человек не должен распускаться.

Элизабет захватила с собой из лагеря небольшое ручное зеркало, но все эти дни она безмерно уставала, и вечером ей было не до того, чтобы разглядывать себя, а утром нужно было как можно скорее собираться в путь. Как ни медленно они продвигаются, дорога выматывает все силы. Спину не разогнуть, руки и ноги отваливаются. Иногда схватывает живот, и лицо покрывается потом. По вечерам она, конечно, моется, хотя Адама иной раз приходится посылать с ведром чуть не за милю, и он приносит ей воду с этой презрительной усмешкой, которая пугает ее и вызывает растерянность и ярость. Да, он приносит ей воду, но разве это мытье — кое-как сполоснуться впопыхах за кустами, слегка освежиться и смыть набравшуюся за день пыль, а ей так страстно хочется погрузиться в воду, плескаться в ней, нежиться. (Пятна от тутового сока на теле, струйки текут по ногам…)

Сегодня днем она так устала, что едва сидела на

своем воле. Он, вероятно, заметил, хотя не сказал ни слова, но когда они подошли к этой речке, остановился на привал. Она чувствовала, как он недоволен. К морю, скорее к морю! — больше он сейчас ни о чем не может думать, так же, как и она. Но у нее нет сил идти. Сейчас он отправился за дровами для костра и за ветками, чтобы соорудить изгородь на ночь. Она долго глядела ему вслед, пока он не поднялся со своими ремнями на гребень следующего холма, а потом спустилась сюда — «Ни шагу без пистолета, упаси вас бог его забыть!» — чувствуя, что поблизости должна быть река. Присев на большой плоский валун, она зачерпывает сложенными руками воду и прижимается к ней лицом. Потом глядит на себя, в глаза своему отражению — какие они у нее сейчас блеклые, наверное, это вода съела их синеву. К лицу прилипли мокрые пряди волос, на висках пыль, эта пыль не смылась после первого омовения, щеки в грязных потеках. Кажется, резче выступили скулы, наверное, она похудела.

— Неужто это я? — слышит она свой удивленный, вопрошающий голос. — Да, это — я, но кто я?

Ее пронзает острым неожиданным испугом сознание, что ведь это действительно она здесь

находится, Элизабет Ларсон, урожденная Лоув. В Капстаде — а он точно одна большая семья, где все обсуждают каждый шаг друг друга, — она всегда была на виду, на всех балах и званых вечерах на нее обращали внимание: «Скажите, кто эта девушка в золотистом платье?» — «О, это Элизабет, дочь главного смотрителя складов Ост-Индской Компании». Во время путешествия о ней говорили «жена белого путешественника». А теперь вдруг оказалось, что ее не с кем соотнести. Нет никого, она здесь одна у воды, под небом, по которому летят запоздалые птицы. Что я здесь делаю? Кто эта женщина, на которую я сейчас смотрю? Она вглядывается в свое отражение, пытаясь развязать косынку — ее тонкое белое кружево порыжело от пыли, белые крахмальные манжеты янтарно-желтого платья с бантами на локтях испачкались и смялись, точно тряпки. И это она? Нет, невозможно, она не желает быть такой! Лицо синевато-бледное, вокруг глаз темные круги — следы бессонницы. Она пытается смыть их водой, но тщетно.

Она резко встает и снова поднимается на пригорок. Его, конечно, нет. Он далеко и вернется с дровами не скоро, через час-полтора. Одна, совсем одна. Одиночество ударяет ее в солнечное

сплетение торжествующей судорогой муки. Раньше, когда он уходил, вокруг нее оставался лагерь, рядом была ее привычная скорлупа — фургон. Даже на другой день после того, как Ларсон не вернулся, она не чувствовала себя до такой степени отрезанной от людей, как сейчас, потому что ожидала его с минуты на минуту. И раньше, во время их путешествия, всегда кто-нибудь был поблизости, ведь нельзя же оставлять женщину одну в саванне.

Вернувшись с туфлями и свертком чистой одежды к реке, где она так бездумно оставила на камне пистолет, она снова глядит в воду, теперь уже стоя, и видит себя во весь рост в смятом платье с пышной юбкой.

Ноги у нее грязные. Она подбирает юбки до колен и входит в прохладную воду, ступни погружаются в мягкий чавкающий ил. Ее страх отхлынул, смягчился. Она выпускает из рук подол, и, медленно намокая, он начинает тянуть ее вниз. Она одна… Сняв кружевную косынку и прикрыв руками глубокий вырез платья, она с минуту стоит неподвижно с ощущением немой чувственной вины. Потом, словно решившись, быстро развязывает ленты на корсаже и сбрасывает платье через ноги в воду, оно кружится

вокруг ее колен мокрой грудой и медленно начинает тонуть. Спустив нижние юбки, она отталкивает их от себя ногой. Одежда остается лежать на глинистом мелководье, тихое течение не может увлечь ее за собой. Она заходит глубже, чувствуя жадную ласку прохлады у колен, у бедер, у мягко круглящегося живота, у груди. И вдруг в неожиданном упоении окунается с головой. Вынырнув, она откидывает на спину тяжелые намокшие волосы и плывет по заводи. Вдоволь наплававшись, она возвращается к валуну, берет мыло и принимается мыться, потом снова бросается в невинно сладострастные объятия воды.

Ей не хочется снова надевать платье, предвечернее солнце так приятно греет. Лучась внутренним теплом, она ложится на горячий валун и прижимается к нему всем телом, чистая, в сверкающих каплях воды, взволнованная и размягченная.

Очнувшись от полудремы, она садится на край валуна верхом и снова начинает разглядывать себя в воде с задумчивым удивлением. Яркие горящие глаза, маленькая грудь налилась, соски стали чувствительней к прикосновению и немного — совсем немного — потемнели, слегка обозначилась выпуклость живота над густым

треугольником волос: там, в воде, — она, ее лицо, ее тело, она давно не разглядывала себя так внимательно, и как же она, оказывается, прекрасна, как загадочна и непостижима, как пугает эта загадка. Неужели это моя оболочка? А если оболочка изменится, если грудь разбухнет и выпятится живот, если руки иссохнут, как плети, если выступят ребра, что станет со мной, с моим «я»? Оно тоже увеличивается и сжимается вслед за телом? И где оно обитает, это вечно ускользающее «я»? Надо мной равнодушное, немотствующее небо, медленные белые облака, солнце, вокруг меня валуны, красная глина, трава, дремучие заросли.

Смирившись, она встает на колени и протягивает руку к намокшему платью, но, наклоняясь над водой, вдруг ощущает легкое движение на том берегу и мгновенно застывает. От неожиданности и испуга она не может сразу посмотреть, что там такое, а когда наконец ей удается поднять голову — с мокрых волос ей на плечи падают капли и ползут по спине, точно судорога, — она видит, что это всего лишь антилопа, молоденькая, небольшая самочка с длинными ушами и огромными глазами, животное стоит, замерев, и глядит на Элизабет. Даже раздевшись, она не так остро чувствовала свою наготу, как сейчас,

под этим безмолвным взглядом, — свою наготу и предельную незащищенность, и от волнения она готова разрыдаться. Отражаясь в реке, антилопа неподвижно стоит среди кустов на своих длинных легких ногах, и кажется, что вода, и земля, и небо, и весь мир глядят из ее больших черных глаз в своей первозданной безгрешности. Шелест шагов твоих я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся…

Элизабет в растерянности прикрывает руками грудь, и мокрое платье падает обратно в воду.

Мгновение — что-то рванулось, мелькнуло, — и антилопа исчезла, будто ее никогда здесь и не было.

Опомнясь, Элизабет поспешно встает, надевает чистое платье, которое принесла с собой, завязывает ленты, застегивает крючки. Широкие кружевные манжеты на рукавах ей мешают, она отрывает их и швыряет прочь. Потом аккуратно подбирает юбки, опускается на колени и принимается за стирку.

Он связывает собранные дрова. Порванный о колючки длинный камзол без воротника висит на суку, жилет, он выбросил в первый же день пути, на нем сейчас лишь панталоны и грязная белая рубашка с тонкими кружевами. Холмистая

равнина, по которой они шли, поднималась все выше и выше и наконец привела их к острому скалистому кряжу. Склон по ту сторону оказался почти лишенным растительности, трава сухая, жухлая — совсем другой климат; скоро начнется саванна, более ровная, чем та, по которой до сих пор лежал их путь. Через два дня — с Элизабет наверняка придется идти три — они достигнут готтентотской деревни, где он несколько раз останавливался. Он рассчитывал пройти сегодня гораздо больше, надеялся хотя бы спуститься к подножью, но уж очень быстро она устает, он думал, она гораздо выносливей. Сама-то она нипочем не признается, что устала, но он заметил особую бледность у нее вокруг губ и синеву под глазами после бессонной ночи под дождем. И вот они остановились на привал недалеко от гребня у реки.

Небо сегодня ясное, и не нужно так основательно устраиваться на ночь, как вчера, им ведь пришлось распаковывать весь багаж, чтобы спрятаться под шкурами самим и укрыть самое ценное из всего, что у них есть, — порох, ее тетради. И все равно они промокли. Уже три дня они в пути, три дня, такие непохожие на их жизнь в лагере среди диких смоковниц: и днем, и ночью

они теперь ближе друг к другу, в темноте их разделяет только костер. И, конечно, она знает, что он неотступно следит за ней.

…Я неотступно слежу за тобой. Это наша первая ночь в пути, она поистине чем-то похожа на первую брачную ночь. Я слежу за тобой, я хочу тебя. Я жажду тебя всей своей неутоленной страстью, мне хочется схватить тебя, прижать к себе, ворваться в твое молчание. Стоит лишь протянуть руку над костром и коснуться тебя… Ты спишь или делаешь вид, что спишь? Ты чувствуешь, ты смеешь чувствовать, что я здесь, рядом?

Так почему же я не протягиваю к тебе руку? Неужели потому, что ты носишь ребенка? Но почему это должно меня останавливать? Твое тело еще не потеряло стройности, живот лишь слегка припух. Разве кто-нибудь пощадил бы мою мать, подумал о ребенке, который живет в ее чреве?

Мой белый хозяин из моей прошлой жизни, хозяин, данный мне богом, все в мире было ему доступно, и закон перед ним молчал. У него была жена, он пользовался всем, что принадлежит белым, и без зазрения совести брал то, что принадлежит нам. Помню наши поездки в фургоне с бочками вина в Капстад. К обеду мы заканчивали разгрузку, и ты шел в таверну — я-то оставался

караулить фургон — и коротал там время до вечера, а потом отправлялся в квартал, где жили рабы, потому что, как только темнело, к женщинам-рабыням пускали белых мужчин. Чтобы улучшить местную породу рабов, объясняли всем, это необходимо для блага общества. Через полчаса появлялся сторож с фонарем: «Пора, господа, уже поздно» — и запирал на ночь ворота.

«Не задавай столько вопросов, — говорила мне мать, — молчи». По-своему, немо и безмятежно, она жила с миром в ладу. Она никогда не пыталась понять мир: зачем? Вся ее родня перемерла во время «великого мора», — если бы и ей пришлось умереть, что ж, значит, так суждено, — охотники привезли с собой в город лишь ее и еще несколько оставшихся в живых детей, их имена внесли в реестры рабов, рассказали им о господе боге, который вывел народ свой из дома рабства, и все они безропотно приняли свою судьбу. Вот мать тихо сидит на кухне у стены и курит трубку, худенькая, с тонкими, точно птичьи лапки, руками и ногами, издали кажется, что это маленькая девочка, бездомный ребенок. Но это не ребенок, это мать, моя мать. Морщины покрыли ее лицо в юности. Люди моего племени рано стареют — высыхает река, дающая жизнь,

земля покрывается трещинами. Но Хейтси-Эйбиб каждый раз воскресает в пыльных саваннах, ты тоже воскреснешь, твердила мне она, ты воскреснешь, сынок, славь господа.

Должно быть, ты пошел в свою бабку, говорила она, в отцову родню. Вечно они попадали в беду из-за своего строптивого нрава. Болтали чего не следует, до всего-то им хотелось дознаться, вечно они спрашивали «что?» да «почему?». Спрашивай, не спрашивай, что толку? Когда знаешь, жить еще труднее, это всем известно. Все мы несем одно и то же бремя, иди и не ропщи. Вот когда ты состаришься, как бабушка Сели, и не сможешь больше приносить пользу, с тебя снимут это бремя и позволят умереть на свободе. А до тех пор бог и баас будут о тебе заботиться.

Сели, Сели, моя бабушка Сели, расскажи мне свои истории, я хочу знать, из какого рода я происхожу.

На горных склонах Паданга, начинала она, всюду, куда хватает глаз, растет сплошным покровом недотрога. Задень один-единственный листок — и дрожь побежит по кустам до самой вершины, мириады трепещущих листьев свернутся. Будь сильным и смелым, мой мальчик. Пусть никакие оскорбления белых тебя не задевают. Помни сво-

его деда Африку, он был замечательный человек, все это скажут. Его рвали на куски раскаленными щипцами, а он не издал ни стона, переломали на колесе все кости, а он хоть бы взглядом удостоил своего палача. Ночью я принесла ему воды — есть-то он не мог, но прожил до утра, умер, только когда солнце взошло. Не плачь, говорил он мне ночью, не горюй. Ему уже было трудно говорить, но он все равно не стонал. Что боль, боль не страшна. Страшно, если ты им сдался. Никогда им не сдавайтесь, говорил он, теперь вместо меня пойдете вы, и вам предстоит долгий путь.

Пусть меня снова пытают, говорил он, я буду даже рад. Ведь если им хочется кого-то мучить, значит, они знают: этот человек жив. Мертвому боли не причинишь. Умирая, я стал человеком…

А когда пойдешь на гору, принеси мне немного дров, сказала бабушка Сели. Наступают холода, а я уже не молоденькая, кровь меня больше не греет. Ты ведь завтра туда собираешься?

Да, ответил я, завтра. Завтра я иду на гору за дровами. И тебе принесу, топи печь и грейся.

Но рано утром баас окликнул меня. За дровами ты сегодня не пойдешь, сказал он, повезешь со мной в город вино. Дров кто-нибудь другой принесет.

А ночью она умерла, замерзла в своей щелястой лачуге на Львином хребте. Неужели в ее смерти я виноват?

Два дня спустя я услышал, как моя мать поет в винограднике, подрезая лозы вместе с другими рабами. «Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо ты — каменная гора моя и ограда моя…» — пела она псалом, которому научили ее белые.

Не убий, не укради, не прелюбосотвори… а по ту сторону красных тлеющих углей лежит она и притворяется, что спит. Она белая, но ведь она — женщина. Кто знает, может быть, и она жаждет того же? Так что меня останавливает? В этом огромном мире только она да я, никто не узнает, никто не откликнется: разве дереву жаль гнезда, которое сорвалось с его веток? Разве дрова сопротивляются огню, когда их кидают в костер?

А может, потому я и не осмеливаюсь, что мы одни, и силой я ничего не добьюсь, не восторжествую над тем, что стоит за ней? Моя месть наткнется на ее молчание, встретит ее закрытые глаза и ровное дыхание, которое я слышу, затаив свое.

Почему она так спокойна? Потому что я охраняю ее от диких зверей и она это знает? Знает, что

я веду ее к морю? Но как, откуда она все это знает? Потому что верит мне, потому что ей только и осталось, что верить? Потому что она целиком в моей власти?

Я могу овладеть твоим телом, взять его насильно, изломать, исторгнуть из него крик, крик жизни, так похожий на тот, другой, крик — крик смерти. И все равно ты останешься для меня недосягаемой… Твои глаза… Откуда-то изнутри, куда мне не проникнуть, ты точно стеной оградила себя тем, что ты — белая. Наверно, я слишком тебя ненавижу…

…И тогда я обнял в темноте ее гладкое темное тело, и мы услыхали, как вокруг нас дышат звери и птицы и кружащиеся холмы. Она пахла морем и молочаем в лучах солнца на берегу. Я люблю тебя, люблю. Ее пальцы уже не впивались мне в плечи, а нежно гладили и обнимали, щека прижималась к моей шее. Что сейчас с нами случилось? Обычно все бывает так быстро и просто, тело к телу — и все, и конец. А сейчас вдруг ты и я, и бесконечность… Через месяц баас ее продал. Хорошую цену взял, четыреста риксдалеров. Еще бы, она ведь была совсем юная…

Дотащив свои вязанки до того места, где пасутся волы, он начинает сооружать изгородь из

веток. Расчищает внутри небольшую площадку для костра. У них еще есть несколько кусков вяленого мяса. Пока он возится с изгородью, от реки поднимается она в своем чистом голубом платье, с не просохшими еще волосами, и развешивает выстиранные вещи.

— Устали? — сам того не желая, спрашивает он.

— Не очень. Я плавала. — Он смотрит на нее, а она говорит без умолку, стараясь замаскировать смущение, вызванное воспоминаниями и его присутствием. — Там была маленькая антилопа. Наверное, пришла на водопой. Я так испугалась, подумала, что это лев или еще какой-нибудь хищник.

— Вы уже так давно путешествуете. Неужели до сих пор не привыкли к этой стране?

— Разве к ней можно привыкнуть? Он всегда был рядом, защищал меня…

«Он» — это Ларсон, она никогда не называет его по имени.

— Вот и сидели бы себе в Капстаде.

Она гневно вскидывает голову, но сдерживается.

Он начинает ломать сухие ветки для костра.

— Не занесло бы вас на край света. И под откры-

тым небом не пришлось бы ночевать. Вы небось совсем к другой жизни привыкли.

Она пожимает плечами.

— Какой у вас был дом? — спрашивает он, точно надеясь вырвать у нее тайну.

— Тебе-то зачем знать? — Она садится на ствол упавшего дерева. — Дом у нас был оштукатуренный, белый, с тростниковой крышей, а вокруг дома большой сад.

— А сам дом большой?

— Двухэтажный. Да, дом у нас был большой.

— И у вас была своя комната.

— Конечно.

— Ну да, как же иначе!

— Почему ты всегда выспрашиваешь меня о Капстаде? — Она подозрительно смотрит на него.

— А о чем нам еще говорить?

— Что я ни расскажу, тебе все мало. Чего ты добиваешься, никак не пойму.

— Вы же мне ничего толком не рассказываете, боитесь. Вам жалко со мной поделиться. Считаете, что я — раб.

— А кто же ты? Конечно, раб.

— Нет, здесь я не раб.

— При чем тут «здесь» или «не здесь»? Раба куда

ни отвези, он всюду раб.

— Да, меня раньше держали в рабстве. Но рабом я никогда не был, — вспыхивает он.

— И ты убежал, да?

Он пожимает плечами.

— Почему ты убежал? Ты вон меня вечно расспрашиваешь, но я тоже имею право знать.

— Кто вам дал это право? — Он глядит на нее в ярости, и ей снова хочется закрыть грудь руками, как под взглядом антилопы, но она не смеет, ей слишком страшно.

— Ладно, — неожиданно смягчается он, — так и быть, расскажу. — Ломая сук о валун, он занозил ладонь и с досадой выругался. — Мой хозяин был винодел. У него были виноградники в горах. И бренди он тоже выдерживал. Хвастался, что у него лучший бренди в Капстаде. И столько пил его сам, что не хочешь, да поверишь. Напьется и забудет запереть бочку. Ну, я тут же и угощусь — ведь мы, негры, шкоды, нипочем не упустим, если что плохо лежит. Под конец я и решил: нет, лучше уж убежать, а то искушение погубит.

Ее бледные щеки запылали от гнева, но она не дает воли своим чувствам и сидит молча, разглядывая сложенные на коленях руки.

— Вранье все, от первого до последнего сло-

ва, — наконец говорит она.

— Ну, что вы, чистая святая правда.

— Лжешь!

— Ну конечно лгу, — спокойно, с расстановкой произносит он, глядя ей прямо в глаза. — А вы и не хотите знать правду-то.

— Не хочу? Почему же? — оскорбленно возражает она.

— Слишком уж вы белая, таким правда не нужна.

Они глядят друг на друга в упор. Но вот она сжимает губы, слегка откидывает голову, и прежнее безудержное презрение вспыхивает в ее глазах. Она сидит не шевелясь, все в той же позе, обхватив колени руками, и вдруг роняет голову, отрезая его от себя. Он не может понять, зачем она спрятала лицо, — утвердить ли свою независимость или скрыть неожиданно охватившую ее девичью робость? Не искушай меня, мысленно просит он, не играй с огнем. Ты белая, а моя кожа темна, мне никогда не избавиться от этой темноты. Не позволяй мне думать, что ты всего лишь женщина. Не сталкивай и себя, и меня в пропасть.

Он стоит против нее, она сидит на своем камне, такая плавная и завершенная, и вдруг оба они

замечают, что вокруг все смолкло и наступила тишина. Она не подкралась, как обычно крадется тишина в сумерки, гася один за другим звуки и шумы, а упала на землю, точно удар, — казалось, чья-то огромная, невидимая рука одним махом прихлопнула всех птиц, всех мух и жуков, всех кузнечиков в высокой траве, даже листья деревьев.

— Что это? — спрашивает она. — Почему так тихо?

— Кто-то умер, — говорит он. — Так всегда бывает: если вдруг стало очень тихо, значит, мимо прошла смерть.

Они нашли его на второй день к вечеру, на краю вельда, у подножья следующей гряды холмов. Рано утром, едва тронувшись в путь, они увидели грифов, которые парили высоко в небе едва различимыми точками и, медленно кружась, опускались где-то среди холмов. Сначала птиц было всего три или четыре. Потом откуда-то появилось еще с десяток, а потом небо от них просто почернело.

После перевала растительность стала гораздо гуще. Пересохшая земля растрескалась и местами выветрилась до песчаных проплешин, там и сям желтели кучи сухого валежника, которые согнал

ветер. Но издали долина казалась пышной и роскошной, потому что глубокие подземные источники питали эти колючие, корявые деревца и кусты — боярышник, акации, тамариск, ежовый молочайник, кактусы и алоэ, ассагай, птичью вишню, голубовато-серую свинчатку, колючий терн, и листва их ярко зеленела. Дикий пейзаж, непримиримый и жестокий. Порой заросли сплетались в такую чащобу, что волам сквозь них было не продраться, и приходилось сворачивать с пути, ища звериных троп или просвета в зарослях. Если бы не грифы, они так никогда и не нашли бы труп.

Им нужно было сделать большой крюк, но ни он, ни она не допустили и мысли, что можно не идти. И вот они уже совсем близко, осталась какая-нибудь сотня шагов… Грифы плотно облепили землю и кусты, они сидели, распустив крылья, вытянув вперед отвратительные голые шеи, злобно сверкая желтыми глазами. Птицы нехотя отлетели в сторону, уступая дорогу неожиданным пришельцам, две или три с трусливой наглостью запрыгали было за ними вслед, смешно подскакивая и плюхаясь на землю, но потом отстали и вместе с другими уселись на деревьях поодаль.

Он лежал в шалаше из веток. Сначала они увидели клочья одежды: зацепившись за длинные белые колючки и мертвые ветки, они трепетали на ветру, такие сейчас убогие в своей яркости и пестроте. Потом заметили черную треугольную шляпу, ее великолепное перо было смято и растерзано.

— Стойте, дальше вам идти не надо, — сказал Адам.

Но она соскользнула со спины вола на землю и пошла за ним. Вдруг раздался пронзительный крик, и они остановились как вкопанные. Два грифа запутались в ветках, защищающих труп, и пытались расшвырять их когтями и крыльями, их клювы, шеи, даже перья на груди были покрыты кровью.

Должно быть, почуяв приближение смерти, он накрыл себя слоем валежника, который собрал заранее. И если бы не эта его шведская расчетливость и предусмотрительность, от трупа уже давно бы ничего не осталось.

И все равно смотреть на то, что предстало их глазам, было нелегко. Лицо выклевано, длинный бордовый плащ изодран в клочья, блестящие стальные пуговицы исчезли, шитый золотом жилет превращен в лохмотья, из кровавого ме-

сива на обнажившейся груди зловеще торчат два ребра.

Элизабет протиснулась вперед. Адам хотел загородить от нее труп, но она так властно взяла его за руку и оттолкнула в сторону, что он понял: удерживать ее нельзя.

— Я должна его видеть, — спокойно сказала она.

Слуги-готтентоты бросили их и сбежали, волов украли бушмены, Ван Зил застрелился и был похоронен, и все эти беды словно бы не коснулись ее, словно бы прошли мимо. Но эта беда была предназначена ей, от этой она не смела уклониться. Вот ради чего они прошли столько миль по неизведанной земле, вот ради чего она оставила Капстад и отправилась с ним на край света.

Точно не слыша смрада, она прошла к куче веток и стала их разбирать. Сидящие вокруг грифы заволновались, казалось, они сейчас взлетят и бросятся на нее, но Адам закричал на них и замахал руками. Стоящие поодаль волы рыли землю копытом и тревожно принюхивались.

Странно, ей почему-то вспомнилась охота на львов. Первый выстрел ранил самку и разнес ее загривок, она на миг остановилась, но тут же снова ринулась на него. Готтентоты с воплями

побросали винтовки и кинулись врассыпную. Ты упал на колено и стал целиться. Глухо, зловеще щелкнул замок. И в то же мгновение львица желто-бурой лавиной с ревом обрушилась на тебя и повалила на землю. Но как раз когда она прыгала, кто-то из готтентотов выстрелил, Боои подскочил к тебе, схватился с львицей врукопашную и стал оттаскивать в сторону. Могучие челюсти сомкнулись на его плече. Все, конец, подумала я. Но зверь уже был мертв, он неподвижно лежал на тебе, а рядом катался по земле Боои, пронзительно крича. Наконец ты зашевелился и выполз из-под львицы. Посмотрел в ту сторону, где была я, но глаза у тебя были пустые. И вдруг ты побежал, побежал прочь от меня, к молоденькому деревцу, которое росло поблизости, и, точно обезьяна, вскарабкался по его тонкому голому стволу, но когда ты был возле самой макушки, деревце неожиданно согнулось и опустило тебя на землю. Ты словно не заметил, что случилось, и снова полез наверх, и снова деревце согнулось. Ты в третий раз залез на него, и в третий раз оно опустило тебя на землю. Только тогда ты оглянулся вокруг и увидел, что львица уже давно умерла.

Эрик Алексис Ларсон, кто ты, что ты? Передо мной лежит кровавая растерзанная груда, на

которую нельзя смотреть без содрогания, но это не ты. Ты умел с такой точностью высчитать широту и долготу и высоту над уровнем моря, ты так искусно набивал чучела птиц, давал названия неведомым растениям, насекомым и животным, — но что за человек ты был? Кто ты и как ты сюда попал? Ответь мне, я хочу знать. Я твоя жена, я имею право требовать ответа. Я ношу твоего ребенка, я должна знать… Господи, неужто ты так ничего мне и не скажешь?..

Адам стоял чуть поодаль, среди веток, которые она раскидала, пробиваясь к трупу. Ну вот, думал он, чувствуя, как солнце молотом бьет его по голове, теперь настал твой черед. Теперь ты тоже начнешь прозревать. Ты узнала смерть, с этого все начинают. Я получил свою первую крупицу знания в тот день, когда меня укусила змея, а старуха, высосав яд из ранки и втерев в нее сок целебных трав, вернула мне жизнь. И был другой раз: я, лежал, умирая от жажды, на дне пересохшей реки, и перед глазами плясали видения, а старик-бушмен стал вытягивать через полый бамбук воду из подземного ключа, из-под слоя растрескавшейся глины, и выливать мне в рот. «Эх ты, вода у тебя прямо под боком, а ты умирать задумал. Хоть бы поглядел сначала. Зачем ты сю-

да пришел? Не можешь сам о себе позаботиться, так сиди дома». А я глотал воду с примесью глины и чувствовал, как ко мне возвращается жизнь…

— Вам нельзя оставаться здесь, — сказал Адам.

В первый раз его слова дошли до ее сознания. Она быстро поднялась на ноги и пошла прочь, но от сладковатого тошнотворного запаха, который неотвязно следовал за ней, ее вдруг начало рвать. Желудок извергнул все, что в нем было, на жесткую, как камень, землю, но все равно долго еще продолжал сжиматься в острых, мучительных судорогах.

Без кровинки в лице, стуча зубами от холода под палящим солнцем и чуть не падая, она наконец добрела до волов и прислонилась головой к тюку.

— Нужно что-то сделать, — прошептала она.

— Что же мы можем сделать?

— Нельзя же бросить его здесь просто так.

— Хотите зарыть его в канаве, как готтентота? — вспыхнув, сказал он.

— Не хочу, чтобы его сожрали гиены.

— Они уже здесь побывали, — с рассчитанной жестокостью сказал он.

— Господи, да неужто ты ничего не в состоянии придумать?

— Земля как камень, и копать нам нечем. Можно, конечно, навалить на него камней и валежника. Да ведь все равно эти твари до него рано или поздно доберутся.

— Не важно, навали камней. Солнце такое жаркое.

Сейчас она не пошла за ним. Она села возле волов, в клочке их тени, и стала смотреть, как он катит огромные камни и тащит валежник; время от времени рассеянно отмахивалась от осмелевших грифов. Они поднимались в воздух, но, полетав, снова садились на землю. Они знали: спешить им не к чему, добыча не уйдет.

На нее снова нахлынула тошнота, она нагнулась, ожидая рвоты, но ее не вырвало. На миг она ослепла от боли. Потом судороги отпустили, она села в прежнюю позу и стала глядеть, как поднимается могильный курган.

Какая-то ночь всегда первая. После танцев и праздничного пира за длинным столом — подавали жареные окорока и куропаток, оленину, зайцев, рыбный пирог, молочных поросят, обложенных желтыми апельсинами, босоногие слуги неслышно сновали, разливая бордо и мозельвейн со льда, местных вин не было, все привезли из Европы — мы наконец удалились в свои комнаты

наверху, а гости еще продолжали бражничать. Ты попросил у меня прощения и ушел в малую гостиную закончить какую-то работу. Не знаю, что ты там делал, я тебя не спрашивала, наверное, писал свои заметки или расчеты, с которыми нужно было сесть возле лампы. Ты небрежно поцеловал меня в щеку и сказал: «Миссис Ларсон, наверное, хочет спать, а у меня есть дела». Мне хотелось посидеть с тобой, посмотреть, как ты работаешь, но я боялась, что буду тебе мешать. Мать прислала двух служанок раздеть меня. Уже миновала полночь, а бедняжки были на ногах с пяти утра, и один бог ведал, когда-то им удастся лечь. Они раздели меня, распустили мне волосы, а я закрыла глаза и представляла себе, что это твои руки меня касаются. «Мой жених, мой муж», — повторяла я про себя и вдруг подумала: «Муж… Какое глупое слово». Потом рабыни ушли, а я сняла длинную ночную рубашку, всю в рюшах, кружевах и вышивке, и стала ждать тебя обнаженная. Когда ты пришел в спальню, уже рассвело.

— Я думал, ты спишь, — сказал ты с удивлением, даже с досадой.

— Я ждала тебя.

Я отвернулась, чтобы не смущать тебя, пока ты разденешься, а сама стала наблюдать за тобой в

маленькое зеркальце сбоку: какое у тебя белое тело, какой ты большой и сильный, как закалили тебя далекие моря и страны, и представляла себе, как мне сейчас будет больно, как потечет кровь. Мне хотелось, чтобы кровь текла ручьем, алая, как тутовый сок, хотелось ради тебя и ради себя: сейчас я узнаю, что это значит — стать женщиной, ты превратишь меня совсем в иное существо, освободишь меня… Ты улегся рядом, поцеловал меня, повернулся ко мне спиной и тотчас же уснул. Ты овладел мной на следующую ночь — именно овладел, взял меня, точно вещь, а потом отодвинулся на край кровати. Мне даже не было больно, и крови выступило всего несколько капель.

— Как, и это все? — спросила я.

— Что все?

— То, что сейчас было. И только-то?

— Ничего не понимаю.

— Я тоже.

Через минуту ты уже опять спал, но я по-прежнему не сомкнула глаз.

Сейчас мне снова хочется тебя спросить: «И только-то?» Но ты по-прежнему молчишь. И это все? Конец? Страшные, нелепые, бессмысленные останки на краю долины, горсть праха, словно бы

оставшаяся от птицы, которая упала мертвой на лету и истлела, и перья ее разметал ветер — как это ничтожно мало!

А может быть, наоборот, неизмеримо много? Одно я знаю: не страшно, когда умирает человек, смерть проста и обыденна. Страшно, когда умирает то, во что ты верил, на что надеялся, что любил.

Покойся с миром, Эрик Алексис Ларсон. Какая-то ночь всегда первая.

Ночью, когда они разбили бивак высоко на склоне, схватки у нее усилились.

После того как они нашли труп, они до самого вечера не произнесли ни слова. Он иногда поглядывал на нее, но она, казалось, его не замечала, не замечала того, что движется, — так щепка плывет по реке, не сознавая, что ее несет течение. День был пронзительно ясный, ни малейшей дымки на горизонте, ни тени тайны в долинах между холмами, все контуры обозначены жестко и твердо, все кажется именно тем, что оно есть, — вон там камень, там дерево, рядом куст.

Она все время ощущала тупую, тянущую боль — свою верную спутницу в последние дни, даже подругу. Но когда они остановились на ночлег, боль стала явственней, определенней, в ней

проступили контуры отдельных ощущений, как силуэты деревьев и камней в пейзаже, что их окружал, однако она закусила губы и ничего ему не сказала. И вот сейчас, в темноте, ее вдруг так скрутило, что она не удержала стона.

Адам тотчас же проснулся.

— Что с вами?

— Ничего.

— Вы стонали, я слышал.

Как ни стискивает она зубы, стон вырывается у нее снова.

— Господи, если б я была в Капстаде! Там бы мне помогли.

— Где у вас болит?

— Здесь. — Она проводит рукой по животу, осторожно трет, сжимает. Где-то в глубине снова возникает тайная дрожь и рвется наружу толчками, точно волны землетрясения. Но сейчас ее уже не тошнит. И она знает, понимает нутром, что ее тело пытается отторгнуть от себя свою частицу — ее ребенка.

Буду лежать и не шевелиться, может быть, все пройдет.

— Принеси бренди.

Он подает ей бутылку, она отпивает глоток.

— Завтра придем в готтентотскую дерев-

ню, — говорит он. — Дотерпите до завтра? Там женщины знают, что делать. Мы бы еще сегодня до них добрались, да вот…

Она снова подносит к губам бренди.

— На что мне твои готтентоты? Какой от них толк? Грязные дикари.

Он не отвечает.

Но проходит сколько-то времени — звезды описали довольно большую дугу над уродливыми силуэтами алоэ и сухих поломанных деревьев на вершине ближайшего холма, — и ее пронзает такая боль, что она схватывается руками за живот и бьется головой о твердую, как камень, землю, на которой лежит.

— Ты думаешь, готтентоты мне и в самом деле помогут?

— Они умеют больше, чем я.

— До них далеко?

— Не очень. — Он встает и начинает готовить волов. — Трудно будет в темноте, но что делать, попробуем.

Через час она чуть не упала с вола. Он вовремя заметил и успел ее поймать — она без сознания. Только тут он действительно испугался.

Он неумело вливает ей в рот еще немного бренди, потом помогает взобраться на вола.

— Крепче держитесь. Я пойду с вами рядом. Теперь уже недалеко, — говорит он с мольбой.

У нее снова вырывается стон. Бренди ее слегка одурманил, но от него снова начало мутить.

И все, что происходит, словно заволокло туманом. Она только чувствует, как в ней отдается каждый шаг спотыкающегося в темноте вола, как подступает боль и прерывается дыхание, по лицу градом течет пот, потом боль отпускает… она чувствует, как ее хлещут ветки, когда они пробираются сквозь заросли, слышит, как Адам негромко говорит что-то, чертыхается сквозь зубы… Медленно светает, небо на востоке разгорается неярким зеленоватым огнем, восходит солнце… потом вдруг раздается лай собак, мычат коровы, она слышит голоса людей…

Сознание у нее меркнет, она не замечает, что они уже в деревне. Деревня состоит из тридцати — сорока круглых хижин, построенных вокруг обнесенного забором загона; в стороне, за небольшой рощицей, еще несколько хижин, куда помещают больных и нечистых женщин — но этого она, конечно, знать не может. Заходятся лаем псы, блеют козы, из хижин выбегают полусонные взволнованные люди — молоденькие девушки с бусами и в кожаных передниках,

старухи с раскрашенными лицами, в шапочках и длинных накидках, молодые мужчины, почти обнаженные, если не считать ожерелий и узкой набедренной повязки с шакальим хвостом впереди, худые, как скелеты, старики в кароссах[8] из козлиных шкур.

[8] Примечания: 8

Кароссa — длинная меховая накидка, которую носили туземцы в Южной Африке.



Люди узнали Адама. Он что-то объясняет, ука-

зывая на Элизабет. Ее окружает любопытная толпа, все говорят разом, трогают ее руками. Потом старухи с громкими проклятьями начинают разгонять толпу, стаскивают Элизабет с вола — от тошнотворного запаха протухшего жира и листьев баку, смесью которых обмазано их тело, у нее снова начинаются схватки, — и несут в одну из хижин за деревьями. Гладкий земляной пол в хижине чисто выметен, на нем расстелена одна-единственная бамбуковая циновка. Элизабет ложится и принимается рассматривать лачугу — вбитые в землю жерди каркаса и обтягивающие их воловьи кожи, над головой в потолке она видит отверстие и в нем — клочок синего неба. Опять боль сгибает ее пополам, но старухи держат ее за руки и за ноги, заставляют ее сесть, пытаются снять платье. Она помогает им развязать завязки и расстегнуть крючки, с нее стягивают все, что на ней было, она снова ложится, дрожа от холода. Кто-то приподнимает ей голову и прижимает к губам край калебаса. В нос ударяет резкий запах трав, но у нее нет сил отвернуться. Чьи-то руки укрывают ее мокрое от пота обнаженное тело шкурами. Ярая, звериная боль вгрызается все глубже, ее тело больше ей не подвластно… что это, из нее вырывают все

внутренности! Хлещет жаркая кровь… И вот боль стихает, женщины приносят воду, обмывают ее, снова укрывают и уходят, и она медленно погружается в забытье, слыша, будто сквозь слой ваты, птичий щебет среди ветвей и повторяя про себя: «Умереть бы, умереть скорее, умереть…»

Она просыпается, снова засыпает, но где кончается сон и начинается явь, она не могла бы сказать. Звучит однообразная унылая мелодия — возле хижины, а может быть, в роще кто-то играет на дудке, сделанной из длинного пера цапли, и низкие глухие звуки врываются в ее сны. Снуют какие-то тени. Возле нее сидит древняя старуха и терпеливо ждет, на ее птичьей головке колпак из шкуры зебры, сморщенное пергаментное лицо точно высохшее и растрескавшееся дно реки, длинные груди висят, как два ветхих пустых мешка с горстью маиса на дне, она тихо курит свою длинную трубку, выпуская изо рта сладковато-едкие клубы дыма. Где-то лают собаки, блеют козы, кричат и смеются дети — далеко, в другом, незнакомом мире.

— Пей, — говорит старуха и подносит к ее губам бурдюк. От запаха кислого молока и меда ее тошнит, но она так обессилена, что не может сопротивляться, и покорно открывает рот. Что-то

густое и холодное вползает ей в горло. Но желудок извергает питье, и по кишкам разливается огонь.

Казалось бы, самое страшное должно быть позади, но, видно, все только начинается. Меня хотят отравить, думает она, потому что я здесь чужая, они мне не доверяют, ведь я — белая. Но почему вы не взяли какой-нибудь сильный яд, который убил бы меня быстро и без мучений? Разве я виновата, что я — белая?

Слишком уж вы белая, таким не нужна правда. Так он мне сказал. Откуда он знает? Раб! Он думает, для меня довольно и обмана, довольно лжи. Разве за ложью идут на край света? Но всегда получается не то, чего ждал… Не мучай меня больше. У тебя все просто и ясно: таких, как ты, вздергивают перед дворцом на дыбе. Но есть иное страдание, его не избыть никогда. А может быть, все мы в конечном итоге приходим к одному и тому же. Жизнь всех нас ломает. Проклятая страна, во всем она виновата, мать поняла это раньше меня. Еще бы ей не понять, она похоронила здесь двоих детей. Двух своих сыновей, свою надежду, свою гордость. А я осталась в живых — девочка, дочь, нелюбимая, нежеланная, не заполнившая твоей пустоты… Женщина отправ-

ляется в путешествие в пустыню? Неслыханное безумие!.. А ведь мать тоже когда-то была молода и бесстрашна, тоже хотела перебороть весь мир. Так говорил отец. Да, мать бросила все, что у нее было — семью, Батавию, довольство и уют, свой класс и вышла замуж за человека без состояния, рожденного в Капстаде… А прабабка бежала из Франции и поселилась среди дикарей, но зато она была свободна… Я прилеплюсь к тебе, мы станем с тобой одна плоть… Как, и это все?.. Ну что ж, если тебе угодно, порази меня безумием. Ван Зил пожелал меня, бедный юноша. А ты вдруг стал ревновать, начал с ним ссориться. И вот Ван Зила нет, он умер. Все мы умерли. Все, кроме старого дядюшки Якобса в Капстаде, может быть, только он еще ждет. «Расти, моя девочка, и ни о чем не тревожься. Не бойся, что останешься одна, — твой старый дядя о тебе позаботится»… Они часами играли с отцом под шелковицей в шахматы. «Давай, Элизабет, я научу тебя, вдвоем мы живо обыграем папеньку». А когда никто не видел, он гладил мне под платьем ноги, и рука его незаметно скользила все выше, выше… Бедный старенький дядюшка Якобс, сколько ночей я пролежала из-за тебя без сна, трясясь от страха и чувствуя себя неискупимой грешницей! Сейчас

я скучаю даже о тебе. Здесь, где я нахожусь, греха не существует: господь не пошел сюда с нами, где-то на полпути он нас оставил и, должно быть, вернулся в Капстад. Там новая церковь, такая мрачная и неуютная, там званые вечера, и слуги-рабы разносят гостям миндаль и инжир… самые сладкие ягоды привозят с острова Роббен, они красновато-лиловые. Прошу вас, герр Ларсон, попробуйте… И самую лучшую пресную воду достают в тюремном колодце. Странно, правда, — роют землю на острове и находят там пресную воду. Почему она не соленая, ведь вокруг море? Помню, я была там однажды с отцом. Как красива оттуда Гора, нигде нет такого великолепного вида. Я даже позавидовала каторжникам.

Когда входишь в бухту, возвращаясь из Патрии, перед тобой открывается тот же вид. Гора возносится к небу, как молитва, я пребуду под святым покровом Всевышнего… Но ты должен остаться по ту сторону гор, так будет гораздо спокойней. Для женщины. Ты женщина, и потому не смеешь делать того, что тебе хочется. Ты женщина, и потому тебе не позволят стать тем, о чем ты мечтаешь. Ты точно карликовые деревца, которые привез в Капстад губернатор. Я уверена, они тоже хотели вырасти высокими и раскидистыми,

хотели, чтобы в их ветвях пели и вили гнезда птицы, чтобы в их тени отдыхали звери и люди, но чужая воля сковала их силы и рост, превратила в крошечных прелестных уродцев, в пустое украшение на подоконнике или над камином. Но сейчас я никому не покорюсь, я вырвусь на свободу и уйду в дикий край, где никто еще до меня не был…

Итак, в конце концов я оказалась всего лишь любопытной разновидностью млекопитающих, о которой можно сделать запись в дневнике. Наверное, ты был доволен, что придумал мне название. Ведь, помнится, ты говорил, что, когда даешь название чему-то сущему на земле, ты словно бы становишься его хозяином.

А я, разве я вещь или бессловесное животное, почему же ты считал себя моим хозяином? Два фургона, пять сундуков, две сковородки, шестнадцать ружей, девять слуг-готтентотов, одна женщина. Во сколько риксдалеров все это обошлось? И возместит ли тебе когда-нибудь Компания убытки? Увы, сударь, они чудовищно скупы.

Ах, если бы я могла стать собственностью, вещью, мне, наверное, было бы легче. Собственности не надо заботиться о хлебе насущном, о

завтрашнем дне, ей не нужны счастье, любовь, вера. Раб получает все, что ему нужно, — в положенное время ему дают еду, в положенное время порют. Так почему же я-то не могла отречься от себя? Почему никого не могу признать своим хозяином, что во мне противится чужой воле? Здесь, в этой дикой бескрайней стране, я одна. Умру — и тоже буду одна, никто не скажет мне: «Покойся с миром», — никто меня не оплачет. Навалят груду камней посреди равнины. А потом шакалы и гиены все равно тебя вытащат и сожрут, останется только скелет, только кости…



Как хорошо быть скелетом, кости такие чистые, белые. Найдешь их где-нибудь среди вельда и даже не угадаешь, кто это был — мужчина ли, женщина? Чистое, освобожденное от плоти бытие, останки человека. Ева была сотворена из ребра — неудивительно. Наша основа — кость, мы крепче, нас не разрушишь. А он весь — кровавая плоть… Прах ты и в прах возвратишься… Кто же над кем властвует, ты над землей или земля над тобой?.. Phoenicopterus ruber, разновидность grallae, кажется, так ты сказал, я точно не помню, у меня никогда не было склонности к научным исследованиям — это твое выражение…

Вернулась старуха, принесла кислое молоко с медом, присела возле Элизабет на корточки и бормочет непонятные слова. Элизабет безучастно слушает, не в силах вникнуть в то, что происходит. Наконец она решается что-то сказать, но старуха лишь смеется, обнажив беззубые десны, и тут же уходит. Потом в дверном проеме темной тенью встает высокий мужчина. Постоял немного, но, когда она начала приподниматься на локтях, мужчина исчез.

Кто ты, темный человек? Что ты несешь — жизнь или смерть? У тебя сильное поджарое тело, ты выряжен в заморское платье моего мужа, в

твоей лжи такая страшная правда, но кто ты? Что ты здесь делаешь? Почему ты со мной? Почему я боюсь тебя? Дома я, не задумываясь, раздавала приказания десяткам рабов; когда я купалась в горной реке, рабы меня охраняли. Наверное, они видели меня обнаженной, но мне и в голову не приходило их стесняться, ведь не стесняются же кошек и собак…

Да, я тебя боюсь. Здесь, в темноте, я могу в этом сознаться. Тебя нужно крепко держать в узде, иначе ты выйдешь из повиновения. Я должна быть с тобой белой госпожой из Капстада, а я так ненавижу эту роль. Ничего не поделаешь, наши высокие чувства пасуют перед страхом. Но почему же я тебя боюсь? Ты не изнасилуешь меня, я знаю, ты давно бы мог это сделать, ничего нет проще и легче. Что еще может пугать меня? То, что ты смеешь глядеть на меня и не отводишь глаз, встречаясь со мной взглядом? То, что ты всегда молчишь? Ты дерзок, но это не дерзость раба, которого надлежит высечь, чтобы помнил, где его место. А где оно, твое место? Где он, твой дом? Есть ли он у тебя вообще или ты вечно скитаешься по земле, как ветер?.. Мы пойдем к морю, сказал ты, и я безропотно иду за тобою, к «твоему» морю. Как верный пес. Как женщина.

Почему ты не бросил меня? Почему не даешь спокойно умереть? Оставь меня, я устала. Я не хочу больше думать…

Когда она снова открывает глаза, она опять видит в хижине свою сиделку-старуху. До ее сознания не сразу доходит, что старуха вырядилась в ее желтое платье. Видно, старуха не сообразила, как оно надевается, и, чтобы выйти из затруднения, привязала его к поясу воловьим хвостом.

— Это мое платье, — жалобно протестует Элизабет. — Мое. Отдай.

Старуха весело смеется.

Элизабет пытается сесть, отобрать у старухи платье, из глаз у нее льются слезы. Вы у меня все отняли, зачем, как вы посмели? Но начинается новый приступ лихорадки, ее крутит и ломает, потом охватывает озноб, зубы у нее стучат и лязгают. Старая карга уходит и возвращается с двумя помощницами помоложе, они наваливают на полу кучу веток и сучьев и поджигают горящей головешкой, которую принесла еще какая-то женщина. Ярко вспыхивает бумага. От костра поднимается дым, наполняет хижину, окутывает женщин… Бумага? Элизабет снова приподнимается, подползает к костру, выхватывает из огня смятый клочок и, щурясь от едкого дыма, глядит

на него. Это обрывок карты.

Они не понимают, что она им говорит, и громко хохочут в ответ, с жаром кивая головами. Потом старуха что-то бормочет, женщины одна за другой выходят из хижины, и Элизабет остается одна, над ней снова смыкается молчание. Дым ест глаза, на них выступают слезы. Надо подползти к самому костру, тогда я смогу поджечь хижину. Она легко загорится. И все, конец. Не могу больше, хватит. Нельзя так со мной поступать.

Но она лежит и не двигается. Она слишком устала, у нее нет сил шевельнуться. Ей страшно, о, как ей страшно…

Хижина на берегу построена из выброшенных морем досок, в ней маленький старичок с красными слезящимися глазками за толстыми стеклами очков, это мистер Ролофф. Горит медная лампа, на столе карты, карты, карты… Но нам не дают ни одну из них с собой в путешествие, нам придется идти по стране шаг за шагом, миля за милей и составлять свою… Качается медная лампа, мелькают один за другим мои дни. Ты сидишь за столом и чертишь свою карту, вносишь в каталог все, что найдено нового за сегодняшний день, пишешь дневник. «Сегодня ночью Элизабет была очень требовательна…» Ты ведь не знал,

что я стою за твоей спиной и читаю, правда? Женщины — такие коварные существа… Вот до какого унижения ты меня довел. И этого я тебе не прощу никогда…

Медленно качается лампа… Отчего она качается? От того, что движется фургон? Или это земля поворачивается вокруг своей оси? Осторожно, здесь яма, мы можем сорваться… Приверни фитиль, он коптит, я задыхаюсь, больше так жить невозможно… Где же он, почему не приходит помочь мне? Он давно ушел, я знаю. И правильно сделал, я была всего лишь обузой, мешала ему идти к морю… Теперь уж, должно быть, он там. Выкинул, наверное, дурацкую одежду мужа и нагой спускается к берегу, темное тело мелькает среди бурых камней, вот он ныряет в воду… Смотри, на тебя глядит антилопа! Огромные глаза, длинные волосы, нежная грудь, припухший живот — ты узнал ее? Но что тебе антилопа, пусть глядит, если хочет, ты идешь все дальше, все глубже погружаешься в воду, большой и сильный и упрямый, как бык… А потом на быка натравят собак. Он будет расшвыривать их, поднимать на рога, точно кровавые тряпки. И все-таки, и все-таки потом они его одолеют. Вцепятся в морду, свалят на землю и будут рвать живого на части…

Всех нас в конце концов предадут…

На улице танцуют, значит, сейчас вечер. Интересно, светит луна или нет? Элизабет слышит, как танцоры хлопают в ладоши, притоптывая по земле босыми ногами, слышит звуки флейты и унылое причитанье свирели, в голове болезненно отдаются удары барабана и деревянных колотушек. В Амстердаме она бывала на концертах, где играл оркестр, она слышала клавесин, слышала могучий ревущий орган в соборе, карильоны… Каким строгим восторгом наполняла ее музыка современных композиторов — герра Баха из Германии, итальянцев Вивальди и Скарлатти… «Вот это и есть цивилизованный мир», — с жаром говорит мать и от полноты чувства вздыхает, в первый раз за всю жизнь я не слышу от нее жалоб на болезни. Да, это и есть цивилизованный мир, он так же прекрасен и заранее знаком, как островерхие крыши Амстердама… ах, эти краснощекие дети, резвящиеся на снегу, они точно сбежали с картин Брейгеля[9]… и все в этом мире такое

[9] Примечания: 9

Питер Брейгель Старший, или «Мужицкий» (1525–1569) — нидерландский живописец, один из основоположников фламандского и голландского реалистического искусства.

чинное, аккуратное, как на полотнах Стена[10] и Вермеера[11]. «Рембрандт мне гораздо меньше нравится, — говорит маменька, — он такой темный, мрачный, от него тревожно на душе… ах, Элизабет, послушайся советов своей матери, выходи замуж за солидного голландского купца и оставайся здесь…»

…Поедем на Кальверстраат к цыганке, говорят, она предсказывает будущее. Смотрит на твою ладонь и читает, будто по книге: ты встретишь темного человека… у тебя родится сын… тебе предстоит долгое путешествие…

«Нет, нет, долгое путешествие нам ни к чему. Зачем возвращаться в это захолустье, в забытый богом Капстад?» — «Вы не правы, маменька, бог не забыл Капстад, там все так его чтут. По воскресеньям в соборе не найдешь ни одного пустого места, даже бой быков открывается молитвой. Языческий мир начинается там, за горами, это его Господь забыл…»

Вчера ночью я видела во сне Господа. Он говорил со мной. И я подумала во сне, что мне это все снится. Кажется, я упрекала его в том, что

---

[10] Примечания: 10
Ян Стен (1626–1679) — голландский живописец.

[11] Примечания: 11
Ян Вермеер Дельфтский (1632–1675) — голландский живописец.

он отнял у меня ребенка. О, как я была неправа. (Прости меня, я всего лишь женщина. Это ты меня ею сотворил.) Господь ничего не отнимал. Он только оставил меня. Эта страна не жестокая, ей просто нет до нас дела. Она отнимает у человека все ненужное, лишнее: волов и фургоны, проводника, мужа, ребенка, отнимает собеседников, лагерь, крышу над головой, иллюзию надежности, помощь, время на раздумье, самонадеянность, одежду. И оставляет его один на один с собой. Я устала, устала. Заснуть бы…

Когда она снова просыпается, мысли у нее в первый раз за все время не путаются. В дверях стоит он. Во сне она сбросила с себя шкуры и сейчас поспешно натягивает их до самого подбородка.

— Что тебе надо? — настороженно спрашивает она.

— Вы еще не поправились?

— Я думала, ты давно ушел к морю.

— Я приходил сюда каждый день, — говорит он. — Но вы были без памяти. Я боялся, вы умрете.

— Умерла бы, так развязала тебе руки, верно? Разве я знала, что окажусь такой обузой.

Он молча пожимает плечами.

— Сколько я пролежала?

— Четырнадцать дней.

— Я не могу сейчас ехать верхом на воле.

— Ничего, набирайтесь сил.

— Почему ты не хочешь идти к морю один? — слабо возражает она. — Встретишь людей, скажешь им, что я осталась ждать здесь.

— Ну как вы здесь одна останетесь? Вы ведь даже их языка не знаете, — с досадой говорит он.

Она молчит. Потом говорит ему жалобно:

— Они украли мои платья.

— Ничего они у вас не крали. Им просто хотелось посмотреть ваши вещи, я и раздал, что вам было не нужно.

— Ты отдал им карту!

Он с презрением усмехается, но ничего не говорит ей.

— Вам что-нибудь нужно? — спрашивает он наконец.

Она качает головой.

— Тогда я пойду. Здесь не положено, чтобы мужчины навещали больных женщин.

Она долго лежит одна, потом снова возвращается старуха. В первый раз Элизабет охотно глотает смесь творога и меда. Старуха довольно прищелкивает языком и уносит калебас; пустые мешочки ее грудей мотаются из стороны в сторону. А утром

появляется стайка молоденьких девушек, они пришли помыть Элизабет и прибрать в хижине. Они без умолку болтают и смеются, но из того, что они говорят, она не понимает ни слова.

— Принесите мою одежду, — приказывает им она.

Девушки в недоумении хихикают.

— Одежду, — повторяет Элизабет громко и раздельно, но они все равно не понимают. Сердясь, она садится и начинает объяснять им знаками — я голая, мне нужно прикрыться, принесите…

Ее просьба вызывает взрыв веселья, потом девушки долго совещаются о чем-то шепотом, хихикают, размахивают руками, подталкивают друг друга в бок, и наконец одна из них куда-то отправляется. Через несколько минут она снова приходит — в руках у нее готтентотский наряд.

— Да нет, вы не поняли, принесите мое платье! — возмущенно требует Элизабет.

Но они лишь смеются в ответ и поднимают ее на ноги. Сначала она пытается сопротивляться, но такое напряжение ей не по силам, она сдается, пусть делают с ней, что хотят. И скоро их веселье заражает и ее, она улыбается девушкам, их простодушие словно освободило ее от гнета болезни и одиночества, под которым она жила столько

дней. Со странным чувственным удовольствием отдается она их рукам, точно она дома, в Капстаде, в своей комнате, окруженная зеркалами, среди служанок-рабынь. Что ей эти дикарки? Они с такой смешной старательностью надевают ей на шею ожерелье, обвивают талию поясом из бус, обвязывают бусами колени, насаживают на лодыжку медный браслет…

Девушка, которая принесла ей наряд и, видно, верховодит подругами, заливается счастливым безудержным смехом, ее великолепные белые зубы сверкают. Она совсем юная и очень хорошенькая, ее маленькая упругая грудь едва расцвела. И вдруг она протягивает руку и озорным движением гладит Элизабет и снова хохочет. Элизабет хмурится, ничего не понимая, и настороженно отступает.

Подруги покатываются со смеху, а девушка снимает свой крошечный передник. Ее юные острые бедра торчат вперед. Из редкого пушка выглядывает что-то красноватое, похожее на бородку индюка.

Элизабет глядит на девушку, ошеломленная ее наивным бесстыдством и своим собственным откровенным интересом: на один краткий миг женщина предстала перед женщиной в наготе

чистейшей невинности. Смотри, это я, это самая сокровенная часть моего тела, я показываю ее тебе. Это прелестно и смешно, правда?

Девушка притрагивается к Элизабет. И все очарование нарушено, доверия как не бывало. Вспыхнув, Элизабет отворачивается, ее охватывает смущение, как в тот день на берегу реки, под взглядом антилопы.

— Мне нужно мое платье, — требует Элизабет. — Сейчас же принесите его сюда.

Они по-прежнему не понимают, они хихикают, шушукаются, подталкивая друг друга локтями в бок, их смазанные жиром маленькие грудки подпрыгивают, точно шары.

— Платье, понимаете? Мое платье! — И она взволнованно пытается объяснить им жестами.

Девушки о чем-то совещаются, повернувшись к ней спиной, то и дело оглядываются на нее и хихикают уже не так громко, как раньше. Наконец две из них уходят и вскоре возвращаются, и к своему великому изумлению Элизабет видит у них в руках то самое платье, в котором приехала сюда в деревню, оно измято, как тряпка, но чистое, видно, его стирали и потом сушили на солнце. С поспешностью, непонятной для нее самой, она выхватывает у них платье и надевает, зашнуро-

вывает корсаж, расправляет кружевную косынку. Притихшие девушки с любопытством наблюдают за ней, потом гурьбой бегут из хижины на улицу. Она пытается расчесать свалявшиеся волосы пальцами, но чувствует, что силы ее уже иссякли, и снова ложится у стены против овальной двери, в которую ей видно рощицу и за ней, вдали, бегающих по деревне ребятишек и коз.

Ну вот, я поправляюсь, думает она. Я думала, что я умру, а я осталась жить. Дома, когда у матери чуть-чуть закружится голова, ей сейчас же кто-нибудь тер виски водой с уксусом и подносил нюхательную соль. Здесь старая ведьма совала мне свой калебас с тошнотворной смесью, и все-таки я выжила. Я буду жить. Одна, ибо ребенок мой умер.

…Она поняла все в ту ночь, когда на них напали бушмены. Вдруг залаяли собаки, потом раздался жалобный истошный визг — в одну из них попала стрела. Волы в панике метались по загону, слуги-готтентоты, яростно ругаясь и отпихивая друг друга, лезли прятаться под фургоны.

Ларсон выстрелил в воздух. Но бушмены уже гнали обезумевших от ужаса волов в темноте по вельду, вскрикивая пронзительно и хрипло, будто хищные птицы. В лагере царило невообра-

зимое смятение. Ларсон схватил ружье, прыгнул на коня и бросился в погоню за грабителями, с ним поскакали двое старших слуг — Каптейн и Боои, у которого рука все еще была до самого плеча обмотана бинтами. В ночи загремели выстрелы, мычанье волов смолкло. Мужчины вернулись только через час. Бушмены убежали, — зато Ларсону и слугам удалось поймать и привести обратно десять волов. Можно было продолжать путешествие.

Она слышала, что они возвращаются, но от охватившей ее слабости не могла встать со своей постели в фургоне, ее мутило, казалось, что все вокруг кружится, плывет… Медная лампа раскачивалась и прыгала. Такие приступы случались с ней за последнюю неделю уже несколько раз, она объясняла их тем, что съела что-нибудь не очень свежее или пила нечистую воду. Но в ту ночь, среди всей неразберихи и ужаса, среди криков грабителей, в грохоте выстрелов и стуке копыт, на нее вдруг свинцовой тишиной упало открытие: а ведь это она ждет ребенка, вот почему ей так плохо.

И вот теперь ее ребенка сожгли или зарыли в землю, а может быть, просто завалили камнями среди вельда, как сами они с Адамом завалили

труп Ларсона. Мать похоронила двоих сыновей. И это ее сломило. Но я не сломилась. Пошли мне любые несчастья, любые испытания, я все равно не покорюсь, не отдам свое тело этой бесплодной земле. У меня будут дети, я никому не позволю их отнять. А эта земля пусть так и остается бесплодной.

Он сидит, наблюдая за ней. Опять она что-то пишет в своих ненавистных тетрадях. Наверняка занялась ими нарочно, чтобы утвердить свое превосходство. А что, если он сейчас встанет, выхватит у нее тетради из рук и разорвет в клочья? Как часто ему хотелось растоптать их, выбросить, уничтожить! Но он всякий раз душил свой закипающий гнев — зачем? Бедняжка, ты думаешь, я не вижу, как ты растеряна, думаешь, не понимаю, что ты прячешься за свои толстые тетради от отчаяния? Она сидит внутри ограды, он караулит пасущихся волов. Он уже сводил их к реке напоить и немного погодя привяжет в маленьком загоне. Его сильно тревожат львы. Эти твари крались за ними весь день, хоть бы им какая-нибудь добыча подвернулась, чтобы отвлечь от преследования, так ведь нет. Заметил он зверей еще утром, когда они поднялись на гребень холма; после обеда до него несколько раз

доносился их грозный глухой рык. Ей он ничего не сказал — она пока слишком слаба, и потом, кто знает, может, львы еще кого-нибудь поймают вечером у речки. Львы придут туда первыми; если они будут сыты, бояться нечего.

Она все пишет и пишет, однако время от времени взглядывает в его сторону. «Обо мне пишет, что ли?» — с возмущением думает он. У бааса тоже были такие тетради, в них он записывал, кому сколько дали плетей, кому за какую работу сколько заплатили денег, сколько продали вина. Когда Элизабет в первый раз вышла из хижины, где лежала больная, и, нетвердо еще ступая, пришла к нему в своем голубом платье, окруженная готтентотками, она прежде всего потребовала эти тетради: «Где мои вещи? Где дневники?» Он показал ей. Бренди и табак он раздал готтентотам, отдал им одно ружье и немного пороха и пуль, несколько ее платьев. Карту они, конечно, сожгли — ею было так удобно разжигать костер. Но дневники были целы, никто на них не позарился.

В долгие дни своего выздоровления она без конца их перелистывала, читала страницу за страницей, иногда просто переворачивала их, думая о чем-то своем. Он наблюдал за нею, как

наблюдает сейчас. Чего она ищет в этих тетрадях? Почему, когда она их читает, на лице у нее мелькает то гнев, то досада, то недоумение, разочарование, боль? Какая темная тайна в них скрыта? Вечное проклятье Господне?

— Муж записывал здесь все, — объяснила она, когда он наконец отважился ее спросить. — Все, что происходило во время путешествия.

— Все подряд?

К его удивлению, она вспыхнула, потом сказала смущенно:

— Нет, все, что ему казалось важным.

— Зачем они вам? Такие тяжелые.

— Тебе не понять.

Через несколько дней она тоже стала что-то писать в этих тетрадях. Он по-прежнему наблюдал за ней. Видно, ее смущал его взгляд, она то и дело поднимала на него глаза. А иногда надолго задумывалась, глядя перед собой в пустоту.

Лицо у нее стало точно восковым, белая кожа казалась прозрачной. Вымыв длинные густые волосы, она стала заплетать их в косы, чтобы не трепались, и теперь казалась еще более юной, чем была, — совсем девочка. Это привело его в смятение, вызвало злобу, протест. Взвалить на себя ответственность за этого ребенка он совсем не

хотел. Вдруг с ней что-нибудь случится, что ему делать? И что делать, если ничего не случится, а это куда страшнее. Что, если она будет просто существовать рядом с ним — хрупкая, по-детски беззащитная, зависящая от него, доступная и в то же время такая независимая, недостижимая, отделенная от него этими ее тетрадями и всем, что стоит за ней в Капстаде?

Почему же в таком случае он не бросил ее? Зачем потерял столько драгоценных дней, дожидаясь, пока она выздоровеет и окрепнет? Он бы уже, наверное, давно был у моря. Столько лет он решал все, считаясь только с самим собой: хотел — шел, не хотел идти — оставался, в этом-то и заключалась для него свобода. И когда он увидел, что Элизабет осталась одна в пустыне, он тоже подошел к ее фургону сам, по своей доброй воле. Мог ли он знать, что все так повернется? Но, с другой стороны, почему, собственно, его должно связывать решение, которое он принял в тот первый день, повинуясь порыву? Ты сказал, в первый день? Повинуясь порыву? А сколько времени это решение в тебе зрело? Сколько ты колебался, двигаясь следом за ее фургоном, сколько взвешивал на одной чаше весов свою свободу, на другой — одиночество?

Луна пошла на убыль, исчезла, потом снова родилась и начала прибывать — Хейтси-Эйбиб из сказок его матери умер и вновь воскрес, — и хотя Элизабет стала заметно крепче, она все-таки была еще очень бледна, безрадостна и равнодушна, точно ей совсем не хотелось жить. Теперь он очень редко замечал у нее на щеках лихорадочный румянец, и то лишь когда она писала свой дневник; и еще она вспыхнула, узнав, что в деревне родилась двойня, и мужчины завернули девочку в шкуры — другой младенец был мальчик, — отнесли в вельд и оставили. Элизабет сначала не поняла, что произошло, она подумала, что, наверное, это у готтентотов такой обряд, вроде крещения. Она стала расспрашивать Адама только на другой день, и когда он объяснил, она хотела броситься за девочкой, непременно разыскать ее и принести обратно. Ему пришлось удерживать ее силой. Младенца она все равно не найдет, да и вообще не надо нарушать местные обычаи, готтентоты могут рассердиться и убить ее.

Странно, но с того дня она стала поправляться быстрее. В лице все еще не было ни кровинки, но она старалась больше двигаться, чтобы восстанавливались силы. Она больше не могла жить в

деревне. Ей хотелось уйти.

Но первыми ушли готтентоты. Когда она однажды утром проснулась, в деревне царила необычная суета. Жители выносили на улицу вещи, разбирали хижины, скатывали и связывали шкуры и циновки, вытаскивали из земли жерди хижин и загона, складывали их в кучи и жгли, одну за другой поджигали хижины нечистых женщин. Не тронули они только жилище Элизабет. Готтентоты пришли к ней прощаться, плясали вокруг нее, махали руками, смеялись, а потом караван двинулся в путь, шло все племя, сколько их было, молодые и старики, мужчины, женщины, дети… мычали волы, блеяли козы и овцы, носились взад и вперед собаки… Когда вдали улеглась пыль, на месте деревни лишь чернело дымящееся пепелище да стояла одна-единственная хижина — жилище Элизабет.

Она не могла опомниться от изумления. Но Адам лишь пожал плечами:

— Что им сидеть на месте? Они же кочевники, по нескольку раз в год с места на место перебираются.

— Если они кочуют, как ты мог знать, что мы встретим их именно здесь?

— Я знаю их стоянки.

— А где они встанут сейчас?

— Смотря где их застанут дожди и холода. Думаю, дойдут до Снежных Гор[12]. Может, даже переправятся через реку Большой Рыбы[13].

— Но ведь у них столько стариков, разве они осилят такой далекий путь?

— Самых старых и слабых оставят в дикобразьих норах.

— Не может быть!

Он был не в настроении доказывать и убеждать ее и потому ушел бродить один, а когда вернулся, увидел, что она опять пишет что-то в своих тетрадях. «Пиши, пиши, — подумал он, — да смотри не забудь ничего. Опиши, как готтентоты отнесли в вельд новорожденную девочку, как они убивают по дороге стариков и больных. Может, тебе легче станет. Делай, что хочешь, только мне жить не мешай».

Странно им было в ту ночь снова остаться одним. Днем пепелище хоть немного оживляли воспоминания, но вот наступил вечер, и никто не развел костров, не мычал вернувшийся домой скот, не плакали дети, не перебранивались жен-

---

[12] Примечания: 12
Сниуберге.

[13] Примечания: 13
Имеется в виду река Грейт-Фиш.

щины, не смеялись усевшиеся в круг с калебасом мужчины. Они снова были одни — только он и она во всем мире. Но за эти недели они привыкли к людям, и теперь одиночество давило на них сильнее, чем прежде. Зажглось созвездие Кханое, стали загораться звезды. Вдалеке выли шакалы.

Они сидели у костра, он по одну сторону, она по другую, и молчали. Но он украдкой разглядывал ее: нежная гладкая шея с маленькой ямкой внизу, где сходятся ключицы, тонкие руки, узкое бледное лицо, синие глаза, они стали больше и ярче, чем были до ее болезни.

— Та старуха, что ухаживала за мной, — вдруг сказала она и посмотрела на него сквозь пламя, — она ведь очень старая, верно?

— Ну и что?

— Ей не перенести такого путешествия. Ее тоже оставят в норе?

— Наверное. Если она совсем ослабнет.

— Какая жестокость! Как они могут?!

— А заставлять ее идти не жестокость?

Долгое время спустя, когда костер прогорел и от него остались лишь тлеющие угли, она спросила:

— Что сделали с моим ребенком?

— Это был еще не ребенок.

— Что с ним сделали? Похоронили?

— Не знаю. Ведь за вами ухаживали женщины.

— Может быть, его тоже отнесли в вельд и оставили, как ту новорожденную девочку?

— Говорю вам, не знаю!

— Если девочка была им не нужна, почему они не отдали ее мне? Я увезла бы ее с собой в Капстад.

— Зачем? Чтобы сделать рабыней, как сделали мою мать?

Она смотрела на него своими большими глазами и молчала. Потом наконец произнесла:

— Пора спать.

Она поднялась и пошла к хижине, но в дверях остановилась и стала вглядываться в ночь, склонив голову набок и словно к чему-то прислушиваясь. Что ей хотелось услышать — детский плач? Или она просто ждала от него какого-то слова, движения?

...Лев снова глухо ворчит, теперь он совсем близко. Тени вытянулись и стали почти черными. Пора загонять волов в хлипкую ненадежную ограду из веток. Волы вскидывают головами и принюхиваются, не стоят на месте, волнуются. На коленях у нее все еще лежит раскрытый дневник, но она уже не пишет. Наверное, она тоже

слышала льва.

...Назавтра они погрузили на вола поклажу и тоже ушли из оставленной деревни.

— Мы действительно идем к морю, ты не сбился с пути?

— Я же обещал привести вас туда и приведу.

— А еще далеко?

— Далеко. Но ближе, чем раньше.

Ей все еще было трудно ходить. Но после того, как готтентоты ушли из деревни, она почувствовала себя там слишком незащищенной, поэтому, наверное, и стала торопить его в путь, других причин не было. Присутствие этих дикарей казалось ей как бы залогом безопасности. В той тишине, которая сейчас наступила, у обоих оказалось слишком много времени для дум, и слишком остро каждый из них ощущал, что другой — рядом. Лучше уж снова тронуться в путь, пусть даже их переходы будут короче и двигаться они будут медленнее. Он снова добывал еду — съедобные коренья, фрукты, ягоды, птичьи яйца, мясо, снова приносил ей каждый день воду для омовений. Она была просто помешана на воде, ей было нужно без конца умываться, мыться, стирать, словно пыль, которая покрывала ее в пути, ядовита. Однажды она послала его за водой

после того, как он полдня прособирал хворост для костра. Не сдержав гнева, он швырнул на землю вязанку и крикнул:

— Ступайте за своей дурацкой водой сами!

— Велено тебе идти, так иди! — в бешенстве приказала она.

Он пинком отбросил с дороги сук.

— Будь мы в Капстаде, я был бы вынужден вам подчиниться. А здесь на все моя воля: хочу — делаю, не хочу — не делаю.

— О, в Капстаде ты бы мне подчинялся как миленький, я бы тебя живо заставила.

— Где вам! Капстад бы меня заставил, а не вы. Нет у вас надо мной власти, иначе я бы вам и здесь подчинялся. Да кто вы такая? — От ярости он не владел собой, как во время их ссоры из-за карты. — Обыкновенная баба, которая ничего кроме своих рваных тряпок не видит!

С минуту она молча глядела на него, потом повернулась и пошла туда, где были сложены их вещи. Он наблюдал за ней, скрестив на груди руки: вот она тихо села на свой узел и стала смотреть вдаль, ему было видно ее повернутое в профиль лицо. И он сдался вопреки себе, сдался ее гордости, ее величавому достоинству.

Когда он вернулся с водой, она зашивала пла-

тье. Он поставил возле нее ведро, и она подняла голову, но он не глядел в ее сторону. Она не сказала ему «спасибо», но когда он привязывал волов на ночь, он увидел, что она, уже помывшись за деревьями, разводит огонь, кипятит воду и в первый раз за все их путешествие готовит ужин.

…Он вводит упирающихся волов в крошечный загон, привязывает их к дереву плетеными ремнями. Потом заваливает вход в загон. Экая незадача, не нашли себе львы никакой добычи у реки. Открытый дневник по-прежнему лежит у нее на коленях.

— Почему ты сегодня так долго возился с волами? — спрашивает она, когда он, стоя на коленях, начинает разжигать костер.

— Просто так. — Он смотрит в ее встревоженное лицо. — Да вы не беспокойтесь.

— Что-то случилось, я знаю. Почему ты от меня скрываешь?

— Ничего я от вас не скрываю.

Он видит настороженность в уголках ее губ, видит строгий овал ее лица, упрямый подбородок. В глазах, которые она обращает к нему, всегда гордость и вызов, но вопреки самому себе он испытывает к ней что-то похожее на сострадание: а может, это вовсе и не гордость, может быть, он

ошибается? Ведь за все время она не показала ни малейшего страха, ни тени сомнений, а для этого нужно большое мужество. Протянуть бы к ней руку, положить на плечо, успокоить ее. Сказать: «Не тревожьтесь, все будет хорошо, все обойдется. Я таю от вас правду не из презрения, нет, я просто забочусь о вас, не хочу волновать понапрасну. Спите спокойно, я буду охранять вас всю ночь. Завтра мы снова двинемся в путь, море уж недалеко, там вы отдохнете».

Но он не смеет ее коснуться. Когда он наконец решается заговорить, он спрашивает ее сухо, даже враждебно:

— Что вы там писали?

— Так, ничего особенного, — отчужденно роняет она.

Получив отпор, он бросается в наступление.

— Возле нас львы. А вам хоть бы что, знай себе строчите какую-то ерунду.

— Почему ты мне раньше не сказал? — спрашивает она, бледнея.

— Вы бы и о них написали, да?

Она виновато опускает глаза и хочет закрыть дневник, но он, поддавшись мгновенному гневу, хватает тетрадь за кожаный переплет.

— Что вы здесь написали? Я хочу знать!

Непостижимые слова и буквы на страницах немо разбегаются перед его глазами, как муравьи.

Они пытаются вырвать дневник друг у друга, тянут его к себе, наконец ему становится стыдно, и он отпускает тетрадь. Она захлопывает ее и прижимает к коленям, обхватывает руками, точно это ребенок, которого надо защитить.

— Я должна записывать все, что происходит. И отвезти записи в Капстад.

— Зачем? А если вы не запишете, вы что же, все забудете? — Ему мало ответов, он хочет вырвать у нее что-то большее, хочет, чтобы она раскрылась перед ним, как только что была открыта тетрадь, но она по-прежнему настороже, по-прежнему строга и непреклонна.

— Всего не упомнишь.

— А что забыл, того, значит, и помнить не стоило.

— Тебе действительно так хочется знать, о чем я пишу? — вдруг насмешливо спрашивает она. — Ведь ты не понимаешь, что я делаю, наверное, это страшно обидно. — Роли поменялись, теперь наступает она. — Я вот сижу и пишу, что хочу, а ты ни слова не понимаешь.

— А вы-то что понимаете? — взрывается он. —

Таскались как пришитая за своим мужем. Чего вы потеряли? И что нашли? Ничего!

— А сам-то ты что нашел? Ты дольше меня скитаешься по этой земле, — быстро парирует она.

— Это мое дело.

— Почему ты бежал из Капстада?

— Вечно вы задаете один и тот же вопрос!

— Потому что хочу знать.

— Да разве вам можно рассказать правду?

— Почему ты мне не доверяешь? — с отчаянием спрашивает она.

— Это вам-то я должен доверять? — Он смеется. — Похоже, вы хотите меня обратить. Может, еще и молиться за меня начнете?

— Я уже давно перестала молиться. — Она с вызовом смотрит ему в глаза.

— Я своего хозяина ненавидел, — небрежно бросает он, принимая вызов. — Потому и убежал.

— За что же ты его ненавидел?

— За то, что он был мой хозяин. — На миг он забывает свой гнев и перестает обороняться — сумерки ли побуждают его к откровенности или то, что слишком близко львы и, чуя хищников, волы рвутся с привязи? — В тот день, — говорит он, стоя перед ней и глядя ей прямо в глаза, — в тот

день, когда он назначил меня своим mantoor[14] и поручил управлять хозяйством, он сказал мне: «Эта земля — твой удел. Малагасийцы славятся силой, яванцы — умом, готтентоты — терпением. Так что не рыпайся, твоя судьба здесь, понял?»

— На что же ты обиделся? — спрашивает она. — Эта земля мой удел тоже. В Капстад бежали голландец и француженка-гугенотка, здесь прожили жизнь их дети, внуки и правнуки…

— Земля-то у нас с вами одна, да удел на этой земле разный! — с горечью говорит он. — Ваш удел — повелевать, мой — быть рабом, вот и вся разница.

— И поэтому ты убежал?

Точно не слыша, он подбрасывает в костер дров и пытается представить, где сейчас могут быть львы.

— Ну и что же, теперь-то ты счастлив? — требовательно спрашивает она. — Ведь ты свободен.

С его губ срывается смех, такой хриплый и резкий, что волы поворачивают головы и в испуге всхрапывают.

— Я скитаюсь один по пустыне, неужто этого я хотел, как вы думаете?

---

[14] Примечания: 14
Староста *(голл.).*

— Через пятьдесят лет в эту пустыню придет цивилизация, — говорит она.

— Цивилизация? При чем тут цивилизация?

— Как при чем? Я тебя не понимаю, — растерянно говорит она.

Он вдруг вспоминает ее тень на парусине фургона в ту первую ночь. И сразу же гонит прочь воспоминание, оно разбудило в нем тяжкую, мучительную страсть.

— Где уж вам понять? — с горечью говорит он. — Вы белая. А я всего лишь раб, так ведь вы считаете? Я рабочая скотина и должен трудиться. Думать? Да как я посмел, наглец, на что покусился? Рабам не положено думать, думать имеете право только вы, белые господа. А я должен знать свое место. Двадцать пять лет я терпел и молчал, а потом чаша моего терпения переполнилась. И вот уже пять лет я только и делаю, что думаю, думаю, думаю, бродя по этой дикой оставленной богом земле. Мои мысли не записаны в тетрадях, они здесь, у меня в голове. Что мне с ними делать, что?

— Ты безумен! — шепчет она потрясенно и почти с состраданием.

— И пусть я безумен, пусть, дайте мне только возможность думать! — Он еле удерживается,

чтобы не сорваться на крик. — Вы все стараетесь унизить меня, доказать, что я раб, что я не умею думать, вам так спокойнее. Но ничего не выйдет, не надейтесь!

В тишине, которая упала на них после его вспышки, у нее лишь хватает сил прошептать:

— Адам, это несправедливо…

Он быстро встает и снова начинает ломать сучья для костра, с почти чувственной радостью ощущая свою силу, свое тело, он словно хочет, чтобы у него осталось только тело, только кости и мускулы, только животная мощь. Все остальное — безумие. Зачем ты вынудила меня сейчас рассказать тебе все? Оставь меня, отпусти, я свободен! Я хочу остаться свободным!

Он чуть не с отчаянием поднимает к ней взгляд. Она все еще сидит у костра и широко открытыми глазами смотрит на него.

Отвернись, не гляди! Разве ты не видишь — я наг?

Будь сейчас день, случись все это вчера или завтра, он бы ушел из загона на волю, ушел побродить хоть немного, хоть час или два, чтобы лежащий вокруг мир вернул его душе покой. Но сейчас все окутано тьмой, и в темноте притаились львы, сейчас вокруг них беспредельность.

Над головой пролег Млечный Путь, горят шесть звезд Кхусети. Мерцает пламя костра, и все так знакомо в их тесном убежище. И выйти отсюда нельзя, вездесущие звери слишком опасны. Остается лишь кружить и кружить здесь по бесконечной спирали, которая суживается виток за витком в одну точку — к нему и к ней.

Вновь раздается рычанье, теперь уже совсем рядом, Адам подходит к волам проверить привязь, и вдруг рычанье обращается в грозный рев. Земля качнулась у него под ногами, испуганные волы с воплем взвились на дыбы. Он слышит ее крик — «Адам!», бросается к ней, и его оглушает треск ломаемых веток. Она протягивает ему ружье — поразительно спокойная, бледная, сосредоточенная, — и в этот миг через ограду прыгает лев с черной гривой.

Адам стреляет не целясь, почти наугад.

— Зарядите, быстро! — кричит он, бросая ей ружье.

Огромная туша валит его на землю. «Лев!» — проносится у него в голове. Но это не лев, это вол. Оба вола сорвались с привязи и мечутся по загону, в загривок одному из них вцепился лев. Ограда с треском валится — волы вырвались на свободу и вместе со львами умчались в темноту,

гремит, удаляясь, стук копыт.

Адам снова хватает заряженное ружье и кидается следом. Лишь добежав до разметанных веток терновника, за которыми кончается световой круг, он замечает рядом с собой ее, она крепко держит его за руку и не пускает.

— Ты с ума сошел! — кричит она. — Не ходи!

Он отталкивает ее и бежит дальше, но через несколько шагов ему становится ясно, что все бесполезно. Он снова стреляет в ту сторону, откуда доносится шум. В темноте раздается душераздирающий рев, визг, потом все стихает.

Он понуро возвращается в их разоренный лагерь.

Она глядит на него, но ни он, ни она не произносят ни слова. Так же молча они начинают поправлять изгородь, потом возвращаются к костру, все еще трудно дыша. Он подбрасывает в костер дров. В воздух взлетает сноп искр. В ярком свете на лицах их пляшут зловещие тени.

Костер горит жарко, но у нее постукивают зубы.

— Вы что? — спрашивает он.

— Ничего. — Ее душат рыдания, она пытается их унять, потом сдается. Но через минуту стискивает зубы и вытирает слезы. — Извини. Сама не

знаю, что со мной.

— Вы же вроде совсем не испугались, — в замешательстве говорит он.

— Все случилось так неожиданно. Ведь на волосок были от смерти, я только сейчас поняла…

— Ложитесь спать. Вы устали. Я вам чаю вскипячу.

— Да разве я засну!

— Постарайтесь.

— А если они вернутся?

— Нет, сегодня они не вернутся, — успокаивает ее он. — Им уже ни к чему.

— Что же нам теперь делать? Они обоих волов сожрали, как ты думаешь?

— Наверное.

— Как же мы теперь пойдем дальше?

— Завтра будем думать.

Она долго не может заснуть, потом наконец ее смаривает, но она то и дело вздрагивает во сне, что-то бормочет, стонет. Он сидит возле костра и подкладывает в огонь поленья, глядит на нее, вслушивается в ночь. Но все тихо вокруг, хотя он знает, что где-то в темноте звери пожирают свою добычу. Лишь когда взошла утренняя звезда, он укрывается шкурами и ложится.

Просыпается он при первых лучах солнца, за-

долго до нее. Наваливает сучья на едва тлеющие под золой угли, ставит на огонь чайник, берет ружье и уходит. Спустившись к реке, снимает одежду — грязную рваную рубашку с рюшами и обтрепавшиеся голубые штаны — и ныряет в воду. Холод обжигает его и прогоняет уныние. Он бодро натягивает на мокрое тело одежду и идет среди зарослей вязов, терновника и птичьей вишни в том направлении, куда бежали вчера волы. Осторожно, потому что львы хоть и сыты, но все еще где-то поблизости, начинает он поиски. Отойдя немного от лагеря, он замечает первых грифов и лезет на дерево, чтобы оглядеть окрестность. В траве на поляне, там, где заросли редеют, лежит туша вола с нелепо задранными вверх ногами. Две львицы с довольным урчаньем продолжают обгладывать останки, неподалеку дремлет лев, то и дело встряхивая своей огромной гривой, чтобы прогнать мух. Второго вола не видно, нет даже признаков.

Теперь Адам вглядывается в пейзаж уже с надеждой, пытаясь обнаружить следы: вдруг встретится навозная лепешка, сломанные ветки, примятая трава или отпечатки копыт… Когда он наконец находит то, чего искал, он не дает воли радости. Кто знает, может быть, вол убежал

слишком далеко и его уже не найти. Он терпеливо идет по следу, удовлетворенно хмыкая всякий раз, как его надежда получает подкрепление. По дороге он то сорвет и съест сочный мясистый лист, то корень, клубень, какую-нибудь ягоду, плод, а их в это время года всюду великое изобилие. Но всякий раз, остановившись на минуту, он вспоминает — со стыдом, таясь от самого себя — вчерашний разговор с Элизабет. В ярком, беспощадном свете дня он испугался того, что наговорил ей вечером, того, что говорила ему она. Что с ним случилось, почему он раскрыл перед ней так много? Наверное, виной всему темнота и близость львов, угрызения совести, оттого что он слишком уж часто ее унижал, и ее беззащитность, и его порыв помочь ей, утешить, оградить. Но зря он поддался порыву, это опасно, это ошибка, нельзя ее повторять.

Он спускается в лощину между холмами и вдруг видит в дальнем ее конце, возле негустых зарослей боярышника, щиплющего траву вола. Шею ему все еще сдавливает кожаный ремень. Почуяв Адама, животное вскидывает голову.

Адам начинает тихо, ласково говорить с волом, а сам медленно, осторожно делает несколько шагов в его сторону. Животное предостерегающе

всхрапывает.

— Ну что ты, дурачок, что ты, не бойся, — успокаивает его Адам. — Я же за тобой пришел, сейчас пойдем обратно.

Вдруг вол поворачивается и трусит прочь. Но ярдов через сто опять останавливается и глядит назад через свой высокий горб. На боках у него запеклась кровь.

— Иди сюда! — ласково зовет Адам. — Иди, мой хороший…

Вол в ответ жалобно мычит. На этот раз он подпускает Адама к себе, дается погладить. Висящая складками шкура нервно подрагивает. Серьезных ран у него, слава богу, нет, на боках царапины от львиных когтей и колючек, но они неглубокие.

— Пошли, — приказывает Адам и, подобрав оборванный конец ремня, ослабляет тугой ошейник.

В лагерь они возвращаются к полудню. Элизабет вскакивает, роняя с колен свои тетради, бежит к входу в загон им навстречу.

— Далеко пришлось ходить? — спрашивает она.

— Не особенно.

— Он ранен?

— Пустяки, несколько царапин.

— Ты, наверно, устал, — заботливо говорит она. — Поешь, я обед приготовила.

— Спасибо. — Он поднимает на нее глаза. Сегодня щеки ее едва заметно порозовели. Он снова отводит взгляд. — Нужно собираться в путь, — резко говорит он.

— Почему?

— Лучше уйти как можно дальше, пока львы доедают вола.

— Теперь мы пойдем еще медленней, — спокойно говорит она.

— Нет, почему же. Вы сядете на этого вола, а лишнее выкинем.

— Да разве у нас есть лишнее? — возражает она. — Мы и так почти ничего не взяли.

— Как же быть? — сердито спрашивает он.

— Навьючим всю поклажу на вола, как раньше. А я пойду пешком.

— Не осилите.

— Осилю, я вполне здорова.

Он изучающе глядит на нее с затаенной враждой, но не без уважения.

— Ведь теперь уж, наверное, близко, правда? — спрашивает она.

— Близко, если идти по прямой. — Он глядит на нее в упор. — Только мне туда не надо, где по

прямой, мое море лежит дальше.

— Но разве нельзя пройти к морю кратчайшим путем, а потом двигаться по берегу?

— Тогда пришлось бы переправляться через устья рек, продираться сквозь заросли дюн, одолевать скалы, а на это уйдет месяца два-три.

— Что нам время? Главное добраться до моря, верно?

— Нет. Мы пойдем туда, куда мне надо.

— Но ведь…

— Будет так, как я сказал, — говорит он спокойно и непреклонно.

Вот главное, думает он, вот причина. Не в реках суть, не в дюнах и не в скалах, которые задержат их в пути. Просто он должен одержать над ней верх, подчинить ее своей воле, не уступить ей, не выпустить из повиновения.

И она это знает, он видит по ее глазам. Он ждет, что она возмутится, но она молчит, не потому, что сдалась, покорилась, нет — вон как гордо вскинута ее голова, как решительно расправлены плечи: ее молчание — оружие, куда более изощренное и грозное, чем открытый бой.

Я победил, опустошенно думает он. Мы пойдем дорогой, которую я выбрал, пойдем к моему морю. Моя воля восторжествовала. Но я лишь отсрочил,

лишь отдалил неотвратимое. Рано или поздно оно должно совершиться.

Она сидит на большом валуне у реки и болтает в воде ногами, рядом стоят башмаки, которые он ей сшил, когда ее капстадские туфельки совсем развалились. Чуть ниже по течению Адам поит вола; поклажа осталась на пригорке. В последние дни им встретилось множество рек и речушек, и чтобы переправиться на ту сторону, они порой часами искали брода или хотя бы просто спуска к воде в дремучих зарослях по берегам. Эта река шире прежних, вода пенясь бежит по камням и образует перед порогами глубокие заводи. От морды пьющего вола по зеркальной воде расходятся круги, дробя отражение деревьев, и если б не это легкое колыханье, было бы не отличить, где мир, а где его отражение. Неподалеку по заводи тихо плывет стая диких гусей, на том берегу среди выброшенных рекой деревьев и сучьев бродят ибисы, по кочкам осоки вышагивают длинноногие аисты. Когда они с волом пришли сюда, птицы едва обратили на них внимание.

— Подумать только, — вдруг говорит она взволнованно, — наверное, до меня здесь не ступала нога человека. — И с удивлением смеется: — Я вписала новую страницу в историю!

— Между прочим, я тоже здесь, — говорит он, закипая гневом. — И готтентотов до нас прошло немало.

— Я просто хотела сказать…

— Знаю я, знаю, что вы хотели сказать. — Он остервенело трет мокрый круп вола пучком травы. Ну вот, было так просто, хорошо, и опять все разрушено. Она в досаде прижимает ко лбу стиснутые кулаки. Ну, почему, почему каждый раз так кончается? Почему она всегда говорит не то, что нужно? А может, это он виноват, может, он нарочно придирается к ее самым безобидным словам и поступкам? Как выматывает силы эта вражда, еще хуже, чем нескончаемый путь изо дня в день.

— По-вашему, только за вами стоит история и для нее важен каждый ваш чих, — язвительно говорит он. — А все, что происходит за пределами Капстада, к истории не относится, так ведь?

— Но ведь цивилизацию этой стране несет Капстад, — возражает она.

— А история начинается с цивилизации, да? Неужто для вас существует только Капстад с его церквами, школами и виселицами? А в чем она состоит, ваша цивилизация? Может, она несет лишь зло, откуда вы знаете?

— Я совсем не о том говорила.

— Не о том? Нет, именно о том, иначе не заявили бы, что-де до вас здесь не ступала нога человека. Вам кажется, историю интересуете лишь вы, лишь белые, которые живут в Капстаде и умножают его власть и богатство! Ведь это вы называете цивилизацией? А для истории все важно, и то, что происходит в Капстаде, и то, что происходит здесь, без вас, такие мысли вам не приходили в голову? Ей важен каждый готтентот, которого похоронили в дикобразьей норе, потому что от старости и болезней он не мог кочевать с караваном, ей важен каждый путник, который пересек эту реку, пусть даже мы никогда не узнаем его имени!

Элизабет быстро встает.

— Да что это, в самом деле, — говорит она. — В тебя словно бес какой-то вселился. Что я ни скажу, ты непременно вывернешь наизнанку.

— Да потому что это не вы говорите, а Капстад. Что вам в голову вбили, то вы и повторяете, сами-то думать не умеете. А мне надоело слушать эту чушь.

— Так что ж ты не идешь один? — запальчиво говорит она. — Ты сам вызвался отвести меня к морю, я тебя не просила.

— И что с вами будет, если я вас здесь брошу?

— Не твоя забота. Не пропаду. А хоть бы даже и пропала, тебя это не касается. Я тебя не принуждаю идти со мной. Раз ты считаешь, что я такая обуза, ради всего святого оставь меня и ступай один. Но уж если ты решил остаться, изволь относиться ко мне хотя бы с уважением.

— Да, госпожа, слушаюсь, — насмешливо говорит он.

Она поднимается и, сдерживая гнев, уходит туда, где брошена их поклажа.

…Ведь я не хочу воевать с тобой, не хочу спорить, как ты не видишь? Я просто хочу иногда перемолвиться с тобой словом, мне так одиноко. Почему ты все время стараешься выместить на мне все свои прежние обиды? Я этого не заслужила. Я не хочу, чтобы на меня взваливали чужую вину…

Он идет за ней и тянет вола.

Почему ты все время перечишь мне и заставляешь выходить из себя? Потому что тебе хочется меня унизить? Все эти годы мне никто не был нужен… так по крайней мере мне казалось. А сейчас ты на каждом шагу заставляешь меня убеждаться, что я так и не освободился от власти Капстада, что всеми моими поступками по-преж-

нему движут ненависть и протест. Я думал, что я избавился от ненависти, но я обманывал себя, какое же мучение это понять. Но что ты знаешь о моих мучениях?

Ты думаешь, я ушел от людей по своей воле, и в этом-то как раз вся суть…

Продолжая свой спор без слов, он привязывает вола на лужайке, а она устраивает себе постель. Потом он уходит собрать дров для костра, а она спускается к реке освежиться и поплавать, и когда он возвращается, он видит, что она опять погрузилась в свои дневники.

Несколько минут он стоит, наблюдая за ней. Она, конечно, чувствует его взгляд, но не поднимает головы. Наконец он отводит от нее глаза и начинает сооружать изгородь. Закончив, поворачивается и идет в сторону реки.

Она поднимает голову и смотрит, как он скрывается за деревьями, потом снова хочет писать, но не может собраться с мыслями. Она в досаде закрывает тетрадь и откладывает в сторону. Берет платье и начинает чинить, но и штопку бросает, встает и бесцельно бродит взад и вперед, потом ей приходит в голову, что надо развести костер. Сидя возле огня, она рассеянно ворошит длинной палкой поленья, вся во власти устало-

сти и тревоги.

Почему его нет так долго? Неужели он поймал ее на слове и ушел один? Ну и пусть, ушел так ушел, она и без него не пропадет. Будет идти и идти по течению реки, пока не выйдет к морю, это для нее сейчас главное.

Но вдруг она бросает палку и встает. И только когда она уже выбежала из ограды, в голове у нее мелькает: «Как он будет торжествовать, если увидит, что я его разыскиваю!» Она возвращается и начинает перекладывать свои вещи. Но еще через несколько минут принимает решение и, уже не колеблясь, твердым шагом выходит из лагеря и направляется к реке. Пусть он думает что хочет, уже поздно, пора ему приниматься за вечерние дела.

Лишь только кончились кусты, она сразу же замечает на плоском валуне, где раньше сидела сама, его платье — грязные шутовские лохмотья. Да и кто он, как не жалкий шут? Теперь она может вернуться, но, подавив первый порыв, она спускается к воде и залезает на камень.

В длинной заводи ниже по течению она видит его, он плавает и ныряет в дальнем конце у камней.

— Адам!

Он встряхивает мокрой головой и глядит на нее.

— Что случилось?

— Тебя так долго не было, и я… — Она умолкает.

— Сейчас приду.

Он плывет к ней широкими ровными саженками, на его плечах блестит вода. Напротив на берегу все еще разгуливают ибисы и аисты, облитые желтым закатным светом. В темнеющем лесу перекликаются птицы.

Доплыв до мелководья, где ему по грудь, он встает на ноги и идет, вода опускается все ниже, ниже, вот она дошла ему до пояса… Он останавливается на миг в нерешительности, глядит на нее. Она опять рванулась было — исчезнуть, убежать. И вдруг поняла: нет, она не может сейчас бежать, не хочет. И она остается стоять, с вызовом глядя ему в глаза, высоко подняв голову, утверждая свое превосходство.

Он подходит ближе, его глаза сощурены, на губах загадочная улыбка. Из воды показываются его бедра. Он худ, угловат, но гибок, в движениях мягкая кошачья грация, под кожей играют гладкие тугие витки мускулов, — у него тело юноши. Все, теперь надо уйти. Но она продолжает стоять. Уже

виден низ его живота в темной поросли волос. У нее стесняется дыхание, но она упорно не отводит глаз. Сейчас я увижу тебя таким, как ты есть. Ты каждую минуту унижаешь меня, смеешься надо мной, оскорбляешь. И я хочу поглядеть на тебя во всей твоей постыдной, жалкой, беззащитной наготе, жестоко выставленной передо мною напоказ: ну что же, хватит у тебя дерзости или нет?.. Он подошел совсем близко. Теченье кружится вокруг его колен, вокруг мускулистых икр… Он вспрыгивает на камень, где она ждет, по-прежнему не пытаясь ни отвернуться от нее, ни хотя бы прикрыться руками.

Нагнувшись, он берет свою одежду и идет на берег. Она глядит ему вслед и впервые за все время видит на его спине, на бедрах, на боках страшные багрово-черные шрамы и толстые узловатые полосы рубцов.

Рот ее полуоткрыт, ей нечем дышать.

— Дикарь! — сквозь зубы шипит она.

Он оборачивается. Неужто посмеет ответить? Ее вдруг охватывает стыд от того, что он наг, она отводит взгляд от его глаз и глядит ему на ноги. Он молча идет дальше, все так же неся на руке свое платье и не показывая ни малейшего намерения его надеть, и наконец скрывается за

деревьями, которые окружают лагерь.

— Никогда не доверяй рабу, моя девочка, — говорил ей отец. — Ты можешь обращаться с ним как с родным сыном, воспитаешь его в духе христианской любви и смирения и будешь думать, что он стал цивилизованным человеком, будешь верить, что он предан тебе, как собака, но рано или поздно он покажет тебе свои когти, и ты убедишься, что раб всего лишь зверь.

Она опустилась на валун, дрожа, и принялась кидать в воду камешки, а кинув, глядела, как они тонут. Господи, что с ней происходит? Сколько раз она видела обнаженных рабов и совершенно не замечала их наготы, они были для нее чем-то вроде животных в зверинце Компании. А он разве не раб? Самый обыкновенный раб, она до конца поняла это сегодня, когда увидела его исполосованную омерзительными шрамами спину. Но откуда же тогда эта слабость в ногах, эта дрожь? Почему она так ясно видит перед собой его обнаженное тело, его грудь, его бедра, ноги, живот? Почему она вообще обратила внимание, что он наг? Ведь он дикарь, она недаром назвала его так. Больше она уже не будет его бояться.

И все же, когда она наконец собралась с духом и пошла в лагерь, было уже почти темно. Сегодня

ее страшит их лагерь, страшит костер, страшат его непримиримые надменные глаза.

У входа в лагерь ей бросается в глаза его одежда: изодранные в клочья штаны и рубаха висят на ограде из веток. На миг ее охватывает смятение, она хочет убежать. Но куда, куда она убежит? И зачем? Душу наполняет неведомая ей доселе странная покорность, да, она действительно в пустыне, и он, конечно же, дикарь, могла ли она ждать от него чего-то иного? За все то время, что они идут вместе, и в особенности за те дни, что они прожили у готтентотов, она было поверила, что он такой же человек, как и она. И именно эта его цивилизованность больше всего ее бесила. Но сейчас все стало ясно, их роли определились, осталось только их сыграть. Если он теперь попытается ее изнасиловать, она просто должна примириться с мыслью, что в ее положении эта опасность только естественна. Ее лишь удивляет и беспокоит, почему он до сих пор не применял против нее силу? Ему бы так было гораздо проще, да в конечном итоге и ей тоже, она бы хоть знала, что ей предстоит, и не противилась неизбежному. Насколько легче перенести надругательство над телом, если уж ей так суждено, чем эти нескончаемые сомнения, неуверенность, тревогу.

Сосредоточившись, внешне спокойная, она входит в ограду и заваливает ветками вход. Мельком взглядывает на него — да, он сидит у костра нагой, — подходит к своим неразвязанным вещам и демонстративно достает тетради. Открывает последнюю и принимается писать, перо дрожит, но она не в силах унять эту дрожь, она сама не могла бы сказать, какие слова выводит ее рука.

Но его молчание гнетет ее все сильнее, все острее раздражает, точно соринка, попавшая в глаз. Она поднимает глаза — он глядит на нее в упор. Судорожно вздохнув, она продолжает писать, нанизывая друг на друга мелькающие в голове слова, рисует запомнившийся ей силуэт амстердамских крыш, перечисляет случайно пришедшие на память названия растений и животных. Наконец в ней разгорается гнев: что за глупость, почему она так растерялась?

Она снова поднимает глаза и сухо приказывает:

— Если ужин готов, можешь принести.

— Ужин ждет вас.

— Ну так неси.

Она смотрит на него, нарочно не закрывая лежащей на коленях тетради, но он упрямо сидит. Если он сейчас не подчинится, значит, это бунт,

открытая война, которая зреет в сгустившемся вокруг них молчании. Миг тянется бесконечно.

И вдруг он встает, так резко, что она вздрогнула, уходит и приносит ей еду: жаркое из кореньев с млечным соком, которые он вчера выкопал и, порезав на куски, всю ночь вымачивал, сейчас они пахнут мясом.

Он остается стоять перед ней, дерзко глядя ей прямо в глаза и вынуждая ее заговорить, ожидая от нее слов, требуя. Но она не сдается. Она не позволит властвовать над собой! Взяв у него тарелку, она отворачивается, чтобы не видеть так близко перед собой его наготу.

Он возвращается к костру. Она начинает есть, чувствуя, что он ни на миг не спускает с нее глаз. Все, хватит играть в молчание, решает она, молчание всего лишь увертка. Пусть ей придется вступить в открытую борьбу, но она ему докажет, что ее не так легко запугать.

— Забери тарелку, — приказывает она.

Он тотчас же встает, он повинуется, но весь его вид выражает оскорбительное презрение. Грозно, вызывающе стоит он перед ней.

— Почему ты не надел свое платье? — спрашивает она.

Именно этого вопроса он и ждал.

— Я же дикарь. А дикари одежды не носят.

— Ведешь себя как маленький ребенок!

— Но ведь дикари те же дети, не так ли?

Элизабет поднимается на ноги, не желая больше смотреть на него снизу вверх.

— Ты затеял глупую игру, Адам, меня она совсем не забавляет, — говорит она. — Если тебе хочется, можешь меня изнасиловать. Наверное, ты думаешь, что этим возьмешь надо мной верх? Что ж, пожалуйста, только ради всего святого действуй открыто, не прячься по углам, не сиди в засаде, дожидаясь темноты.

— С чего это вы вдруг решили, что я вас хочу? — язвительно бросает он ей в лицо — точно гадюка ужалила. — Хотел бы, так уж давно бы вас взял.

— Не уверена. — Ее голос срывается, но она берет себя в руки. — По-моему, ты меня боишься.

Он вдруг швыряет тарелку о камень, который лежит между ними, и она разлетается вдребезги. Она стоит, ожидая. Он не шевельнулся.

— Это вы боитесь, а не я, — говорит он.

— Да, — спокойно отвечает она, — я действительно боюсь. Но я хоть знаю, чего боюсь. Ты тоже боишься, а вот чего — не знаешь. С таким страхом жить еще труднее, что, разве нет? Поэтому-то ты меня и ненавидишь. Поэтому и стараешься все

на мне выместить.

А на самом-то деле мы боимся этих пространств, которые все ближе и ближе подводят нас друг к другу, думает она. Словно вернулась та ночь, когда на них напали львы. Они стоят друг против друга, решая, что же им делать, каждый взвешивает, примеряет, прикидывает, сейчас важен самый незначительный жест, слово, от них зависит судьба. Они глядят друг на друга, и в глазах у них ненависть, боль, смятение, жажда. Мне страшно, и страшно тебе, ночь бесконечна. И это главное. Если я решусь протянуть к тебе руку, поймешь ты меня или нет?

Он первый отводит глаза, нехотя, может быть, даже смиренно, может быть, даже с печалью. Кажется, на этот раз победила она. Но такая победа не решает спора, не доказывает правоты, она никому не приносит радости и лишь еще больше все запутывает. И она чуть не с отчаянием спрашивает о том, чего знать не хотела:

— Почему у тебя такая спина?

— Белые господа отстегали плетьми. — Все так же стоя к ней спиной, он добавляет со сдержанной яростью — Ну и что? Эка невидаль — отстегали раба. Их каждый день стегают.

— И поэтому ты убежал?

— Поэтому или не поэтому, — какая вам разница?

— Очень большая. Ты раньше говорил, что ушел по своей воле.

— Никогда я вам такого не говорил. Вы сами так решили.

— А ты меня не разубеждал. Тебе хотелось, чтобы я так думала. Ты не хотел, чтоб я узнала правду: что ты убежал, потому что тебя высекли.

— Ну вот, теперь вы знаете правду. Вы наконец-то довольны? Считаете, что теперь взяли меня за горло?

— Я вовсе не хочу брать тебя за горло.

Он быстро к ней повернулся.

— Зачем же тогда все время выпытываете?

— За что тебя били плетьми, Адам?

— Я поднял руку на своего хозяина, — жестко говорит он.

— Не просто же так ты поднял на него руку, видно, были причины.

— Были, не были, — это никого не касается.

— И тут боишься? — с насмешкой спрашивает она. — Ты не постеснялся раздеться передо мной, чего же сейчас стыдишься?

— Стыжусь? Я? — Его начинает трясти от возмущения. — Это вам должно быть стыдно! Вы без

конца пытаете меня расспросами. Чем это лучше плетей? До чего же вы, женщины, жестоки. Мужчины высекут тебя и уйдут, а вы принесете соль и посыплете раны.

— Если ты в самом деле считаешь, что я хочу тебя мучить, можешь мне ничего не рассказывать.

Опять стена, думает Элизабет. Каждый раз я на нее натыкаюсь. Она поворачивается и хочет идти прочь.

— Ладно, — говорит он глухо, — расскажу, если уж вы так хотите знать. Даже это признание вы у меня вырвали, можете гордиться.

Она оглядывается, протестующе взмахнув руками, но его словно прорвало.

— Ведь вы хотели знать правду, — сурово говорит он. — Так слушайте. Сударыня, в жизни каждого человека рано или поздно наступает такая минута, когда он должен сказать «нет», и потому я поднял руку на хозяина. Я был его старостой и должен был следить за всем его хозяйством и делами. Мне даже приходилось наказывать других рабов по его приказу. У него было больное сердце, сам он пороть людей не мог, очень уставал, поэтому только наблюдал, как наказывают. А я должен был сечь моих братьев — думаете, легко? Но ведь я был раб, разве я

мог перечить хозяину? — Он умолкает на миг и с трудом переводит дыхание. — А потом умерла моя бабушка, она замерзла, потому что меня не пустили принести ей дров. Мать хотела пойти хоронить ее, но баас не разрешил, он велел ей в тот день подрезать виноградные лозы. И тогда мать ушла не сказавшись и похоронила старуху. А назавтра вернулась в усадьбу и как ни в чем не бывало принялась за работу. Подрезала лозы и пела.

Он глядит мимо нее в ночь.

— Что же было потом? — спрашивает она, потому что он не произносит ни слова.

— Хозяин велел отвести мать на задний двор и привязать к столбу. А мне дал плетку из гиппопотамовой кожи и велел ее сечь.

— Не может быть, ты опять меня морочишь!

— Увы, сударыня, на этот раз я говорю правду. — В его глазах горит такое презрение, что она невольно съеживается и все-таки прикованно глядит на него. — Я умолял бааса — он даже слушать меня не стал. Но я не отставал, и тогда он схватил полено — я как раз мастерил во дворе стол, и ему попалась в руки заготовка для ножки, — и стукнул меня по голове. Я вырвал у него ножку… и бил его, бил, пока он не упал на землю

без чувств.

— И что же дальше?

— Ничего.

— Тебя наказали, и ты убежал?

— А что мне еще было делать? Вы думали, я ушел в пустыню, потому что мне здесь так нравится? Просто ничего другого не оставалось. И вот я научился жить в пустыне, я чую опасность, как зверь. Но ведь я не зверь. Я человек. И я хочу жить с людьми. Когда-нибудь я к ним вернусь и вернусь не как провинившаяся собака, которая ползет на брюхе, нет, я приду открыто, с гордо поднятой головой, ничего не стыдясь.

Она опускает голову.

— Разве это возможно? — спрашивает она.

— Да, возможно, но для этого я должен отвести вас обратно в Капстад. Не просто к морю, но в город, туда, где вы жили, домой. А вы им все объясните. Если вы скажете, что я спас вам жизнь и привел вас обратно, если потребуете, чтобы мне дали свободу, они согласятся. Вы можете купить мне свободу. Больше мне ее не от кого ждать. Я в ваших руках.

Она онемела и не может даже взглянуть на него.

— Теперь вы понимаете? — спрашивает он

в новом приступе негодования. — Вам нечего бояться, я вас не изнасилую. Ведь причинив вам зло, я попросту убью себя.

— Стало быть, твоя свобода в обмен на мою безопасность, такую сделку ты мне предлагаешь? — в изумлении спрашивает она.

— Вы называете это сделкой?

— А ты как называешь?

— Да разве дело в названии? — говорит он устало. Видно, ему в первый раз за все время стало неловко своей наготы. Он быстро поворачивается к Элизабет своей обезображенной спиной и возвращается к костру. Подбрасывает в огонь дров, потом завертывается в свои шкуры и ложится в полутьме поодаль.

Элизабет снова садится и глядит на него, на этот бесформенный силуэт. Как страшно жить у границы неведомого мира и знать, что этот мир можно открыть… Открыть неведомый мир? Неужто такое возможно? Кто на это решится, у кого хватит смелости? И разве можно жить в чужом мире? Долго ли проживет улитка, расставшись со своим домиком? Зачем же тянуться в темноту через пламя, в темноту, которая так страшит? А может быть, именно страх нас и гонит?..

Он не заметил, когда она легла спать. Прос-

нувшись перед рассветом, он слышит в темноте глухой стон, вздох… В тревоге и недоумении он встает и подходит к ней, наклоняется и, как зачарованный, смотрит на ее движущиеся руки. В нем начинает шевелиться желание.

— Что тебе надо? — сдавленно шепчет она и натягивает на себя одеяло. — Что тебе надо? Уходи!

Но он не может уйти, не может двинуться с места. Женщина, думает он, ты — дикий, неведомый край, где так легко потеряться.

Она садится, кутаясь в одеяло. Тлеющие угли почти не дают света. В темноте она различает лишь очертания его худого тела, его шею, плечи, втянутый живот и то темное, грозное, стремящееся к ней, похожее на голову змеи…

…Пощади меня, сжалься. Ты же видишь, меня истерзали голод и страх, и я хочу только покоя. Мне не по силам это бремя, не по силам одиночество…

…Отдаться мгновенью, погрузиться в него, как в глубокую реку, — довольно лишь склониться к ней, коснуться ее, он это знает. Но за мгновеньем простирается жизнь, будущее, огромное, как ночь, и все возможно в этом будущем, и у тебя захватывает дух, но все висит на волоске, одно-единое неверное движенье все разрушит,

все погубит, похоронит.

Он снова выпрямляется и, издав странный горловой звук, похожий на рыдание, идет к своим шкурам, в темноту.

Прошу тебя, прошу, не отнимай мое последнее оружие. Только эта крупица свободы у меня и осталась.

Теперь до него не доносится ни звука. Он даже не слышит ее дыхания. Уснула ли она или лежит без сна и смотрит широко открытыми глазами в ночь? Но он не поворачивает в ее сторону головы. Он садится за кучей дров, кладет на колени одну из шкур, в которые они завертывают свою поклажу, и медленно, старательно выкраивает себе передник и пояс.

А потом они потеряли второго вола. Случилось это после одной из тех гроз, которые часто свирепствуют на востоке провинции, доказывая, как коварен этот мягкий и благодатный с виду край.

Они уже были недалеко от побережья, днях в трех-четырех пути. Гроза накапливалась исподволь, в воздухе стояла влажная, невыносимая жара. Ни ветерка, ни облачка, и негде скрыться от невидимого, липнущего к телу зноя, который истощает силы и не дает воздуху проникнуть в грудь.

Они прошли по опушке густого леса, среди куп высоких деревьев — птероксилона, терна, бафии, чернодревесных акаций, атласных деревьев, и перед ними раскинулся длинный пологий склон в зарослях диких олив и шафрана, можжевельника, диких персиков, бородача и темеды, вездесущего молочая. И вдруг у них вырвался крик радости — внизу сверкала река, такой широкой и полноводной им еще не встречалось.

Именно так описывает она место действия в своем дневнике. То, что там произошло, мы легко можем себе вообразить.

Он караулит, не покажутся ли где крокодилы, а она ложится на берег и пьет, пьет, пьет, и плещет пригоршни воды в свое пылающее лицо. Они уже несколько дней не находили воду, и приходилось утолять жажду тем, что приносил Адам: диким инжиром, водоносными клубнями, кафрскими арбузами-кенгве. И вот теперь это чудо — широкая, быстрая река.

Напившись, Элизабет сразу же хочет переправиться на тот берег, но Адам говорит нет, дно здесь слишком ненадежное. Нужно подняться вверх по течению, часов через пять будет брод, или же придется мастерить плот здесь и на нем перевозить их поклажу. Идти в такую жару

немыслимо, и, смирившись, она решает остаться и начинает собирать на берегу крепкие плети вьющихся растений, чтобы связать бревна, которые он нашел для плота. К вечеру, незадолго до сумерек, у них все готово для переправы, но сами они едва держатся на ногах от усталости.

— Ну что, в путь? — спрашивает она.

— Лучше подождать до завтра. На переправу уйдет добрый час, а к тому времени стемнеет, и мы не успеем как следует устроиться на ночь. А устроиться нам надо основательно: вон какая гроза собирается.

У нее уже нет сил настаивать, она подчиняется скрепя сердце, ей кажется, что Адам нарочно тянет время, что он нарочно не пускает ее к морю, — к морю, которое уже давно стало для нее заветной целью, страной обетованной, где она наконец избавится от тревог и волнений, где обретет мир, покой.

Он чувствует ее недовольство и говорит, словно желая утешить:

— После грозы погода должна установиться.

— Откуда ты знаешь?

— Так всегда бывает.

Как был бы благодарен за это наблюдение Эрик Алексис Ларсон…

Она глядит, как Адам стаскивает сучья и ветки, чтобы по заведенному порядку огородить их ночной бивак. Порой он останавливается и горстью стряхивает с лица пот, по его исполосованной спине бегут черные блестящие ручьи. При виде его шрамов она привычно содрогается, ее наполняет отвращение, и в то же время она не может отвести от них глаз. Ты тоже устал, думает она. Не одной мне трудно. Но ты не ропщешь, ты трудишься не покладая рук. Зачем? Неужто ради меня? Если бы ты был один, ты вряд ли стал бы так надрываться. Интересно, как ты ночевал все эти годы, скитаясь по пустыне, пока не пришел к моему фургону? Как же мало я о тебе знаю.



И вдруг поднимается ветер. Среди тягостной духоты в лицо потянуло свежестью, прохладой, стало легче дышать, слипшиеся от пота волосы высохли. Потом ожила и заговорила листва: в смятении ропщет дикий инжир, нежно и мелодично лепечут крошечные листочки атласных деревьев, гудят кроны железных деревьев, тревожно перешептывается кустарник. Ветви раскачиваются и скрипят. Потом будто чьей-то гигантской рукой смяло ковыль на лугу, который спускается к реке. Небо чернеет. Последний луч солнца из-за реки освещает вершину холма бледным призрачным светом. Глухо, тяжко грохочет вдали гром, он приближается с каждым раскатом, вот над холмами заплясали молнии, раскалывая небо.

А ветер уже разошелся вовсю, он ревет в вершинах и мечется по лесу, точно вырвавшийся на свободу зверь. Вол в страхе бегает вокруг дерева, натягивая привязь, глаза у него вот-вот вылезут из орбит.

— Давайте поедим, а то сейчас стемнеет, — предлагает Адам.

От вчерашнего ужина у них осталось немного меду, он налущил и поджарил бобов, заварил чаю, который они везут с собой еще из Капстада. Но есть при таком ветре оказалось невозможно.

Это уже не ветер, это ураган, с грозным ревом мчится он по вельду, качает и гнет до земли огромные деревья, ломает сучья, швыряет их, гонит. Обезумевший вол мычит и рвется с привязи, Адам то и дело встает и подходит к нему, похлопывает по спине, успокаивает.

Такая же гроза разразилась в ту ночь, когда в лагерь не вернулся Ларсон, думает Элизабет. Нет, сейчас гораздо страшнее. Промаявшись весь день бесплодным ожиданием, измученная страхом, она тогда мгновенно провалилась в сон и крепко спала до рассвета: гроза была ее верный страж, она разогнала всех хищников. И еще одно: тогда-то она спала в фургоне, его парусиновые стены и верх были крепко привязаны. А сегодня между ними и грозой нет ничего, только лес, только деревья.

Но скоро оказалось, что именно деревья-то их самый опасный враг. Они поняли это одновременно, когда вдруг дрогнула земля и на нее со стоном повалилось упавшее дерево.

— Вырвало с корнем!

Снова грохот и треск, по земле проносится гул, буря валит во тьме одно за другим могучие стволы, выворачивает крепкие, вцепившиеся в почву корни. А ветер все усиливается. Небо

беспрерывно вспарывают молнии, грохочет так, будто рушатся горы.

В какой-то миг этой черной безвременной ночи молния ударила в исполинское атласное дерево возле самой ограды их бивака. Они услыхали оглушительный удар, в котором потонул даже рев урагана, и, подняв головы, увидели занявшееся пламенем небо, почти в то же мгновенье огромный ствол рухнул на их лагерь, сокрушая все на своем пути, и вдруг весь вспыхнул, как факел. Ветер подхватил горящие ветки и понес их в лес. Услышав удар, Элизабет вскочила и в страхе прижалась к Адаму.

— Надо скорей выбираться, — в волнении говорит он и встряхивает ее за плечи, чтобы привести в чувство. — Помогите мне, быстро.

— Да, да. Что я должна делать? Куда мы пойдем?

— На открытое место. За мной сюда, подержите вола, я его сейчас навьючу!

— Он собьет меня с ног!

— А вы не показывайте ему, что боитесь. Разговаривайте с ним. Скорее, нельзя терять ни минуты.

Вся дрожа, она начинает успокаивать животное, гладит его морду, а Адам в это время

навьючивает на его широкую спину их скарб.

— Готово, пошли.

Он тянет вола, она, спотыкаясь, бредет за ним, прочь от горящего дерева, прочь из лесу, но когда они выходят на открытый простор, ветер кидается им навстречу, словно шальная волна.

— Туда! — кричит он ей, показывая на небольшую рощу диких олив и молочая, где меньше опасности, что их придавят падающие сучья. Они продираются к роще сквозь дремучий кустарник, не чувствуя, что ветки и колючки царапают их кожу в кровь.

И тут начался дождь. В тот миг, когда ветер, казалось, достиг наивысшей силы, с кромешного, кипящего огнем неба упала стена воды и смыла ветер, как мусор. После одуряющей жары последних дней холод показался им непереносимым, на них словно накинули ледяное одеяло. Спрятавшись кое-как под кустами, они прижимаются к боку вола. Адам развернул одну из шкур, в которых они возят свой скарб, и накинул на нее и на себя, а скарб они пытаются прикрыть от дождя своим телом. Она в ужасе все теснее прижимается к Адаму, делясь с ним своим скудным теплом.

Однако ветер то и дело снова вырывается на свободу и начинает ломать и выворачивать де-

ревья. То тут, то там вспыхивает огонь, молнии беснуются среди туч в пляске святого Витта, и снова обрушивается ливень и прибивает их к земле.

— Неужто дождь никогда не кончится? — Зубы у нее стучат, она не может унять их дрожь.

Так неистова ярость грозы, что Элизабет даже перестала бояться: сломленная, избитая, опустошенная, она без единой мысли лепится к нему. Он обнимает ее одной рукой за плечи, другой придерживает над их головами почти бесполезную шкуру.

— Кончится, скоро кончится, — говорит он. — Ну, промокнем немножко, невелика беда.



Гроза начинает утихать лишь на рассвете, когда сквозь черную пелену дождя уже явственно сочится холодный серый сумрак. Дождь еще льет, но скоро и его пелена редеет. Элизабет все так же сидит возле Адама, сжавшись в комочек, тихая, ошеломленная. Когда грозу уже почти унесло, она сдается наконец усталости, ее сковывает великое оцепенение, и она засыпает.

Но очень скоро ее разбудил холод, она не сразу опомнилась, где она и что произошло, и потом вдруг видит Адама — он спит рядом, положив голову ей на плечо. Ничего не понимая, она глядит на его спящее лицо, и чувствует, как он вздрагивает во сне. Это что же, они провели так всю ночь, друг подле друга, в тесном сплетении? Сейчас, во сне, лицо у него совсем незащищенное. Нет ни надменности, ни злобы, только усталость, отчужденность, покой.

Ее тело онемело от холода, ноги затекли. Она хочет осторожно повернуться, но он тут же открывает глаза и глядит на нее.

— Спи, спи, — говорит она и сама не узнает своего голоса. — Ты устал.

— Нет, мы замерзнем, надо двигаться.

Они с трудом выползают из-под кустов, болезненно ощущая каждый шип, каждый острый

сучок. Она глядит на свежие, кровоточащие царапины, которые покрывают его темное тело, и ей кажется, что этого человека она никогда раньше не видела.

Вокруг них сломанные кусты, вывернутые с корнем деревья, огромные зияющие раны в красной мокрой глине. Он осматривается, повернувшись к ней спиной.

…С той ночи, когда ты услышал мой стон, я для тебя всего лишь женщина. Наша плоть нам мешает. Но как иначе мы найдем и узнаем друг друга? Мы стыдимся своей плоти, а вот плоть не стыдится нас. В грозу наши тела так естественно прильнули друг к другу, будто несомые половодьем деревья.

…Взгляни на меня. Слова не нужны, просто взгляни, узнай, не отвергай того, что случилось. Доверься мне, поверь в меня. Разве ты не видишь, как мне нужна твоя вера? Если ты откажешь мне в ней, значит, эта ночь прошла без следа, значит, мы просто испугались грозы и сбились в кучу, как скот — ты, я, наш вол. Нет, нет, эта ночь полна значения и смысла, я знаю, она вошла в наши души, как входит в землю дождь. Признай же это, больше я тебя ни о чем не прошу. Признай, иначе ты отринешь, перечеркнешь меня…

— Присмотрите за волом, — говорит ей Адам. — Я попробую развести костер.

— Где ж ты сейчас найдешь сухих дров?

— Может быть, в самой чаще не очень промокло. Хорошо бы найти можжевельник, он легко разгорается. — Он, не оглядываясь, медленно идет прочь. Элизабет остается одна. Она вынимает из тюка чистое платье, оно тоже влажное, но ведь то, что сейчас на ней, вообще хоть отжимай. Слава богу — завернутые в шкуру дневники не промокли.

Через час откуда-то из глубины леса к небу робко тянется столбик дыма; немного погодя за ней приходит Адам. Они гонят вола и на ходу немного согреваются. Она видит небольшой костер и содрогается в блаженном предвкушении тепла. Она греется, протянув к огню руки, а он тем временем кипятит воду, жарит несколько вымоченных ливнем кусочков вяленого мяса.

— Придется нам найти место поудобней и переждать здесь непогоду, — говорит он немного погодя.

И льнуть друг к другу по ночам, а днем, при свете, делать вид, что мы такие же чужие, как и прежде? Сколько же можно жить во лжи? У плоти своя собственная правда, ее не обманешь.

— Нет, я хочу идти дальше, — пылко возражает она.

— Идти дальше? Вы не знаете, чем нам это грозит, — резко отвечает он. — Мы останемся здесь.

— Но я требую…

— Да какое вы имеете право чего-то требовать от меня? — взрывается он. — Вы этого края не знаете, а я знаю.

— Пожалуйста, — с мольбой говорит она. — Я не могу оставаться здесь. Давай хоть попробуем, прошу тебя.

— Кто вас гонит?

Кто меня гонит? Ты.

— Нам нужно скорее к морю.

— Да ведь наш плот унесло.

Ну конечно, их плот унесло. Когда они выходят к реке, они видят, что вода широко разлилась и затопила прибрежные кусты. Плота нет, даже следов не осталось.

— Придется другой строить, — говорит он.

— Неужели мы не обойдемся без плота? — упрямо возражает она. — Вол у нас сильный, переплывет даже с грузом. А вещи, которые может испортить вода, мы из вьюка вынем.

— Это ваши дневники, что ли?

— Да, мои дневники. — Она глядит ему прямо

в лицо. — Их я сама перенесу. А ты возьмешь патроны и порох. И часть продуктов. А остальное если и промокнет, не страшно.

— Вы же не знаете эту реку.

— Ничего, вол вон какой сильный.

— А мы с вами?

— Доплывем.

У него вырывается короткий смешок.

— До самого моря?

— Мы только попусту теряем время, — нетерпеливо говорит она. — Гони сюда вола.

— Вы лезете головой в петлю!

— Хочешь, чтобы я все делала сама?

Он с закипающей яростью глядит на нее, потом поворачивается и идет по скользкому склону наверх, туда, где они оставили вола. Мрачно развертывает на земле их вьюк. Она опускается рядом с ним на корточки и начинает разбирать вещи. Откладывает в сторону дневники, патроны и порох, ружье, пистолет, муку и сахар — сколько они могут унести на себе, и завертывает все это в две шкуры. Остальное он навьючивает на вола.

Они гонят животное вниз к реке, вол упирается, но глина слишком скользкая, обратно ему не влезть. Его передние ноги уже стоят в мутной рыжей воде, и все равно он делает последнюю

обреченную попытку вернуться, но вдруг глыба глины под его копытами обваливается, и вол, в ужасе всхрапнув, падает в несущуюся воду.

Элизабет кидает быстрый взгляд на Адама, видит узкую полоску его сжатых в гневе губ и тут же отворачивается.

Вол плывет прочь от берега, навьюченная поклажа тянет его ко дну, течение относит в сторону, но голова с закинутыми рогами все-таки остается над водой, вол медленно приближается к противоположному берегу… осталось всего несколько ярдов… И вдруг он вздергивается на дыбы, с диким ревом вертится в невидимых тисках водоворота и исчезает, и все это в мгновение ока, Элизабет даже ничего не поняла сначала. Они бегут по берегу в надежде, что вол все-таки вынырнет. Но лишь один раз, ярдах в стах внизу, мелькает что-то большое и темное, — может быть, вол, а может, и нет. И больше они ничего не видели.

Она беззвучно плачет, из широко открытых глаз катятся слезы, ногти впились в ладони.

— Я предупреждал вас! — злорадствует Адам.

От его слов что-то в ней прорывается.

— Это ты виноват! — рыдает она. — Ты меня вынудил, ты!

Она кидается от него прочь и бежит по берегу вниз, путаясь в длинных юбках, в высокой мокрой траве, потом нетерпеливо подхватывает подол, чтобы не мешал, и бежит дальше. Несколько раз она поскользнулась, нога то и дело попадает в мышиные и змеиные норы, она падает, растягиваясь в глине во весь рост. Но каждый раз поднимается и, неудержимо плача, снова бежит, грудь у нее разрывается, и наконец она вынуждена остановиться. В грязной воде нет и следов их вола; даже когда она огибает широкую излучину и река открывается перед ней мили на полторы вперед, она не может найти ни намека, ни признака. *До самого моря…* Все их вещи, все ее вещи! Кастрюли, сковородки, ножи, остаток продуктов, одеяла, ее платья, все до единого…

Она стоит, неотрывно глядя на воду, покорившись ее злым чарам. Прыгнуть сейчас в этот угрюмый омут и исчезнуть, и не надо больше бороться с миром, который ополчился против нее, не надо обороняться от Адама, не надо ни к чему стремиться, не надо ничего желать, не надо верить. Одно движенье — и конец всему, ее понесет в безбрежное море.

Но она не может сделать это движение. Мне страшно, страшно, я устала. Я больше ничего не

хочу… Она слышит его шаги, но не отводит от воды глаз. Она глядит на этот широкий поток, больше у нее ни на что не осталось сил.

— Не надо, — говорит он и берет ее за руку.

— Как ты догадался?

— Не огорчайтесь, мы дойдем.

Ее залитое слезами лицо скривилось от злобы.

— Дойдем?! Да как ты смеешь надо мной издеваться? — Она пытается вырвать у него руку. — Пусти!

— Сначала успокойтесь.

И вдруг она чувствует, что силы ее иссякли. Она бросается к нему, прижимается к его груди и, ничего больше на свете не помня, плачет, а он держит ее за плечи и, стиснув зубы, бормочет слова утешения.

Наконец она опомнилась, но еще с минуту стоит, уткнувшись лицом ему в грудь, потом, устыдившись, отворачивается и вытирает слезы.

— Идемте, — говорит он, — а то вон опять дождь собирается.

Еще два дня они прячутся в зарослях, в шалаше из веток, который с грехом пополам защищает их от проливного дождя. Ветер улегся, и они теперь не боятся, что на них упадет дерево. Кончается в конце концов и дождь, на небе выглядывает

солнце.

Он принес ей сочных кисло-сладких листьев колы и с удовольствием наблюдает, как успокаиваются ее измученные нервы, как охватывает ее блаженная легкость. А потом он приносит зайца — в силок ли попался зверек, утонул или, может, замерз? — и жарит его на костре, который поддерживает все время, бросая в него поленья можжевельника. Когда погода установилась, они связывают свое оставшееся имущество в два узла и идут с ними вверх по реке к броду, который он помнит по прошлым скитаниям. Там они мастерят небольшой плот, складывают свои вещи, она тоже усаживается на плот, и он медленно, осторожно переводит его через все еще высокую, бурную воду.

Она непременно хочет сначала найти вола, и целых два дня они разглядывают по пути следы отступившего наводнения. Им встречаются бесчисленные трупы животных — антилопы, зайцы, две обезьяны, даже леопард, — но ни вола, ни своих вещей они так и не обнаружили. И в конце концов она вынуждена смириться с неизбежностью и снова идет за Адамом прочь от реки, к его далекому, таинственному морю.

…Когда ты с плачем уткнулась мне в плечо, ты

искала утешения у меня, беглого раба и каторжника, или тебе было все равно, кто перед тобой, ты бросилась бы к любому встречному? Когда ты заснула на моей груди — ты и не знаешь, как долго я глядел на тебя, не смея шевельнуться, чтоб не спугнуть твой сон, — тебя просто сморили усталость и страх или ты доверилась сну, зная, что лежишь в моих объятиях? А что ты, в сущности, знаешь обо мне? Что сам-то я о себе знаю? Я полон сомнений, что же мне делать? Смиренно идти рядом с тобой к моему морю и потом отвести тебя к твоему народу — выполнить наш с тобой уговор, больше мне ничего не остается…

— У тебя была жена в Капстаде? — небрежно спрашивает она однажды.

— Рабам жениться не положено.

— Ну не жена, ну кто-то, какая-нибудь женщина, которую ты…

— Да, я иногда спал с женщинами, — безжалостно бросает он, глядя на нее в упор.

Ее лицо вспыхивает.

— Я не об этом, — смешавшись, говорит она, — ты меня не понял.

— Чего ж тут понимать?

Она долго молчит, потом собирается с духом и спрашивает, глядя себе под ноги:

— Ты что же, никогда никого не любил?

— Нет. — Они идут и идут в молчании, потом он продолжает: — Любил одну-единственную девушку, только очень недолго. Она была с Явы. А потом ее продали.

— Продали?

— Вы не знали, что рабов продают?

— Что ж, может быть, тебе повезло, — задумчиво произносит она.

Он ошеломленно молчит, потом с горечью спрашивает:

— Зачем вы надо мной смеетесь?

— Я не смеюсь, — печально говорит она. — Твоя любовь осталась для тебя незамутненной, такой, какой была вначале. Тебе не пришлось глядеть, как она хиреет и вырождается.

— А вам-то что об этом известно?

Но она его точно не слышит.

— Есть люди, которые любят друг друга только затем, чтоб мучить, — тихо произносит она.

— Смешно.

— Наверное, ты прав — смешно. А может быть, и нет. Трясясь в своем фургоне, я часто думала, что любовь по сути есть первый шаг к предательству, а потом и к убийству. Мы предаем и убиваем частицу себя или человека, которого любим. — И

добавляет еще тише, с неудержимой страстью: — Разве я не разрушила душу Ларсона точно так же, как он разрушил мою? Бедный Эрик Алексис!

— Наверно, вы его никогда не любили.

— Может быть. Но как узнать, любишь ты или нет? И как узнать заранее? Разве мы знаем себя до конца, разве смеем довериться другому? — Она на миг в ужасе закрывает глаза. — Отречься от своей воли, признать над собой чью-то власть, раствориться в другом без остатка, — вот это-то и есть самое страшное.

— Но если мы не растворимся…

— Тогда, наверное, нам нечего бояться. Но это значит, что мы заранее отказываемся от счастья.

Он глядит перед собой, не видя широко раскинувшегося вокруг них вельда, слегка всхолмленного, в зарослях кустов, с густыми купами деревьев. Нет, неправда, в этом зыбком горестном мире, где столько боли, предательства и злобы, человеку должно быть дано встретить другого и больше уже не расстаться, соединиться с ним не на миг, а навеки. Такое не всем выпадает, это редкое счастье, и ради него ты должен с радостью поставить на карту жизнь, сломать все преграды, вступить безоружным в ночь. Ты можешь и не рисковать, никто тебя не неволит. Но если вся

твоя жизнь была ожиданием этой встречи… Он смотрит на нее.

…«Да, да», ей хочется сказать «да». Позволь мне сказать «да». Но что-то внутри меня еще цепляется за последние крохи свободы, моя рана еще кровоточит, я все еще боюсь. Я не могу отказаться от себя, ведь я не знаю, кто ты…

Я жажду тебя. Я каждый миг душу свою страсть. Я хочу, чтобы ты был со мною, во мне. Но я не смею тебя позвать. Все мое существо зовет тебя, но именно поэтому я должна тебя оттолкнуть. Я не хочу всего лишь утолить бесплодный голод моей плоти, я хочу тебя. Но встретить тебя я еще не готова…

— У меня в Капстаде была подруга, — говорит она, пробираясь за ним сквозь чащобу, — удивительная красавица, пользовалась огромным успехом. Отец ее был купец, очень богатый. И вдруг в один прекрасный день выясняется, что она беременна. Это случилось два года назад. Сначала она ничего не хотела рассказывать родителям, но ее заставили. И тогда она призналась, что отец ее ребенка — раб одного из их соседей. — Она не глядит на него. — Ее выдали замуж за отцова приказчика. А негра сослали на остров Роббен, навечно.

— Зачем вы рассказали мне эту историю?

— Не знаю. Просто так, вспомнилось.

Заросли кончились, сейчас они выйдут на открытый простор. На опушке она останавливается, вскрикнув, и хватает его за руку.

— Смотри!

Но он уже увидел.

Вдали на пригорке стоит приземистый глинобитный домишко с почерневшей соломенной крышей, к стене привалилась толстая короткая труба, маленький загон обнесен каменным забором, вокруг лежат возделанные поля… здесь живут люди!

…Но людей нигде нет. Я ничего не понимаю. Адам считает, что, возможно, в округе появились кафры, они иногда доходят сюда, хотя обычно обитают в бассейне Фиш-Ривер. Если это так, жители скорее всего бежали. А может быть, просто ушли на другое пастбище и, вероятно, вернутся. Дом в запустении — в окнах ни одного стекла, земляной пол изрыт норами, но сделать его снова пригодным для жилья нетрудно. Домишко убогий и очень тесный, всего две комнаты. Наверное, здесь жили фермеры-бедняки. А может быть, его хозяевам просто ничего больше не было нужно.

Во дворе мы нашли старую помятую кастрю-

лю, которую Адаму удалось починить, и печной колосник. Поля в плачевном состоянии, густо заросли сорняками, но Адам разыскал несколько тыкв.

И вот мы пока живем здесь, хотя, боюсь, у нас очень мало надежды, что на ферме появятся люди. А если бы даже и появились, что нам от них толку? Разве такие нищие фермеры ездят когда-нибудь в Капстад? И кто знает, будут ли они так заботиться обо мне, как он? Но, может быть, они дадут мне одежду. В семье наверняка есть женщины.

Какой же странной жизнью мы здесь живем, как будто остановилось время. Оба мы рвемся к морю, оно теперь совсем близко. Но что-то держит нас здесь. Мы бесконечно медлим. Разговариваем друг с другом мало. Сплю я возле очага, где он вечером разводит огонь, хотя сейчас и не холодно. Он спит в другой комнате. Мы словно избегаем друг друга.

Сейчас я сижу здесь одна и пытаюсь хоть как-то убить время. Его нет, он ушел на охоту. Ушел рано утром. Уже почти пять часов, а он до сих пор не вернулся. Мне страшно, почти как в тот день, когда пропал Эрик Алексис. Не нужно вспоминать и думать, я сойду с ума. Хоть бы он вернулся

дотемна.

Днем я пошла прогуляться, совсем недалеко, спустилась в долину, и тут на моих глазах разыгралась ужасная сцена. Послышался шум, лай собак, я было подумала, что это возвращаются хозяева фермы, но тут из зарослей на другом конце вельда выскочила зебра и за ней свора диких собак. Они настигали ее, зебра заржала, как лошадь, взвилась на дыбы, раскидывая зверей копытами, пыталась лягать их задними ногами, но собак было слишком много. Зебра помчалась дальше. Наверно, собаки гнали ее уже давно, она была вся в мыле. Две собаки вцепились ей в круп и стали рвать, но она все бежала, и наконец все скрылись за холмом, и шум погони утих.

Нет, он обязательно вернется. А вдруг с ним что-то случилось? Меня бьет дрожь. Порой мне кажется, что он похож на загнанного зверя. Господи, хоть бы он вернулся. Скоро стемнеет. Какой долгий путь нам с тобой предстоит. О боже мой, боже…

Она стоит, теребя обтрепавшийся воротник платья. Нигде в доме она не нашла ни иголки, ни нитки, а ее собственные утонули вместе с волом. Придется завязать узлом истрепавшиеся концы, может быть, так воротник не будет рваться даль-

ше. На ней зеленое платье, в котором она когда-то хотела вернуться в Капстад, — теперь оно у нее единственное.

Она то и дело выбегает на крыльцо и смотрит в ту сторону, куда рано утром ушел Адам. А может быть, он больше не вернется. Последние дни он был такой молчаливый, угрюмый, казалось, он задыхается в четырех стенах. Почему же она колеблется? Ведь знает же она, знает; он остался здесь только ради нее, а она не хочет от него никаких уступок. И все-таки она не может решиться, не может сказать ему окончательно и твердо: «Хватит сидеть здесь, идем дальше».

Ведь эти их дни в убогом глинобитном домишке под соломенной крышей — рубеж той жизни, которой они жили до сих пор. Если хозяева фермы вернутся — а он уверен, что они вернутся, иначе не оставили бы все в таком порядке, — она с ним здесь расстанется. Окончится их трудный путь пешком, она освободится наконец от дум, от постоянной настороженности, перестанет бояться — не его, а себя.

Она глядит с крыльца на бледное солнце, повисшее над самой верхушкой холма. Вдали пролетает стая воронов, она слышит их зловещий, словно бы предсмертный крик, в зарослях

поет горлица, раздается нежная звонкая трель, точно капли воды падают. Зверей и животных не видно, наверное, их распугали появившиеся на ферме люди. Этот крошечный клочок земли в диком девственном краю приобщается к цивилизации.

Ее охватывает нестерпимая тоска. Затерявшийся среди бесконечных долин и холмов крошечный домишко под соломенной крышей, голые стены, глиняный пол, очаг. И она на пороге, на границе между двумя мирами. Повернуться и войти в дом, но зов большого мира сразу же становится неодолим. Спуститься вниз, во двор, но ее мгновенно охватывает желание вернуться под защиту стен. Дикий край, который раскинулся вокруг клочка возделанной земли и жилища, страшит ее сейчас куда больше, чем прежде, когда она жила в этом краю без крова, как звери и птицы, когда у нее не было ни дома, ни фургона, чтобы укрыться, спрятаться, лишь бесполезная ограда из ветвей ночью.

Если Адам не вернется, она не останется здесь. Уж лучше уйти одной в лес и бродить там, пока она не умрет от жажды и голода или ее не растерзают звери.

Неужели эту судьбу он ей готовил, когда подхо-

дил к ее фургону в тот вечер? Ограбить ее, отнять все, что у нее осталось, и потом бросить? «Посмотрим, как вы отсюда выберетесь, вы заслужили наказание, вот как я отомстил за себя вашему Капстаду!»

Нет, нет, неправда, зачем же он тогда заботился о ней, разжигал костер и приносил еду и воду, зачем охранял ее от диких зверей, а ночью, под ветром, в дождь, согревал теплом своего тела?

Она обводит взглядом неприветливый пейзаж — бескрайние просторы, где одиноко гуляет ветер. Над головой плывут облака, красные от закатного солнца. Но плывут они так медленно, что движения их почти не уловить, и кажется, что облака стоят на месте, а земля тихо скользит мимо них, несомая ветром.

Эта мысль приводит ее в ужас. Она возвращается в темный дом и садится у очага на полено. Огонь, который она недавно развела, горит ярко и весело. Прислонившись головой к стенке очага, она пытается представить себе, каков был этот дом, когда в нем жили люди, — люди, каких они с Ларсоном не раз встречали во время своего путешествия. На крыльце сидят мужчины в куртках из звериных шкур и широкополых шляпах и пьют чай или готтентотское пиво, сваренное

из меда и дурманных кореньев; толстые, расплывшиеся женщины возятся в доме; у никогда не гаснущего очага дремлет старуха, на полу копошатся чумазые голозадые дети в грязных рубашонках. Куры клюют в кухне рассыпанные на полу зерна маиса или высиживают цыплят в углу под грубо сколоченной лавкой из досок атласного дерева. Неподалеку от дома худой, запущенный раб пасет двух-трех коров, тут же ходят овцы, потряхивая курдюками, блеют козы. На маисовом и пшеничном полях и в чахлом выжженном винограднике — тучи птиц.

Обед, рабыни тащат к столу лавки без спинок, несколько колченогих стульев («Эх, починить бы надо эту ножку, еще зимой сломалась, хозяюшка села, она и подломилась, а хозяйка у нас до сих пор хромает, да еще водянка у бедняжки, вон как ее разнесло»), семья рассаживается строго по старшинству, хозяин положил локти на голый дощатый стол, во рту у него трубка, на голове шляпа, возле левой руки кружка с чаем. На столе маисовая каша с тыквой, батат, накрошенный в молоко хлеб из неразмолотых зерен, иногда кусок вяленой оленины. Трапеза проходит в молчании. Ты не захватила вилку и нож? Не важно, ешь руками. Из бочонка, который принесли специально

в честь гостей, радушные хозяева нацеживают мужчинам по рюмочке бренди из виноградного жмыха. Никому не приходит в голову предложить немного даме.

Наступает вечер, и старая служанка-рабыня наливает в лохань воду, с трудом стаскивает с хозяина грубые сапоги и моет ему ноги сваренным из жира домашним мылом, а помыв, вытирает рваной тряпкой; потом в той же воде моют ноги жена и дети, потом наступает черед гостей — «Нет, нет, спасибо, я не буду». Ужинают, потом читают Библию. После долгой молитвы, пока рабы убирают со стола и моют посуду, женщины собираются в уголке у очага — Элизабет тоже садится с ними — и тихонько шепчутся о женских хворях, рассказывают, кто как лечит круп у детей, кто как печет пирог из сладкой тыквы, как делает бренди из листьев баку, жалуются на нерадивость слуг. Мужчины остаются у стола, пьют вино и курят трубку, беседуют зычными голосами о коровах и овцах, о гусеницах и саранче, кто-то рассказывает, как затоптал бушмена конем, другой — как бил готтентота ногой в пах, толкуют Апокалипсис.

Наконец отходят ко сну. Рабы устраиваются в кухне, семья ложится в спальне — в тесноте, да

не в обиде, у супругов кровать с медной спинкой, дети на тюфяках на полу; гостей приглашают расположиться там же. Вы предпочитаете ночевать в фургоне? Как вам будет угодно. Чувствуйте себя как дома, здесь все к вашим услугам, не стесняйтесь… Ах, тут ваша супруга, виноват, доброй вам ночи.

Люди моего племени…

Элизабет снова встает, ей делается невыносимо душно, скорей на крыльцо. Адама все еще нет. Солнце село, птицы сонно перекликаются, устраиваясь на ночлег. Мир стал огромным, раздвинулся вширь и вглубь.

Он больше никогда не вернется.

Что ж, может быть, так и лучше. Почему я должна без сопротивления идти к тебе в неволю? Это унизительно. Ведь я порвала свои путы, я освободилась от всего, что меня сковывало, от Капстада и от Эрика Алексиса Ларсона, от людей моего племени, от моего ребенка, освободилась от прошлого и от будущего. Я не имею права снова себя закабалять — ведь именно кабала меня и ждет. Ты думала, бывает иначе? Думала, человеку дано встретить другого и никогда уже с ним не расстаться? Ты забыла: мы всего лишь люди, и никуда нам не деться от нашего страха,

душевного убожества, вероломства. Вот и ты покинул меня, видишь?

Надо вернуться в дом, но она не может. Подступающий сумрак гнетет, тяжкие запахи людей, когда-то живших в доме, вызывают у нее тошноту. Она в отчаянии поднимает взгляд.

И видит вдалеке его, он идет между деревьями с тушей антилопы за плечами.

Ей хочется зарыдать, но она смеется и, подхватив чуть не до колен юбки, бросается ему навстречу.

— Адам! — кричит она. — Адам, Адам!

— Что такое? — спрашивает он, когда она запыхавшись подбегает к нему.

— Я так переволновалась, — говорит она, тяжело дыша; теперь ей уже стыдно своих страхов.

— Что-нибудь случилось?

Она качает головой, и косы падают ей на плечи.

— Нет, я просто… тебя так долго не было… я думала…

— Боялись, что я не вернусь? Думали, что же теперь будет с вами? — Она слышит в его голосе суровый укор.

— Нет, нет, — говорит она, — о себе я совсем не думала. Я боялась… — Ее голос пресекается.

Она не смеет произнести слова признания, но их уже не удержать. — Боялась за тебя. Вдруг с тобой что-то случилось? Вдруг ты упал, разбился?

— Да нет, я цел и невредим. — Он снова трогается в путь и шагает рядом с ней. Почти стемнело. Вот наконец и двор фермы. У крыльца он сбрасывает антилопу на землю. Плечи его в крови.

— Далеко мне пришлось за ней ходить.

— Ты вернулся, это главное.

Он опускается на корточки, достает из-за пояса нож и начинает свежевать тушу.

Элизабет несколько минут наблюдает, потом уходит в дом и приносит в котле, который он починил, теплую воду.

— Хочешь помыться? — предлагает она.

— Какой сегодня был долгий день, — неожиданно говорит он.

— Я думала, он никогда не кончится. Ты, наверно, ужасно устал.

— Ничего. — Он поднимается и, стоя перед ней, в упор глядит ей в глаза. Она по-прежнему держит в руках котел с водой. — Это все от мыслей, я много сегодня передумал, — говорит он.

— О чем же ты думал?

— Когда я утром уходил, я решил не возвращаться. Я хотел уйти совсем.

— Знаю. — Она старается прочесть в темноте выражение его лица. — Почему же ты все-таки вернулся?

— Это вы меня вернули.

— Нет, больше здесь нельзя оставаться, — со страстным убеждением произносит она. — Завтра утром мы идем дальше, к морю. Здесь нам не будет добра.

— Ну что ж, если вы действительно решились.

— Решилась, — говорит она тихо и твердо. — Я тоже целый день думала.

Она ставит котел на землю. Какой-то миг еще колеблется. Он ждет. Она срывает кружевной волан с рукава своего единственного платья, мочит кружево в теплой воде и принимается мыть его испачканные кровью плечи. Он стоит неподвижно, покорившись движениям ее рук.

Все вокруг затихло, даже птицы угомонились на своих деревьях. Темно, только в доме краснова-то светится слабый дотлевающий огонь в очаге.

Она кончила его мыть и, бросив комок кружева в воду, тихо поднимает к нему глаза.

— Сними свое платье, — произносит он.

Она глубоко, с облегчением вздыхает, в ней больше нет страха, в душе удивительная ясность — она не покорилась, нет, она просто приняла

свою судьбу.

— Адам… — шепчет она.

Ей хочется спросить: «Кто ты?»

Но в ночь надо вступать смело и не задавать никаких вопросов. Не нужно думать о том, что тебя ждет, нужно верить.

— Приди ко мне обнаженной, — раздается в темноте его голос.

Мир без конца и без начала. За вересковыми пустошами холмистого вельда, за густыми зарослями эрики и протеи начинается девственный лес: покрытые плющом и длинным седым мохом, перевитые лианами буки и бамбук, африканский орех, капский каштан, подокарпусы, могучие древние атласные деревья, которые живут уже не одно тысячелетие. Широкий вельд прорезан множеством оврагов, по дну их текут речки с большими тихими заводями и пенными порогами, овраги такие глубокие и узкие и склоны их покрыты такой густой растительностью, что солнце никогда не пробивается вглубь.

Овраги идут до самого моря, где материк резко обрывается. Можно выйти к морю и поверху, и тогда вы неожиданно окажетесь на краю обрыва и увидите под собой темно-красные стены в узорах желтых и зеленых лишайников, причуд-

ливо иссеченные ветрами и дождем, с темными зевами пещер, а еще ниже — первозданный хаос валунов и торчащих из земли корней, узкую полоску пляжа, мелкую гальку, песок.

Вы слышите могучий рев волн, разбивающихся о скалы, плеск и журчанье воды меж камней и в подземных гротах, слышите лай бабуинов на вершине обрыва среди деревьев, грозный клич морского орла, крики чаек.

Вы видите море в его изначальной простоте, волна бежит за волной, оно то поднимается в приливе, то опадает, как ровно дышащая грудь. Плавно клонятся под ветром макушки деревьев. По мокрому песку к воде зигзагами бегут испуганные крабы, по камням скачут зайцы, в небе парят несомые ветром чайки.

Они идут по белому пляжу возле своей пещеры, у самой кромки воды, там, где лопается с шипеньем пена, оба обнаженные. Давно ненужное ей, лежит в их пещере свернутое в узел зеленое платье. Тело ее в щедрых лучах предосеннего солнца кажется совсем коричневым, и все-таки она светлее, чем он; ее каштановые волосы распущены по плечам, на маленькой бронзовой груди темнеют плоские нежные соски. Она вдруг вбегает в мелкую воду и брызжет на Адама, он кидается

к ней, она ускользает. Он устремляется за ней в погоню. Она бежит прочь, ее длинные ноги так и мелькают, но наконец он все-таки ее догнал, схватил за талию и повернул к себе, они падают в песок, барахтаются, смеясь, стараются вырваться, катаются, пока их не накрыла небольшая волна, тогда они испуганно вскакивают и смеются до слез — дети.

— Пить хочется, — говорит она, еще не отдышавшись от борьбы, и откидывает с глаз мокрые соленые волосы.

— Пойдем к заводи, хочешь?

Заводь лежит за грядой скал, отгораживающих маленькую бухту от моря, вверх по реке, за широким бурным устьем. Вокруг заводи валуны, заросли папоротников, саговника, мох; если притаиться, можно увидеть, как в зелени мелькнет красно-зеленый попугай.

Вода в заводи холодная, но все же теплее, чем в море. Элизабет ложится на камень и пьет, потом поворачивается на спину и глядит на Адама.

— Ты весь в песке.

Она старательно и нежно смывает с него песок — застенчивый ритуал любви. Потом он смывает соль и песок с ее прекрасного, не стыдящегося своей наготы тела.

Он протягивает ей руку, чтобы помочь перебраться через камни, и вдруг видит, что мимо них, быстро и бесшумно, прямо по ее ступне ползет змея, блестящая, ярко-зеленая. Повинуясь инстинкту, он мгновенно отталкивает Элизабет в сторону, она еще не успела выпрямиться, а он уже занес над змеей камень, миг — и широкая, плоская головка разбита, расплющена, течет кровь, в последний раз мелькает раздвоенное жало. Они зачарованно глядят на гибкое зеленое тело, оно свивается в кольца и корчится на земле, но вот от головы до хвоста волной прокатывается долгая последняя судорога, и тело затихает, ярко-зеленая чешуя на глазах тускнеет.

— Зачем ты ее убил? — говорит она. — Такую красавицу.

— А если бы она тебя укусила?

— Она ползла в заросли.

— Змея есть змея.

Притихшие, они перебираются через гряду валунов и возвращаются на свой пляж. У полосы песка она останавливается и говорит, показывая на что-то рукой:

— Смотри.

— Что там?

— Наши следы, неужели не видишь?

Он обводит глазами пляж.

— Где? Никаких следов нет.

— Вот именно: никаких следов нет. — Пока они ходили к заводи, ветер переменился, и волны смыли, стерли с песка их следы. — Будто нас никогда здесь и не было.

— Что ж, может, и в самом деле не было, — шутливо поддразнивает он.

— Порой мне кажется, что ты мне снишься, — говорит она, не поддаваясь его шутливому тону. — И что сама я себе снюсь. Все так невероятно, так прекрасно, — неужели мы наяву?

— Идем, — зовет он. — Мне пора ставить сети.

Сплетенные из лиан и стеблей ротанга и связанные гибким тростником сети сушатся на песке.

— А я пойду соберу фруктов.

— Опять нарвешь ядовитых яблок?

— Не нарву, — виновато говорит она, — сегодня я буду внимательнее.

Она идет от него по песку, обнаженная, бронзовая, а он стоит и смотрит ей вслед.

— Дикарка! — негромко кричит он.

Она услыхала и, смеясь, хватает пригоршню песку, кидает в него и бежит прочь. Он идет по мелководью к гряде скал, верхушки которых даже во время прилива торчат над водой, точ-

но зубчатый забор, окружающий несколько прелестных водоемов и в середине крошечный овальный островок мельчайшего белого песка. Но надо спешить, вода прибывает, и если она поднимется совсем высоко, ему придется ждать на островке отлива.

Вернувшись час спустя с плодами в корзинке, которую он сплел из прутьев и лозин, она видит, что он спит на берегу, освещенный вечерним солнцем, спит так тихо, что сначала она в испуге вздрагивает: случилась беда! Но, подойдя ближе, она замечает, что грудь его дышит ровно, вот он шевельнул ногами…

Она ставит корзину на песок и опускается возле него — на колени. Он лежит на боку у самой полоски прибоя, в разжавшихся пальцах руки раковина.

Сокровенная страна счастья. Все просто и непостижимо в своей простоте. Все перед тобой, все доступно, возможно…

Он спит, положив голову на согнутую руку. На щеке и на бровях — песчинки. Она склоняется к нему их сдуть и вдруг слышит его дыхание — это такая же тайна, как морской прибой. Его плечи, едва заметные соски… Он слегка шевельнулся, почувствовав ее прикосновение, но дышит все

так же ровно. Гладкий живот, густые волосы внизу. Под ее рукой возникает чудесная жизнь, она растет, набирает силу, неистовая и нежная.

— Обманщик, ты не спишь!

— Нет, сплю. Мне снится сон.

— Я принесла всяких фруктов. Ужасно хочу есть.

— А я хочу тебя.

— Так иди же ко мне.

...Вот как все могло быть. Наверное, так и было. Но ведь самое естественное и несомненное для нас труднее всего, думала она. Ходить обнаженной, хотя всю жизнь она не смела показать людям ногу выше ступни. Презреть запреты, которые окружали ее с колыбели, забыть все, чему ее учили, среди чего она жила, отбросить прошлое, точно изношенное тряпье.

Броситься в темноте в объятья мужчины, утолить нестерпимый голод своей плоти, дать своей страсти насытиться, — даже это было немыслимо раньше, когда она жила рядом с мужем в привычной, незамутненной обыденности. Отдавать все без остатка и брать, не ведая стыда и сомнений, легко, как срываешь с дерева спелый плод. Ощущать тело любимого не в тайных судорогах и спазмах, не ночью, в чисто прибранной спальне,

не под крышей фургона, но в безгрешной наготе любви, каждый миг видеть его в ярком свете, чувствовать возле своего тела, знать, что оно никуда не исчезнет. Смотри, какая я белая. А ты почти черный. Черный, как раб. Но рабы живут, не задевая нашей жизни, как кошки или собаки. А ты теперь больше не раб, ты мужчина. Ты мой возлюбленный, мой муж. На твоей спине и боках отвратительные стигмы раба. Мои руки страшатся, не смеют к ним прикоснуться, я каждый раз закрываю глаза и стискиваю зубы. Лаская тебя, я словно касаюсь открытой раны. Неужто можно научиться любить даже шрамы? Вот я обвожу их один за другим кончиками пальцев, точно линии карты, — это ты, это огромная страна, и вся она принадлежит мне. Я содрогаюсь, из отвращения рождается страсть, а страсть рождает нежность, я растворяюсь в тебе.

Как же возможно такое чудо? Где, в каких тайниках нашей души сохраняются для него силы? И ей вспоминается: шелковица, она влезла на дерево и стоит среди веток, сочные, сладкие ягоды тают во рту, ее руки и ноги в пятнах тутового сока. Она думала, что она там одна, но он был тут же, внизу, наверное, он прокрался за нею тайком, она не видела его за листвой и не слыхала шагов

в ее шуме. И вдруг почувствовала его руку на своем красном от тутового сока колене…

Сначала она стыдливо пыталась прикрыться, невольно отворачивалась, но Адам смеялся над ней, это он отобрал у нее зеленое платье и, смеясь над ее яростью и мольбами, спрятал в пещере. И постепенно она начала обретать свободу, уверенность, даже стала бравировать. Замирая от волнения и страха, точно ребенок, который делает что-то запретное, принялась она исследовать себя, его, ошеломляющий новый мир, в котором она очутилась. И все-таки она каждую минуту ожидала окрика: «Ты позабыла стыд, как ты смеешь?» Трудно было поверить, что с нее спали все запреты. «Наверное, я глупая и смешная, — думала она, — но прости меня. Будь со мной терпелив, я очень стараюсь. И я уже многому научилась, правда? Я больше не стыжусь, видишь? Обещай не терять терпения. Порой ты так необуздан. И так похож на ребенка, ты еще более застенчив, чем я, еще более неловок: как пленительна твоя неловкость. Я люблю тебя, иного объяснения у меня нет. Я люблю, люблю».

Мне кажется, мы живем здесь всю жизнь, от ветра нас защищает пещера, расположенная высоко над морем, стены внутри нее черные,

закопченные — не вчерашним костром, а кострами, которые жгли здесь много веков назад, может быть, даже много тысячелетий. Кое-где из-под слоя копоти проглядывает краска — бурокоричневая, желтая, серо-белая, красная. И если приглядеться, то при свете горящей лучины можно различить забавных человечков с луками и стрелами, бизонов, страусов, слонов с поднятым хоботом, бегущих оленей. Это наш дом. Отсюда мы отправляемся в путешествие по влажным мшистым тропам, по мелкой гальке, не оставляя следов: мы идем в глубь невозможного. Если бы так было всегда…

Выйти на рассвете из пещеры, встать на широком краю утеса и, глядя на раскинувшийся вокруг мир — просторный и бледный, в звонком щебете просыпающихся птиц, в хриплых криках первых чаек, с дымкой над морем, но ясный, прозрачный, — и вдруг с изумлением понять: вот она, я, вот он, мир. И потом, наблюдая за медленным движением волн, почувствовать, как и сама я двигаюсь в этом мире, в этом пространстве, но мы не касаемся друг друга, каждый остается собой.

— Идем. — Он берет ее за руку.

Дрожа от ранней утренней свежести, они бегут по крутому склону, чтобы согреться. Внизу огля-

дываются: скалы горят в первых лучах солнца, будто светятся изнутри. Он ведет ее через валуны, возле которых кончается их пляж, потом вверх по ущелью, приведшему их когда-то сюда, к морю. В руках у него пистолет с длинным дулом и богатой резной рукояткой и мешочек с порохом, она несет силки, которые помогала ему мастерить, сидя с ним вечерами у костра. С тех пор, как утонуло их ружье, они почти не ели мяса, вот и пришлось сделать силки. А к зиме им понадобятся и шкуры.

Он очень долго трудился над ассагаем[15]. Из куска кварца, который они нашли у себя в пещере, он вырезал наконечник, искусно и терпеливо откалывая от него по мельчайшей крупинке, заточил до остроты бритвы, привязал к легкому прямому древку влажными жилами и оставил на несколько дней сохнуть. Теперь они прорубают себе ассагаем путь среди сплошной стены зарослей, отделяющей их от леса. Она идет следом за ним, продираясь сквозь чащу бамбука, который сразу же плотно смыкается у них за спиной, слегка вскрикивает, когда вырвавшийся из рук жесткий молодой побег хлещет ее по плечам или

---

[15] Примечания: 15
Ассагай — копье.

по лицу, оставляя на коже красный рубец. Низкий колючий кустарник царапает ноги. Только ступням хорошо, их защищают грубые бесформенные башмаки, которые Адам сшил ей и себе из звериных шкур. Время от времени он останавливается, рвет ягоды и плоды и проверяет, хорошо ли она запомнила, какие из них съедобны, какие ядовиты, какие просто горькие.

Последняя преграда — заросли финбо, они их легко одолевают и вдруг оказываются словно в другом мире — в лесу. Здесь нет солнца, нет густого подлеска, высятся могучие неохватные стволы вековых деревьев, под ногами толстый слой листьев, гниющей коры и веток, папоротники, мох. Тишина полная, неправдоподобная. Когда они останавливаются и замирает шелест шагов, тишина кажется еще более торжественной, стройной, в ней тонет и гаснет пенье птиц, возня обезьян на деревьях, тонкий свист самочки-антилопы, треск веток под ногами газели, мелькнувшей мимо них пятнистым рыжим телом и белым хвостиком.

Элизабет поражает, до чего здесь светло. Ведь солнце не пробивается сквозь кроны, казалось бы, внизу должен стоять полумрак, а вместо него такая ясность, прозрачность, точно от листвы

исходит сияние, точно деревья и земля сотворены из света.

Адам чутьем находит одну из бесчисленных оленьих троп, вдоль и поперек пересекающих лес, и тропа выводит их к заросшему папоротником ручью среди кленов. Здесь он расставляет ярдах в ста друг от друга шесть или семь силков, которые они принесли с собой, и маскирует их листьями и кусками коры.

— Лес такой большой, почему ты решил, что антилопы придут именно сюда? — недоверчиво спрашивает она.

— А ты посмотри, сколько следов. Они сюда приходят на водопой, это же ясно, — говорит он. — Вот завтра вернемся, и увидишь.

— Как, мы уже уходим? — спрашивает она разочарованно.

— А что нам тут делать?

Рядом раздается крик попугая. Всюду яркие пятна грибов — красные, белые, желтые, на тонких стебельках спускаются со стволов деревьев орхидеи. Земля источает нежный сладковатый запах гнили, сырости, тления. Летают большие пестрые бабочки, садятся на цветы. В листве что-то шуршит. Тишина говорит с ними бесчисленным множеством своих голосов.

— Какой покой, — говорит она. — Я хочу побыть здесь еще немного. Давай пройдем дальше?

И он ведет ее дальше По вьющейся тропинке, среди зеленого свечения леса. Она уже не замечает времени.

Один раз он останавливается и, сжав ей руку, шепчет:

— Слоны…

— Откуда ты знаешь?

И он терпеливо ей объясняет, показывает: вот к толстому бурому стволу прилипли листья, из сломанного корня сочится сок, валяется сорванная ветка, вот мокрые, изжеванные листья, примятый папоротник, свежий помет. Потом предостерегающе подносит к губам палец.

— Они совсем рядом. Наступай прямо в следы. — И он показывает ей следы, которых она даже не заметила: большие круглые вмятины в земле, если в них ступать, под ногой не треснет сучок, не зашуршат опавшие листья.

Она все еще сомневается. Но вдруг он хватает ее за руку.

Она замирает на месте, глядит вперед, но, ничего не увидев, качает головой.

С громким треском ломается ветка — будто рядом выстрелили из винтовки. Это так неожи-

данно, что она едва удерживает крик. Слон вскидывает хобот, и перед ней мгновенно вырисовывается гигантская серая туша, которая стоит неподвижно среди деревьев.

— Он один?

— Нет. Вон еще, смотри.

Шевельнулось ухо, на фоне зелени белеет длинный острый бивень. Теперь и Элизабет видит рядом со слонихой слона. Потом третьего, четвертого и наконец все пасущееся среди деревьев стадо.

Он длинным кружным путем ведет ее мимо животных дальше, в глубь леса. Она говорит, что устала, и тогда он находит озерцо с красновато-бурой водой в зарослях папоротников, где можно освежиться и поплавать. Он приносит плоды, которых она никогда не пробовала, и, наевшись, они ложатся отдохнуть и сразу засыпают.

Когда он наконец ее разбудил, она сразу замечает, что освещение в лесу переменилось. Видно, пока они спали, в мире что-то произошло. Зелень листвы стала мрачной, ядовитой, сияние исчезло, стволы огромных деревьев погасли и зловещими немыми громадами надвигаются на них из сумерек. Она несколько раз оглядывается в страхе, но никого не видать, то, что ее тревожит,

ускользает, таится.

Она уже потеряла надежду, что они когда-нибудь выберутся из этого темного лабиринта, как вдруг к великому ее изумлению перед ними оказывается ручей, возле которого они были утром. В один из силков попалась газель, она висит в нелепой позе, зацепившись шеей и задней ногой, трудно себе представить, почему петля так странно ее зажала, и она уже давно мертва, черно-лиловый язык вывалился изо рта, глаза выпучены.

Элизабет в ужасе спешит отвернуться, а он вынимает газель из петли, разрезает ей брюхо и выпускает кишки, потом взваливает тушу себе на плечи. Густая липкая кровь бежит струйками по его груди, животу, собирается внизу в волосах.

Они молча идут по сумеречному лесу и наконец выходят на узкую тропу, которую прорубили в колючих кустах. Здесь гораздо светлее, облака над головой мирные, безмятежные.

Но она еще не рассталась с лесом. «Какая тишина, покой, — думает она, — но совсем близко, в темноте, затаились звери».

У себя дома, в пещере, она отказывается есть поджаренное им мясо.

…Как поглощенно, с каким изумлением рас-

сматриваешь ты свое тело, будто не веришь, что оно принадлежит тебе. Ты каждый раз останавливаешься на пороге пещеры, чтобы тебя обдало ветром. Вот ты закрыла глаза и подставила лицо соленым брызгам. Ты любишь сидеть возле самого костра, чтобы тебя окутывал дым. Любишь бродить во время отлива по мелким лагунам среди камней; встав на колени, ты часами следишь за игрой маленьких серебристых рыбешек, шевелишь в воде водоросли побегом молодого бамбука, а если я неожиданно подойду, ты виновато краснеешь.

Все вокруг полно тобой, все повторяет очертания твоего тела — дальние лагуны среди камней, пышное перо папоротника, раскрывшийся стручок фасоли, силуэт чайки в полете, барханчики на песке, дикие тыквы-горлянки, клонящееся под ветром дерево, брызги волн, морская пена.

Иногда ты вдруг умолкаешь посреди разговора и глядишь на море, вдаль. Ты в задумчивости собираешь раковины, такие маленькие, что их трудно разглядеть, чуть больше песчинки, но совершенной формы, круглые и вытянутые конусом, красные, зеленые, оранжевые; ты бережно приносишь их на ладони в пещеру и, любуясь, старательно раскладываешь, а потом забыва-

ешь о них. Ты до безумия любишь воду, любишь мыться, плескаться, плавать, ты точно впитываешь воду в себя и не можешь ею насытиться. Ты часто разговариваешь во сне, произносишь непонятные слова, — что они значат? — смеешься, всхлипываешь…

И еще: ты часто ускользаешь из пещеры или с пляжа и идешь одна за скалы, бродишь по дикому берегу, поднимаешься вверх по оврагам, даже захаживаешь в лес.

— Я тоже с тобой пойду.

— Нет, ты останься.

— Но что ты делаешь, когда бываешь одна?

— Что делаю? Ничего. — Ты удивилась моему вопросу. — Просто брожу. Смотрю, слушаю.

— Что же ты слушаешь?

— Что слушаю? Тишину, — смущенно отвечаешь ты.

И снова ты исчезла.

Почему ты так стремишься быть одна? Разве тебе плохо со мной? Или от меня-то ты и бежишь? Хочешь скрыть свои сомнения, тревогу? О чем ты думаешь вдали от меня? О Капстаде? О людях своего племени, о прежней жизни? Когда я начинаю тебя расспрашивать, ты лишь качаешь головой. Тебе все еще кажется, что я не пойму?

Когда я с тобой, в тебе, ты закрываешь глаза — почему? От счастья? Или потому, что ты хочешь меня отстранить?

Придя как-то утром к речке за скалами, они снова видят убитую змею: ее сверкающая зеленая чешуя покрылась слизью, все тело облепили огромные синие мухи. И запах — кому бы пришло в голову, что от змеи может исходить такое зловоние? Значит, у нее такая же плоть, как у человека и у зверя? Значит, мы ничем друг от друга не отличаемся?

— Ты должен научить меня всему, что умеешь сам.

И он ее терпеливо учит. Учит добывать огонь трением с помощью палочки и можжевеловой чурки, учит находить коренья и, смешивая с медом, делать хмельное пиво, учит шить из шкур бурдюки мехом внутрь, чтобы было в чем носить воду, показывает, какие ягоды съедобные и как отличить их от ядовитых, какими травами лечат лихорадку, как остановить кровь с помощью паутины. Объясняет, что, когда увидишь богомола, нужно замереть и не шелохнуться, иначе ты помешаешь ему молиться богу Тсуи-гоаб. Показывает, какие клубки надо есть, чтобы утолить жажду, как приготовить смесь для курения, что-

бы видеть сны с открытыми глазами и испытать глубокий покой. Как узнать по поведению птиц, что близко змея, где искать мед, по каким приметам предсказывать дождь… как находить путь по звездам…

Как нужно выделывать шкуры, чтобы кожа была мягкой? Как сшить из них кароссу? Дни пока стоят теплые, но ночами прохладно, и скоро нам понадобится одежда.

Научи меня, что должна делать женщина, когда она любит мужчину и хочет дать ему радость? Мне столькому предстоит научиться.

Научи меня ловить крабов, чтобы они не кусали клешнями за пальцы. Как ты плетешь сети? Где водятся омары и устрицы? Как ловить речных раков?

— И еще расскажи мне о море.

— Нельзя рассказать о море. Море надо почувствовать.

— Как же его почувствовать?

Он долго глядит на нее, размышляя. Потом слегка улыбается.

— Если хочешь, я тебя научу. Пойдем.

Он поднимает ее за руки и ведет на берег. Часа полтора назад начался прилив, вода медленно поднимается, но они шагают по мелководью

навстречу волнам. Вокруг их мокрых бронзовых ног плещется пена.

— Куда мы идем?

Он указывает на маленький скалистый островок в бухте, где он обычно ставит сети.

— Но ведь начался прилив, мы не успеем вернуться.

— Море должно тебя окружать, иначе его не почувствуешь.

Они карабкаются по скользкой черной скале вверх. Наверху несколько широких каменных уступов с лужицами воды в углублениях, они точно ступени спускаются к песчаной овальной площадке — ярда четыре в длину и около двух в ширину, песок там еще белее и мельче, чем на берегу. Над площадкой возвышается острый черный гребень.

Элизабет была здесь раньше только во время отлива и теперь с сомнением глядит в сторону берега.

— Как же мы будем возвращаться?

— Мы подождем, пока вода спадет.

— Но ведь это долго!

— Да, долго.

Когда о скалы разбивается особенно большая волна, их обдает мелкой водяной пылью.

— Не знаю… — нерешительно говорит она.

— Ты же сказала, что хочешь почувствовать море. — Он опускается на корточки возле маленького водоема в углублении скалы.

— Что же мы будем делать столько времени?

— Ничего.

Она неуверенно глядит в его спокойное бесстрастное лицо, глядит на полосу кипящей воды, которая отделяет их от берега. Волны поднимаются все выше.

— Ты в самом деле хочешь вернуться? Сейчас еще можно доплыть, — говорит он. — Но скоро будет опасно.

Она в смятении глядит на берег, который находится всего в сотне ярдов от них, на высокие красные скалы… Наверху лес, внизу валуны и белый песок, а где-то посередине, в отвесной стене, черное отверстие пещеры — их дом. Кричит морской орел.

— Нет, я останусь, с тобой, — обреченно говорит она и садится возле него на уступ.

На гладкой поверхности скалы мозаика из рачков и ракушек, некоторые совсем старые, их панцири и створки обломаны, выщерблены, но все равно достать сидящего внутри моллюска невозможно. По дну водоема ползают беззубки

и кальмары, оставляя на песке замысловатые узоры. Из своих тайных убежищ выплывают крошечные рыбки, мелькнут на солнце и снова исчезнут в тени. Вон алые морские звезды, пурпурные актинии лениво колышут бахромой. Крабы, ярко-зеленые водоросли, а в дальнем углу, в тени, медленно шевелятся красные с белым щупальца осьминога.

Они молча глядят в водоем, потом начинают играть с актиниями, пытаются ловить руками юрких серебряных рыбешек. Все как раньше. Нет, не совсем. Раньше они бывали здесь во время прилива и море рокотало гораздо глуше, волны так высоко не поднимались, так мощно не бурлили. Вдруг на голую спину Элизабет швырнуло клок пены, она с криком вскакивает.

— Испугалась? — улыбаясь спрашивает он.

— Еще бы! Вон как волны разыгрались.

Она невольно оборачивается назад, к берегу.

— Поздно, — тихо говорит он.

Она кивает — поздно.

Он встает с уступа скалы и подходит к ней.

— Тебе страшно?

— Да.

— Хорошо. Когда страшно, его легче почувствовать.

— Кого почувствовать?

— Кого? Море.

Они стоят друг возле друга и смотрят на поднявшееся к самой верхушке острова море, волны катятся прямо на них, вспухают и вдруг встают на дыбы, точно готовясь захлестнуть черную стену скал, и потом с грохотом несутся мимо, обдавая их сверкающей белой пеной. По всем желобкам и канавкам в камнях ручьями бежит вода.

— Нас не смоет, как ты думаешь?

— Нет, вряд ли.

— А вдруг?.. Адам!

— Все может быть. Меня ни разу не смывало, но ведь море есть море.

— Как, и ты посмел… ты посмел привести меня сюда?

— Но ведь я тоже с тобой пришел. Если ты погибнешь, погибну и я.

— Ты сошел с ума? — Она уже не владеет собой. — Ты хочешь, чтобы мы здесь утонули?

— Конечно, не хочу.

— Как же ты тогда допустил, чтобы я… чтобы мы…

— Ты сказала, что хочешь почувствовать море.

— Я же не знала, что это опасно!

— Как же его почувствуешь, если нет опасно-

сти?

— Давай вернемся!

— Поздно, я тебе уже говорил.

— А оно еще выше поднимется?

— Да.

— Намного?

— Посмотрим. Вода будет прибывать еще часполтора.

— Я не могу ждать так долго, я не выдержу!

— Придется ждать, ничего не поделаешь.

— Адам, я не хочу… — От волнения она даже заикается.

— Что за глупости, — спокойно говорит он.

Ее охватывает паника.

— Как ты смеешь? — кричит она и бьет кулаками по его худой мускулистой груди.

Он хватает ее за руки.

— Пусти! — кричит она.

— Сначала успокойся.

— Пусти меня, пусти!

Но он ее не выпускает, не позволяет вырваться. Ее душит бессильная ярость, еще миг — и она плюнет ему в лицо.

Их снова окатывает с головы до ног пеной. Она ловит ртом воздух.

— Боже мой, Адам!..

— Я здесь, с тобой, — все так же спокойно внушает ей он.

— Я не хочу умирать, — шепчет она, всхлипывая.

— Почему ты вздумала, что умрешь?

Она впивается в него взглядом, ища в его глазах надежду или хотя бы объяснение, пытаясь понять, что же происходит? Но его взгляд непреклонен.

— Чего ты от меня хочешь? — спрашивает она в отчаянии.

— Ложись.

Она опять рванулась было прочь, но он пригибает ее к земле, она сопротивляется и все-таки в конце концов теряет равновесие. Он поддерживает ее, не давая упасть, кладет на песок и крепко прижимает. Клокоча бешенством, лишенная сил, она сдается.

Он несколько минут сидит с ней рядом и пристально смотрит в лицо, все еще не отпуская ее плеч. Потом зовет:

— Элизабет…

Он так редко произносит ее имя, и сейчас она отозвалась на него всем нутром, своими тайными глубинами.

— Чего ты от меня хочешь, Адам?

— Слушай море, — говорит он. — Для этого мы сюда и пришли.

Она закрывает глаза, страх еще не отпустил ее. Она лежит на слое песка, который покрывает уходящие в землю скалы, и слышит море не только слухом, ей кажется, что глухой нескончаемый шум входит прямо в ее тело, пронизывает каждую клетку, и она уже не может различить, где голос моря и где она сама. Мощный рев волн совсем ее загипнотизировал, до ее сознания не доходит, что Адам лег рядом с ней и обнял. Она невольно сжимается, но он снова распластывает ее на земле. Ей больно, она кричит, не понимая, что происходит. Адам словно обезумел, нет, это не он, это кто-то чужой, незнакомый, она бьется, кричит, отталкивает его и вдруг с изумлением осознает, что она на самом деле не отталкивает его, а обнимает, и слышит свой ликующий вопль, похожий на крик чайки.

Гром ударов растет, на них летит через каменные зубцы пена, их заливает вода, но она больше не чувствует обжигающего холода, не ощущает даже страха. Она смирилась с тем, что утонет здесь. В их сплетенных телах отдается канонада смерти.

Лишь потом, долгое время спустя, когда она

медленно выплыла из беспредельности этой канонады и вернулась на песчаный островок, со всех сторон защищенный от моря, она слышит у своей щеки его шепот:

— Ну вот и все. Начался отлив.

— Адам…

Он приподнимается на локтях и смотрит на мокрые завитки у нее надо лбом.

— Я — Аоб, — говорит он. — Адамом меня назвали люди чужого племени. Запомнишь? Аоб.

— Кто дал тебе это имя?

— Моя мать.

— А что оно означает?

— Ничего. Просто имя. Мое имя.

Она лежит не шевелясь.

— Мы не умерли, — наконец произносит она словно бы с сожалением.

— Нет, мы живы.

— Аоб… — говорит она тихо, точно пробуя незнакомое слово на вкус. Но у нее уже не осталось воли, она больше не может противиться ни имени, ни ему самому, ни свету, ни шуму отступающего моря. Над ними летят чайки. Пусть летят. Что есть, то пусть и будет. Пусть ничто никогда не меняется, пусть ничто не проходит. Они погружаются в глубокий сон, каким никогда

еще не спали раньше. Просыпаются они, когда смирные маленькие волны тихонько плещутся у самого подножья скал, слезают вниз и молча возвращаются к себе на берег.

Вечером, сидя в пещере возле костра, они вдруг оба поднимают головы — и он, и она одновременно услышали, что море шумит не так, как раньше, в его шуме зазвучал гнев. Они подбегают к выходу из пещеры. Высоко в небе стоит полная луна, море блестит и переливается. Когда глаза их привыкают к лунному свету, они видят, что море вздулось и кипит и на них надвигается из залива высокий вал прибоя. Вот он докатился до скалистого островка, накрыл его черные зубцы и погреб под толщей темной сверкающей воды.

— Нет, это слишком опасно, — говорит он.

Их бухта осталась далеко позади. Они идут на запад, исследуя побережье; ландшафт становится все более диким, черно-красные скалы утесов гряда за грядой подступают к самой воде, вдали их вершины окутаны утренней дымкой. В одном месте массива, видимо, образовалась трещина, и отвесная стена утеса целиком обвалилась в каком-то доисторическом катаклизме, оставив на круглом склоне застывший водопад обломков и глыб.

— Там дальше есть ущелье, мы по нему и поднимемся, — предлагает он.

Но она решила влезть непременно здесь, у провала.

— Да ты посмотри, — убеждает она, — это же настоящая лестница. Пять минут — и мы наверху. Камни лежат очень прочно.

— Откуда ты знаешь?

— Я хочу подняться здесь.

Это, конечно, не довод, но звучит весомо. Она почти с радостью ощущает, что после долгой покорности в ней вновь ожило не открытое сопротивление, нет, но прежнее ее упрямство. Ты так хорошо знаешь это побережье, куда бы мы ни отправились, ты всегда идешь впереди и показываешь мне путь, ты учишь меня всему, что знаешь сам, но нельзя же совсем поработить меня. У меня тоже есть воля. Разве ты отказываешь мне в праве ее иметь? Я должна помериться с тобой силами. Я требую, чтобы мы поднялись здесь.

— Идем, — приказывает он.

— Нет. — И она карабкается на нижние глыбы обломков.

— Элизабет, вернись!

Но она с ликующей решимостью лезет дальше,

легко перепрыгивая с камня на камень. Вот она уже высоко, вот вскочила на огромный валун, нависший над обрывом, и, встав на краю, глядит на Адама, в первых лучах солнца ее светлое тело кажется красноватым на фоне серых скал. Опьяненная своим правом на наготу, все еще остро ее ощущая, она с вызовом глядит на Адама сверху вниз, ей нравится дразнить его, нравится своевольничать и не подчиняться.

Он лезет за ней, медленно и осторожно, к тому же в руках у него пистолет.

— Вернись! — кричит он.

— Ни за что! Поднимайся ко мне! Что может быть легче?

И она лезет выше, невольно вскрикивая, когда ступня соскальзывает в трещину и острый выступ царапает колено. Но ее уже не удержать. Она уверена, что он тоже поднимется следом, и когда она останавливается на минуту посмотреть и видит его далеко внизу, лицо ее разочарованно вытягивается.

— Адам! — зовет она.

Он машет ей рукой — вернись!

Она перепрыгивает на следующий валун. Спешить ей некуда, все равно придется ждать Адама наверху. Она настояла на своем, и теперь ей ясно,

что каприз ее был в общем-то смешон, но не возвращаться же с полдороги.

Теперь Элизабет совсем забыла об осторожности и скачет по камням, как коза. Вот она поскользнулась и, чтобы не упасть, схватилась за выступ, но от резкого движения из-под ног посыпались мелкие камни. Сначала кажется, что это пустяк, но вот камни стронули с места валун, валун летит вниз, прыгая по камням и разбрызгивая фонтаны осколков. И вдруг под нею прокатывается гул, стена утеса медленно содрогается до самого основания и прямо у нее на глазах, широко раскрытых от ужаса, все это нагромождение глыб и обломков ползет и оседает по склону. Она прижалась к выступу самого утеса, ей ничто не угрожает, но внизу все рушится, ползет, грохочет в нескончаемой лавине.

— Адам! — обезумев, кричит она. — Беги!

Но видит лишь красное облако пыли, потом лавина низвергается в море, и к небу дождем взлетают брызги и пена.

Он погиб. Она знает это твердо. Погиб страшно, нелепо, бессмысленно, из-за ее дикого упрямства, вздорного желания непременно настоять на своем. Что за бес не дает ей покоя? «Видно, вы жаждете свершения апокалипсических проро-

честв», — сказал Ларсон ей в тот далекий день в Капстаде. Что вынудило ее пойти наперекор родителям и стать женой человека, которого она почти не знала, который был для нее загадкой, что вынудило отправиться с ним в путешествие по пустыне? Какая злая сила заставила ее погнать вола в разлившуюся реку? И долго ли она будет поддаваться этому мороку? Сколько еще жизней погубит?

Сжав кулаки, закусив до крови губы, она в оцепенении глядит вниз. Пыль понемногу улеглась. Точно сомнамбула, начинает она спускаться с камня на камень, она знает, что сейчас это еще опаснее, чем раньше, но ей все равно, ей даже хочется, чтобы снова начался обвал и ее погребло под камнями. Ничего не видя, едва держась на ногах, вся избитая, исцарапанная, добирается она наконец до подножья красного утеса.

Он сидит далеко от сползшей лавины и пытается выправить согнувшееся дуло пистолета, лицо у него серое, застывшее, он лишь мельком взглядывает в ее сторону.

Ноги под ней подламываются. Она садится на землю и плачет.

Он сердито швыряет прочь бесполезный теперь пистолет и глядит на нее. Потом подходит,

кладет ей руки на плечи, крепко прижимает к себе и ждет, пока стихнут ее рыдания, пока он успокоится сам.

— Ничего, — наконец выдавливает он, и голос у него слегка дрожит, — обошлось. А были на волосок…

— Ты жив, — шепчет она.

— Жив. Я сразу увидел. И спрятался за выступ утеса. Только вон колени ободрал. — Он показывает ей свои окровавленные ноги. — Ну да ладно, это пустяки. А вот пистолету пришлось худо.

— Адам, я… — она в волнении умолкает.

— Не испытывай больше судьбу, — говорит он. — В другой раз может и не обойтись.

Как бы далеко мы ни ушли во время наших прогулок под никогда не стихающим ветром, мы неизменно возвращаемся в нашу пещеру, и она отделяет нас от остального мира, как полог. Здесь, в этом замкнутом пространстве, мы познаем, исследуем, мы постигаем друг друга, здесь я порой перестаю понимать, что со мной происходит, и даже не пытаюсь задавать вопросы — неизъяснимые мгновенья, когда я просто ощущаю, что живу на свете, что оба мы живы, и этого ощущения мне довольно, иной раз оно даже сверх моих сил. А потом я живу воспоминаньями и надеждой — и

то, и другое опасно. Я знаю тебя только таким, какой ты здесь. Если мы отсюда уйдем, я могу потерять свое знание. Ты видишь — я боюсь. И к тому же ночи становятся все холоднее…

Он сидит у входа в пещеру, вытянув ноги и прислонившись спиной к скале, и тихо курит свою тростниковую трубочку, в ней смесь дикого табака и трав. С интересом, даже слегка забавляясь, он смотрит, как она разделывает тушу антилопы, от усердия нахмурившись и даже высунув кончик языка. Ее руки по локоть в крови, но ей наконец-то удается целиком отделить от кости большую надсеченную в нескольких местах мышцу, почти не повредив синеватой пленки, и она с удовлетворением вздыхает.

— Ну как? — с гордостью спрашивает она, подходя к нему и опускаясь на колени, чтобы он как следует оценил ее труды.

— Отлично, — говорит он, беря в руки кусок мяса и поворачивая его во все стороны. — Только в следующий раз аккуратнее надрезай по хребту, вот здесь, где к кости подходит сухожилие.

— Постараюсь.

— Молодец, осваиваешь науку. — Он пристально глядит на нее и вдруг в неожиданном порыве берет ее за руки.

— Что ты, они у меня такие грязные.

Он целует ее.

— Ну и пусть. Что на свете здоровее крови? — Он разжимает ладони и глядит — на них кровь. Торжественно, почти без улыбки, кладет руки на ее обнаженные плечи. Она слегка вздрагивает, но продолжает храбро глядеть ему в глаза. Он медленно проводит руками по ее груди, и на светлой коже остаются кровавые полосы. Она закусывает губы, однако не противится. Он чувствует, как под его ладонями твердеют ее соски.

— Что ты делаешь? Зачем?

— Не знаю. Просто так.

Она пытливо всматривается ему в лицо, пытаясь понять его и все-таки не понимая.

Он вдруг улыбается и опускает руки.

— Ступай, заканчивай свою работу, — говорит он.

— Я так устала.

— Нет, бросать дело не годится.

Она нехотя встает с колен и берет у него полоску мяса.

— У нас в кухне рабы всегда… — Она виновато смолкает.

Он сощурившись глядит на нее, но не произносит ни слова.

Опустив голову, она возвращается к туше и снова берется за разделку.

— А нам действительно нужно так много? — спрашивает она немного погодя.

— Так много чего?

— Ты приносишь столько антилоп и зайцев.

— Нам нужны шкуры. Да и мясо зимой пригодится.

— Мы будем здесь зимовать?

— Не знаю, — небрежно бросает он. — Все зависит от погоды.

— Адам…

Он смотрит на нее, выдыхая струйку дыма.

— Аоб… — поправляется она.

— Что?

— Давай останемся здесь.

— Я же сказал тебе — все зависит от погоды.

— Нет, не просто на зиму. Давай останемся здесь навсегда. Зачем нам уходить отсюда?

— Разве ты не хочешь вернуться в Капстад?

— Раньше хотела. А сейчас не хочу. Капстад нам больше не нужен. — И добавляет с неожиданным жаром: — Я уже не могу туда вернуться, неужто ты не понимаешь? Теперь это просто невозможно.

Он глядит на нее пытливо и с волнением, но

ничего не отвечает.

Она говорит скороговоркой, чуть не захлебываясь:

— Мы здесь так счастливы, мы вместе, нам больше никто не нужен.

— Всегда ли ты будешь так думать?

— Да, пока ты со мной. Мы вполне можем здесь жить. Приведем пещеру в порядок, смастерим мебель. И пусть у нас будут дети. Ты научишь их всему, чему научил меня. Днем ты будешь ходить с сыновьями в лес, ставить в море сети, а я с дочерьми буду прибирать пещеру, плести корзины и циновки, шить кароссы. Может быть, нам удастся найти глину, тогда я попробую лепить посуду. Буду носить с дочерьми воду, ухаживать за тобой. А ночью будем рядышком спать вокруг костра. Будем петь, собирать вместе раковины, загорать, плавать, — перечисляет она в страстном увлечении. — Прошу тебя, останемся здесь! Другой жизни нам не надо. Уйти отсюда, вернуться в Капстад — какая нелепость! Сняв платье, мы расстались с прежней жизнью навсегда.

Он подходит к ней, улыбаясь своей странной, смутной улыбкой.

— Вдвоем, только ты и я, два дикаря в пустыне, да?

— Мы будем любить друг друга, я буду заботиться о тебе, а ты обо мне.

— Ну что ж, тогда мы действительно можем остаться здесь. И навсегда забудем, что, Капстад вообще существует на свете.

Как смутно он сейчас глядит на нее. Насмехается над ней? Дразнит? Или так же искренен, как она?

Кровь на ее груди запеклась и почернела, точно свежие раны начали затягиваться.

Змея почти высохла, ее кожа превратилась в тонкий прозрачный пергамент, местами он порван, и лоскутки треплет ветер. И сквозь тусклую зелень уже проступает узор позвонков.

На дворе ночь, непогода, ревет ветер, свирепствуют волны, а в пещере тихо, уютно. Они сидят у костра, над головой неслышно носятся летучие мыши, вокруг, на стенах, знакомые рисунки, в углу поленница дров, сушатся свежие шкуры, высушенные уже выделаны и сложены, тут же узел с вещами, которые они принесли с собой, ее зеленое платье, каросса — она сшила ее из шкур сухожилиями и тонкими полосками кожи, — ее коллекция раковин и крабов, рога антилопы, несколько снизок вяленого мяса, самодельная корзина с сушеными фруктами, его инструменты,

оружие. Их дом. И в свете костра они, он и она, рядом, вместе.

Она стряпает ужин — жарит рыбу и большие мясистые грибы, которые он принес из леса, он плетет корзину, чтобы ловить раков.

Он поднимает глаза от работы и тихо глядит на нее.

— Знаешь, чего я хочу? Сына. Он помогал бы мне ставить сети.

— Ни за что! Я не пущу детей в море. Ты их утопишь.

— Господь с тобой, я их сразу же научу плавать, как только ходить начнут, будут нырять не хуже тюленей. А когда мы состаримся, они будут ухаживать за нами.

— Хочу, чтобы сын был похож на тебя.

— Нет, сначала ты родишь мне дочь, — возражает он. — В точности такую, как ты. Она будет расти у меня на глазах, и я увижу, какой ты была раньше, когда я тебя не знал. Мне важно и дорого все, что касается тебя.

Они уже давно играют в эту игру — мечтают, строят планы, будто и сами верят, что все это сбудется. Но вдруг она глядит на него через пламя и спрашивает:

— Ты в самом деле думаешь, что у нас когда-ни-

будь будут дети?

— Конечно.

— Почему ты так уверен?

— Я — мужчина, ты — женщина.

— А та твоя девушка, рабыня, у нее был от тебя ребенок? — спрашивает она и лишь потом спохватывается.

— Откуда мне знать? — Он сразу замкнулся. — Я же тебе рассказывал: ее продали.

— Да, конечно, я просто забыла. Прости.

— Почему ты спросила?

— Если бы я только знала наверное, что у нас могут быть дети, насколько мне было бы легче!

— Да почему ж им не быть? Ты ведь была уже беременна.

— Была. Но ребенок погиб в моем чреве.

В первый раз за все время она решилась заговорить о своем ребенке, в первый раз призналась ему, что ничего не забыла.

— Я часто думаю, что с ним случилось? Что они с ним сделали?

— Не все ли равно?

— Нет, не все равно. Это был мой ребенок. А его из меня исторгли. Там, в вельде, похоронили частицу меня. И я иногда… — Она вздрагивает, точно в ознобе, нерешительно глядит на него. —

Сегодня ночью я видела сон.

— Какой же?

— Мне снилось, будто меня похоронили в дикобразьей норе. Потом пошел дождь, и я начала прорастать, как горох или семя пшеницы, я пробивалась сквозь землю, но ноги у меня не шевелились, это были не ноги, а корни, они ушли слишком глубоко. Я машу ветками, кричу, зову на помощь, но никто меня не слышит, потому что я дерево. И я одна на огромной равнине, а вокруг грифы.

Подтянув колени к подбородку, она кладет на них голову и, сжавшись в комочек, замирает.

— Это же только сон.

— Погиб мой ребенок. А что будет со мной?

— Зачем задавать столько вопросов?

— Неужели все наши страдания попусту? Не может быть, — в волнении говорит она. — Зачем мы страдаем? Ради чего? Какой смысл в страдании? Мы рождаемся на свет, живем, умираем, — и это все? Конец? Только-то и всего? — Она глядит на него в страхе. — А если мы здесь состаримся и… и что-то с нами случится, ведь никто потом не найдет наших следов. Никто даже знать не будет, что мы жили на свете.

— Зачем кому-то знать? Сейчас мы живы, не

все ли нам равно, что будет потом?

— Нет, я хочу знать, что будет потом!

— Как ты это узнаешь? И зачем тебе знать? Ты же сама говорила, что счастлива здесь.

— Ах, как ты не понимаешь! А если мы здесь умрем?

— Может быть, через много лет люди найдут наши скелеты, — произносит он.

На ладони у меня лежит раковина, маленькая, гладкая, сверху ярко-желтая, почти оранжевая, точно покрытая сгустившимся солнечным светом, по бокам желтый цвет бледнеет и переходит в кремово-белый, а внутри, за скругленным волнистым краем, переливается перламутр. Раковина овальная, похожая по форме на крошечную черепашку, но какая же она гладкая, какая плавная и округлая, как незаметно она вытягивается и как изящно суживается. Сверху она выпуклая, как шар, глянцевитая и твердая — замкнутый мир, куда никому нет доступа, но вот я ее переворачиваю, и мне открывается, как она уязвима: я вижу щель с завертывающимися внутрь блестящими зубцами и в глубине моллюск, голый, дрожащий, влажный, беззащитный. Господи, как давно я не видела своего отражения в зеркале!

А потом появились охотники. Слона они, судя

по всему, сначала ранили, потому что трава была примята на очень большом расстоянии, ветви и сучья поломаны, кроваво-красная земля взрыта, на листве деревьев и на перьях папоротников чернели пятна крови. Слон лежал на левом боку возле толстого ствола атласного дерева, точно перед тем, как упасть, прижался к нему, ища защиты. Лежал в луже крови, и вокруг был помет. Голова разбита, изуродована, на ней густо сидят мухи, хобот отрублен, бивни вырезаны. Видно, пытались отрезать и ногти, начали кромсать и почему-то бросили.

В лесу была тишина, только с щебетом порхали в листве птицы, гудели над лилово-красными орхидеями пчелы, возились среди веток пугливые обезьяны.

Наконец они решились выйти из зарослей и стали приближаться к слону против ветра.

— Что с ним случилось? — прошептала она. — Почему он так изуродован?

— Бивни вырезали, ты разве не видишь?

— Но кто же?.. — Она вдруг умолкла, не потому, что не хотела с ним спорить, а потому что вдруг испугалась ответа.

Нахмурив брови, он внимательно разглядывал деревья и землю.

— Давай вернемся? — предложила она чуть ли не с надеждой.

— Можно пойти по его следам туда, откуда он бежал, — предложил он. — Хочешь?

— А ты?

В лесу было светло, как в тот первый день, но напряженно, зловеще, доступность лесных тайн пугала. Они даже не отдавали себе отчета в том, чего же они ищут, и от этого было еще тревожнее. Что ждет их там, где кончатся кровавые следы? Еще одно зрелище смерти или, может быть, тишина? Они все дальше углублялись в лес, а он раскинулся далеко во все стороны, казалось, ему нет конца и края. Как человек узнает, что достиг самого сердца леса?

Через полмили они увидели еще одного убитого слона. Он лежал, запрудив задними ногами ручей, голова была тоже жестоко изуродована, бивни отпилены, из-под косматых ресниц тускло глядели маленькие злые глазки.

— Как ты думаешь, давно он лежит здесь? — шепотом спросила она.

— Дня два, три.

— Но кто же его убил?

— Так зверски убивают только охотники из Капстада. — Давно уже она не слышала в его

голосе такой горечи.

— Его могли убить и готтентоты! — возразила она, сама не понимая, что побуждает ее не соглашаться.

— Могли. Чтобы потом продать слоновую кость в Капстаде.

Она потупила голову, но через минуту снова подняла глаза.

— Не важно, кто его убил. Важно, что это были люди, — твердо сказала она. — И так близко от нас. А мы ничего и не слышали.

— Мы же внизу, у моря, нам не слыхать, что творится в лесу.

— Дня два, три... — задумчиво произнесла она. — Может быть, они уже ушли.

— Может быть.

— Что же нам делать?

Он посмотрел назад, туда, откуда они пришли, потом вперед, в зеленое сияние леса. На земле, полузасыпанные осенними листьями, там и сям чернели мертвые упавшие стволы, похожие на трупы.

— Можно пойти вперед и поискать их.

Ей хотелось крикнуть: «Да, пойдем вперед, в самую глубь, в чащу, проникнем в святая святых леса, в его таинственную сердцевину, пойдем на

поиски разгадки. Может быть, мы ее не отыщем, но мы хотя бы приблизимся, мы будем знать, что разгадка есть, что тайна постижима, доступна».

Но она не произнесла этих слов, она поднесла к груди руку, посмотрела на себя и спокойно сказала:

— Я не могу идти так, без одежды, — а вдруг там люди?

И они повернули обратно. Ее охватила странная грусть, она почти негодовала на себя. Вот-вот должно было случиться что-то очень важное, еще немного — и они открыли бы тайну, поняли ее, почувствовали, а они повернули обратно и ушли прочь. Но могла ли она поступить иначе?

На опушке они вдруг одновременно остановились. Где-то далеко, так далеко, что трудно определить направление, раздался сухой треск.

— Что это, выстрел? — спросила она.

— Наверное, просто сук обломился.

А может быть, кто-то стрелял в лесу.

Поглощенные своими мыслями, они прошли привычным путем через густые заросли, спустились вниз по ущелью, обойдя стороной обвалившиеся скалы, где на него когда-то катилась лавина, и едва успели домой до темноты.

Он сразу же пошел проверить сети. Был отлив.

Попалось несколько рыб, и он принес их домой.

Из пещеры валил дым, Элизабет уже разожгла костер. Но когда он вошел, самой ее возле костра не было. Она стояла в глубине пещеры, возле узла с их вещами, и, почувствовав, что он здесь, быстро к нему обернулась и виновато вспыхнула.

— Я просто хотела…

Она сложила свое шелковое зеленое платье и, не глядя на Адама, положила на место. Потом подошла к нему, взяла у него рыбу и стала чистить ножом, который он выточил из куска кремня. Наконец она подняла к нему глаза — он по-прежнему глядел на нее в упор. Лицо ее пылало как огонь.

— Мне только хотелось посмотреть.

— Знаю.

— Ты на меня не сердишься, Адам?

— За что же мне сердиться?

Он вышел на порог пещеры и остановился, глядя на поднимающуюся луну.

Ей хотелось броситься к нему, утишить его боль, освободить от печали, разрешить его смутный протест, но она не могла, слишком остра была ее собственная боль, ее собственная печаль, ее собственный протест. Она молча приготовила ужин, Адам вернулся и, как всегда, сел против

нее. Они сидели по сторонам костра и то и дело взглядывали друг на друга поверх пламени.

Он не доел своей рыбы и снова ушел к порогу. Она видела, как на темных рубцах, пересекающих его спину, пляшут отблески костра. На что ты глядишь? К чему прислушиваешься? Никого нет, только луна отражается в воде, да море шумит, заглушая все остальные звуки.

— Ты не ложишься спать?

— Сейчас иду.

Они легли на мягкое сено, принесенное им из вельда, укрылись большой кароссой и замерли рядом. Он привычно положил ей руку на грудь, и она подчинилась ласке, потому что любила его, но была безучастна. И он отпустил ее и слегка отодвинулся.

— Иди ко мне, — прошептала она.

— Ты сейчас далеко. — В его голосе не было ни укора, ни обиды, он говорил спокойно, просто.

— Но я хочу быть здесь, с тобой. И я здесь, видишь?

— Ты думаешь об охотниках в лесу.

— Неправда! Как ты узнал? Зачем ты так говоришь?

— Капстад зовет тебя.

— Нет, нет. — Она изо всех сил затрясла головой

возле его плеча.

— Не бойся, — сказал он, обнимая ее.

— Не оставляй меня.

— Я с тобой.

Сердце у него сжалось, он и сам не мог бы объяснить, почему. В их маленькую уютную пещеру точно ворвался ночной ветер, прошлое и будущее подступили к ним вплотную.

— Обними меня, — с отчаянием прошептала она. — Не понимаю, что случилось. Крепче обними. Не уходи от меня.

Рано утром, как только рассвело, он ушел. Ни он, ни она ни словом не обмолвились о том, куда и зачем он идет, он просто ушел, а она перед тем, как проститься, подала ему корзинку с едой, которую приготовила в дорогу: кто знает, сколько дней ему придется странствовать? Он надел свой кожаный передник и взял копье; пистолет оставил ей — защищаться.

Он двигался кружным извилистым путем — первый труп слона, второй, от второго он пошел по следам дальше и вскоре нашел еще трех убитых животных. Было около полудня. Невдалеке от последнего трупа оказались следы бивака: примятая трава, отпечатки ног, зола на месте прогоревшего костра. В золе дотлевали угли. Он

невольно поднял голову — а что ветер? Если он налетит, начнется лесной пожар. Но в воздухе не чувствовалось ни дуновения, ни один лист, ни одна былинка не шевельнулись, не дрогнули. Он двинулся дальше, и ему вдруг показалось, будто время стерло все, что произошло с ним за эти несколько месяцев, и он в своих бесконечных скитаниях по этой пустыне, гонимый смутной тревогой, снова наткнулся на следы каравана и уже много дней крадется за ним по пятам и, никому не видимый, издали наблюдает: катятся фургоны, идут волы, готтентоты, двое белых — мужчина и женщина… вот женщина осталась одна, она ждет…



Фургонов оказалось два. Дойдя до дальнего конца леса, колеи повернули и пошли назад по старому следу, параллельно пути, которым Адам добирался сюда, так что, когда он наутро догнал караван, они были всего в нескольких часах ходьбы от пещеры, если идти по прямой. Два фургона и целое стадо волов — штук сорок, не меньше, пять-шесть готтентотов и двое белых, один средних лет, другой совсем молодой, оба с запущенными, свалявшимися бородами.

Приближаться к ним Адам не стал, он боялся, как бы его не учуяли собаки. Спрятавшись в кустах с подветренной стороны бивака, он почти полдня наблюдал за охотниками. Видимо, один фургон у них предназначался только для добычи. На земле лежали связки слоновых бивней — бери и складывай, кипы высушенных шкур, страусовые перья, рога антилопы. Судя по суматохе, которая царила в лагере, караван готовился в дорогу, может быть, даже завтра утром.

Адам завороженно глядел на людей, как в тот день, когда догнал караван Ларсона. Но сейчас он еще глубже ощущал, как важна для него эта встреча. Когда он наконец выбрался из своего укрытия и пошел по направлению к морю, на душе у него было тяжело. Вельд лежал перед ним

просторный, открытый, с островками диких лилий среди зарослей вереска и протеи, с редкими купами невысоких деревьев.

Сомнения начали одолевать его уже потом, когда он остановился на вершине утеса и перед ним раскинулась зеленая ширь моря. Он знал: там, внизу, она его ждет, и он должен будет ей все рассказать. И когда он расскажет, может быть, настанет конец. Он с болью подумал, что конец всегда неотвратим. Ты можешь плыть по времени, не ощущая его течения, точно водоросль, которую несут волны, но в конце концов прибой вышвырнет тебя на берег.

Высоко над головой парил орел, высматривая внизу добычу. Он висел в вышине почти неподвижно, точно маленький крест в беспредельности, но когда-нибудь и он упадет, канет на землю, как камень. То, что еще вчера казалось далеким будущим, таким далеким, что они даже думать о нем не хотели, сейчас предстало перед ним неизбежной действительностью. Вот и наступило завтра, сегодняшний день ушел в прошлое. А мир и не заметил их катастрофы, что ему до судьбы песчинок, гонимых ветром? Что шелест травы перед ликом вечности?

День уже был на исходе, наступал вечер — утро

ночи. И Элизабет все ждала его в пещере.

Он мог и не рассказывать ей того, что увидел, мог скрыть от нее правду. Она ведь еще ничего не знает, она просто ждет. И поверит всему, что он скажет. Он может сказать, например, что встретил кочевников-готтентотов, которые готовились в путь, чтобы нести свои бивни в Капстад. Или что он нашел в лесу следы бивака, но людей нигде не было. Что он нашел разграбленный бушменами фургон, волов, судя по всему, угнали, на земле валялись два обезображенных трупа, он их похоронил; продуктов никаких не было. Может сказать, что он вообще ничего не нашел…

И ты поверишь мне. Даже зная, что я лгу, ты мне поверишь, потому что мы оба не хотим уходить, потому что ты тоже боишься, как и я.

Пусть эти люди в фургонах едут по нашей земле, грабя и убивая, где бы они ни появились, пусть ставят вехи своей губительной цивилизации, — мы с тобой останемся здесь, в нашей пещере над морем. И никакое горе нас не коснется. Услышав крики чаек на рассвете, мы лишь крепче обнимем друг друга, ты раскроешься навстречу мне, и я проникну в тебя, мы не будем знать одиночества. Днем мы станем собирать раковины, я нанижу их на нить и опояшу твою талию, они

будут звенеть при ходьбе. Ты будешь ловить со мной рыбу и помогать мне выбирать из воды наши сети, а когда море порвет их, ты будешь латать дыры. Мы будем ходить в лес и вынимать из силков попавшуюся туда дичь, зайцев и газелей. Я принесу тебе плоды, которых ты никогда еще не пробовала, и в твоих глазах вспыхнет радость и свет. Я окрещу твою грудь кровью. Я буду любить тебя у волн на песке и чувствовать, как солнце жжет мою спину и сушит выступивший пот. Я буду играть тебе на тростниковой дудочке, а ты будешь петь песни под мою музыку, ты сочинишь эти песни сама. Мы будем счастливы, и никто больше не будет нам нужен, поверь мне, поверь же, поверь…

Орел — черная точка в вышине — кинулся вниз на свою жертву: кто это был — скунс? мышь? барсук? заяц? Потом хищник снова взмыл в небо, держа что-то в когтях и борясь с ветром.

Адам вздохнул и начал спускаться на берег по красным скалам ущелья. Было уже почти темно.

— У них два фургона, — сказал он, когда она подбежала к нему по песку и прижалась к его груди. — Один доверху набит добычей. Они готовятся в путь. Думаю, пойдут прямо в Капстад, потому что больше места в фургонах нет.

— Белых всего двое?

— Да. Один пожилой, другой молодой.

— Какие они по виду? Добрые? Или злые?

— Обыкновенные охотники. Люди из Капстада. Очень грязные. Но такую грязь вода отмоет.

— Как ты думаешь, они будут ко мне приставать?

— Ты — женщина.

— Надеюсь, их можно осадить. И потом, у меня ведь есть пистолет.

— Да, конечно.

— Сколько добираться отсюда до Капстада в фургоне?

— Путь неблизкий, да еще через горы. И джунгли придется огибать. Так что месяца два-три.

Они вернулись в пещеру.

— Ты ведь поедешь со мной, Адам? — спросила она. — Будешь меня защищать.

— А если охотники узнают, что мы с тобой?..

— Они ничего не узнают.

В пещере он сел и прислонился к стене, измученный и опустошенный. Она принесла ему воды в большой раковине, немного меду. И снова принялась расспрашивать о том, что он уже подробно ей рассказал.

— Но если они утром отправятся в путь, разве мы сможем их догнать?

— Сможем, нужно только выйти пораньше.

Потом она ушла в глубину пещеры. Он не смотрел на нее, но слышал, как что-то шуршит в полутьме. Когда она вернулась к нему, на ней было ее зеленое платье из прежней жизни. Платье висело на ней и было сильно измято, и все-таки она показалась ему странно, волнующе прекрасной.

— Я похудела, — сказала она, почему-то смущаясь его взгляда.

— Зато стала крепче, — сказал он. — И еще красивей. — У него даже слезы выступили на глазах — до того она была желанна.

Она с задумчивым лицом разглаживала платье на боках.

— Ужасно измялось.

— Мы встанем завтра очень рано, — сказал он, не глядя больше на нее.

Она опустилась возле него на колени.

— Что с тобой, Аоб?

— Не называй меня Аоб, — тихо сказал он.

— Я буду просить за тебя в Капстаде, — с жаром сказала она. — Ведь я тебе обещала, ты помнишь. И я добьюсь для тебя прощения.

— Да, конечно.

— Если я упущу эту возможность… — Она перевела дыхание. — Сейчас еще труднее, чем раньше, когда я решала оставить фургон Ларсона. Ведь другого случая может не быть.

— Знаю. Поэтому и рассказал тебе про охотников.

В ее глазах зажегся свет прозрения.

— А ведь ты мог бы ничего мне не говорить!

Он не шевельнулся.

— Слышишь? Мог скрыть от меня правду. И я бы никогда ее не узнала.

— Нет, ты должна ее знать.

— Почему ты меня не пощадил? — в волнении воскликнула она. — Почему не решил все сам? Не надо тебе было говорить, так было бы гораздо легче.

— Да, легче, — согласился он. — Сначала. А что потом? Вдруг бы тебя начала грызть тоска? Вдруг бы все случайно обнаружилось и ты догадалась?.. Как же я мог решать за тебя?

— Но почему нам нельзя остаться здесь? — спросила она.

— Нельзя? Кто сказал, что нельзя?

— Это ты хотел вернуться в Капстад! Ты говорил, что не можешь жить вдали от него, что ты

не зверь.

— Тогда я был один. Теперь я с тобой.

— Но разве тебе довольно меня? Разве тебе никто больше никогда не будет нужен?

— Кто знает. Я могу лишь надеяться и верить.

— Ах зачем, зачем ты сказал мне! — повторила она.

— Потому что ты с ними одного племени.

— Нет, мы разного племени! Я была счастлива здесь. Я и сейчас счастлива.

— Решай сама.

— А ты, Адам, что же ты? Ты-то чего хочешь? Что мне делать, скажи!

— С каких пор ты стала слушать чьих-то советов?

— Помоги мне, Адам! — Она схватила его за руку, прильнула к нему.

Где-то там, в ночи, думал он, стоят два нагруженных добычей фургона, и как только настанет рассвет, караван двинется в путь, направляясь в Капстад, — белые бородатые охотники, их волы и слуги-готтентоты.

— Когда мы жили у готтентотов и я болела… — вдруг сказала она. — Почему ты не бросил меня и не ушел один?

— Как же я мог тебя бросить?

— Ты тогда не любил меня.

— Почему ты вспомнила об этом сегодня? — спросил он.

— Потому что я тебя люблю! — со слезами сказала она. — Господи, что же делать?

— Не огорчайся, — сказал он. — Пора спать. Ведь если мы хотим встать пораньше, ты должна успеть отдохнуть.

— Почему ты сказал «мы»?

— Я сказал: «Если мы хотим встать пораньше».

Она поднялась и начала было расшнуровывать корсаж, но вдруг ее пальцы замерли.

— Зачем ты раздеваешься? — спросил он. — Тебе, наверно, надо заново привыкнуть к платью.

— Ты хочешь, чтобы я осталась в платье?

Не отвечая, он расстелил на сене кароссу и лег.

— Иди ко мне, — позвал он.

Она легла рядом с ним, как всегда, но сейчас, в платье, казалась чужой.

Он обнял ее. Если это конец, думал он, если это в самом деле их последняя ночь, он должен любить ее до утра, не отпускать ни на миг, должен оставить на ее теле следы, вечные, как его шрамы. Но он не мог. Она была слишком далеко от него.

Он пролежал всю ночь без сна, не шевелясь. Наконец в пещеру просочился рассвет.

Тогда он слегка дотронулся до ее плеча и прошептал:

— Пора.

— Я не сплю.

— Ты что же, так и не заснула?

— Нет. — Она с усилием села в своем изжеванном платье и вздрогнула от утренней свежести. — Адам…

— Сейчас разведу огонь.

Есть не хотелось, было слишком рано. Он заварил листья дикого чая в старом котле, который нашел когда-то на ферме, и они стали пить этот чай, обжигаясь.

Потом он подошел к порогу пещеры, где любил стоять, и выглянул. Над морем лежал густой туман, сквозь него с трудом пробивалось солнце.

Она тоже подошла и встала с ним рядом. Он положил ей руку на плечи и только тогда почувствовал, что она нагая.

— Где же твое платье?

— Мне оно не нужно.

— А как же фургоны? И люди твоего племени? Как же Капстад?

— Я никуда не поеду. Я остаюсь здесь.

— Ты… ты хорошо подумала?

Она кивнула.

— Может быть, другого случая никогда не будет.

— Пусть. Я решилась.

— Ты просто сошла с ума.

— Да. Мы оба сошли с ума. И потому остаемся. Здесь наш дом, наша родина. — Она провела вокруг рукой, указывая на море, на дикий негостеприимный мир под жалобными криками чаек. — Больше у нас ничего нет. Мы остаемся здесь навсегда.

Она произнесла это как приговор, подумал он.

И снова вспомнил разбросанные по лесу трупы слонов.

В то утро они нашли на берегу, среди выброшенных на песок водорослей и мидий, среди фарфоровок, морских звезд и морских ежей, одну-единственную раковину бумажного наутилуса — хрупкую колыбель забытых яиц, которая почему-то уцелела, несмотря на всю ярость волн.

Как они потом вспоминали конец того лета, конец тепла, что сохранилось в их памяти? Солнце вставало все позже, все раньше садилось, день незаметно убывал: по утрам туман долго не рассеивался, дни стояли прозрачные, ясные, лучезарные; сетуя, ворковали голуби, ласточки

собирались в стаи, готовясь лететь на север. Просторы казались все шире, огромней, мир словно раздвигался в лучах почти негреющего солнца; ветер словно прилетал к ним из еще более дальних краев и истощал по дороге все свои силы. И от сознания хрупкости, непрочности еще острей щемило душу. Вечерами у костра они подолгу молчали.

— Хорошо, что моя мать не видит, как сшита эта каросса, она бы в обморок упала. Если в детстве у меня стежки получались недостаточно мелкие и ровные, она заставляла меня все распарывать и шить заново. В саду бегали мальчишки, играли, а я сидела взаперти с шитьем, — как же я его ненавидела!

— Неужто ты совсем не скучаешь о Капстаде?

Она поднимает голову, на лице ее играют отблески костра.

— Конечно, скучаю. Иногда.

…Осенние аукционы, толпа, владельцы виноградников и арендаторы… прогулки с важными гостями в Констанцию, фламинго, которыми они всегда любуются, остановив карету… на Львином хребте палят из пушек, вьются флаги, на набережной народ, суета… мать всегда запрещала ей смешиваться с толпой простолюдинов на приста-

ни, но что ей запреты… завтра отплывают суда в Патрию и в Батавию, нужно успеть написать письма… звучит клавесин, горят свечи, дробясь в хрустальных подвесках канделябров, бесшумно снуют с подносами босоногие рабы, обмахивают гостей опахалами из страусовых перьев… дядя Якобс с отцом играют в шахматы в саду… когда матери нет дома, она носится во дворе с детьми рабов, хохочет, играет в их игры. Неужели тот мир все еще существует? И мать по-прежнему сетует на судьбу? Отец, наверное, еще больше замкнулся. Да полно, живы ли они все?

— И ты скучаешь о Капстаде, я уверена, — с вызовом говорит она.

…Рассказы его матери и бабушки о пламени, которое пляшет над кратером вулкана Кракатау, о прекрасных гибискусах и лотосах, о жасмине, коричном дереве и гвоздиках, которые так сладко пахнут, о бегстве Мохаммеда в Медину, о славных войнах полумесяца. Маленькая сухонькая старушка с ее мудрым фатализмом, наивная вера матери, которая путала Христа с Хейтси-Эйбибом и не отличала волю божью от воли хозяина…

— Матушка Сели, ты сбиваешь моего сына с пути.

— Глупенькая, я ему о белом свете рассказываю.

А я его повидала, свет-то.

— Откуда? Из черного трюма?

— Зачем же из трюма? Раньше я его видела, в молодости. Где я только не была — и в Паданге, и в Смеросе, и в Сурабайе. Тогда я была свободной.

— Ты и сейчас свободная. Хозяин вон отпустил тебя на волю.

— Пусть он этой волей подавится.

— Что ты, матушка Сели, как у тебя язык повернулся, ведь он — хозяин!

— Хозяин? Раб он, а не хозяин. Раб своих рабов. Что он без них? Пустое место. Ты слушай, Адам, слушай, что я говорю.

— Не смей забивать голову моему сыну такими крамольными мыслями! А ты, Адам, слушай свою мать и хозяина, понял? Забудь, что сейчас говорила бабушка!

Вот он стоит у верстака и обтачивает ножки для стола, из-под рубанка сыплются кудрявые стружки, ноздри щекочет запах можжевельника. Вот поднимается на гору за дровами, глядит на раскинувшееся внизу море… Изюм на чердаке… Осень, урожай убран. На гумне молотят зерно, с виноградников несут полные корзины и высыпают в давильни, а потом, держась за брус, давят спелые кисти, пляшут на них, прыгают, не чуя

под собой усталых ног, ягоды лопаются, между пальцами с чавканьем вылезает благоухающая мякоть, в подставленный внизу бочонок струей льется сладкий сок. Оставшуюся массу протирают через сплетенную из бамбука циновку, сливают виноградное сусло в огромные чаны и оставляют бродить, и вот оно стоит много дней, кипит, пенится. А потом везут вино в город, Адам сидит высоко на бочке, похлестывает длинным кнутом сытых раскормленных волов, рядом бегут собаки, прыгают, заливаются лаем. Вот и гавань, там грузят корабли, которые поплывут далеко-далеко — в Амстердам и в Бютензорг, в Тексел, конечно же, в Серабангу и Сурабайю, о которых рассказывала бабушка Сели, и во все концы света повезут выжатое им вино, повезут на свободу…

— Да, я скучаю. Но Капстад так далеко. А мы здесь счастливы, верно?

— Конечно. — Ее большие глаза безмолвно глядят на него, застенчиво спрашивают, соглашаются.

— Может быть, ты жалеешь?

— Жалею? Нет, нет. А ты?

— Мне-то о чем жалеть? Но ты стала часто говорить о Капстаде.

— О чем-то ведь надо говорить.

— Раньше, когда мы только пришли сюда, ты о нем совсем не говорила.

— Тогда было не до Капстада. Все было так ново, так незнакомо и прекрасно.

— А сейчас красота исчезла?

— Ну что ты, конечно, нет. Но все стало иначе. И появилось время для раздумий.

Тихо, будто вор, прокрался в их жизнь Капстад, когда подступили холода и им стало труднее обороняться от прошлого. Они и сами потом вряд ли могли бы сказать, когда они впервые заметили застывшую неподвижность огненно-красных лилий на темной поверхности водоемов, особую яркость лесных грибов — рыжих, розовых, зеленых, белых, пурпурных, желтых; они и сами не могли бы вспомнить, когда до них стал доноситься по утрам крик дрофы, когда они впервые услышали шуршанье куропаток в сухой траве, когда они, разводя костер, стали брать твердые, смолистые поленья железного дерева, которые дольше горят и лучше согревают ночью, когда их горьковатый дым впервые смешался со свежим дыханием моря и теплым, прелым запахом опавшей листвы и мхов. Перелом совершился исподволь, незаметно. Теперь они не купались в море по многу раз в день, а сбегали на берег толь-

ко утром, да и само купание стало иным: бросая вызов холоду, они ныряли в ледяную воду, бешено колотили по ней руками и ногами и стремглав выскакивали на песок и, лишь завернувшись в меховые кароссы, начинали чувствовать, как по телу снова разливается тепло, точно иголочки покалывают. Только в полдень они решались снять кароссы и полежать на солнце где-нибудь в укромном уголке, спрятавшись от ветра; и он заметил, что ее бронзовый летний загар начал сходить, она стала бледнее и тоньше под своей накидкой.

Были и другие приметы перемен, другие знаки. Теперь они любили друг друга с еще большей страстью, с еще большей настойчивостью, чуть ли не с яростью, точно их естественный порыв стал угасать и, пытаясь удержать ускользающее наслаждение, они еще исступленнее льнули друг к другу. Их усилия были пронизаны отчаяньем, тем более острым, что каждый, жалея другого, изо всех сил старался доказать неизменность своей любви.

И пока еще эта игра была возможна, они продолжали в нее играть, со страхом сознавая, что одно неверное слово, один фальшивый жест — и все погибнет. И мало-помалу они вжились в эту

игру, выгрались в эту жизнь. Но как остра была грань, по которой они ходили, как легко было с нее сорваться!

А потом погода испортилась. Адам не понимал, что происходит с природой. Обычно август в этих краях стоит теплый, мягкий, в конце его начинаются ураганы, в октябре их сменяют ливни. Но в этом году обычный порядок нарушился. Небо затянули свинцовые тучи, дул ледяной ветер, по нескольку дней кряду моросил мелкий упорный дождь, и они с утра до вечера молча сидели в пещере возле дымящегося костра или без умолку говорили, чаще всего о Капстаде, таком далеком и желанном в их серой череде унылых зимних дней, теперь они рвались к нему, как раньше рвались к морю. Или они ложились под большую кароссу-одеяло и насильно вызывали в себе желание, потом старались заснуть и засыпали ненадолго — они уже и без того были пресыщены сном.

Несколько погожих дней, которые выдались между дождями, были восхитительны хотя бы потому, что снова можно было выйти из пещеры, заново открыть для себя море, вельд, лес. И тут произошло чудо: вернулась радость, которая их переполняла раньше, вернулась вера, и любовь

их словно родилась заново, очистилась и засверкала, как камни, с которых соскребли ракушки. Но такие дни выпадали редко и длились недолго, тоска подступала все ближе. Оба они покорно ждали, и в нем, и в ней жила томительная убежденность неотвратимых перемен. Они не говорили о грядущих переменах, но оба знали: рано или поздно перелом произойдет.

И он произошел, произошел еще более неожиданно и незаметно, чем они представляли.

По небу неслись тяжелые рваные тучи, но они надеялись, что ветер их разгонит и зима подарит им один из своих ясных, солнечных дней. С самого утра они ушли в лес за грибами. Когда они подходили к трупу первого слона — теперь это была груда костей, обглоданных гиенами, грифами и шакалами и высушенных ветром, — начался дождь. Сначала он тихо зашуршал в листве над головой, стало темно, глухо и сыро. Потом дождь припустил сильнее, хотя под кронами огромных вековых атласных деревьев они могли не опасаться, что промокнут. Они сидели на поваленном стволе, прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть. Дождь зарядил унылый, беспросветный, он ничем не напоминал тот страшный ливень во время грозы у реки.

— Как ты думаешь, это надолго? — спросила она.

— Кто ж его знает? Странная нынче зима, все шиворот-навыворот. Утром я был уверен, что дождя не будет.

— Как ты думаешь, может быть, зря мы…

— Что — зря? — живо спросил он.

— Да нет, ничего. В пещере у нас хорошо и уютно, а дождь ведь когда-нибудь кончится, правда?

— Что ты хотела сказать, Элизабет?

— Пустяки. Просто дождь действует мне на нервы. Не обращай внимания.

Она глядела перед собой невидящим взглядом, возле ее губ вилось облачко пара.

— Тебе очень плохо? — спросил он.

— Ничуть. — Она посмотрела ему в глаза. — С чего ты взял? Разве ты больше не счастлив?

— Я ни на что не жалуюсь.

— Я тоже.

Опять воцарилось угрюмое молчание. Он стал разглядывать ствол, на котором они сидели: длинный, футов двести, а может, и больше; дальний конец скрыт подлеском. Ствол сгнил до самой сердцевины и даже выкрошился, но возле вывороченных из земли корней поднялся молоденький побег всего лишь в руку толщиной.

И здесь бессмертие, подумал он; эта картина порадовала бы его мать.

Ливень начал стихать только к вечеру. Еще капало, но дождь уже растерял свою силу. Мир мрачно насупился, поник. Нужно было возвращаться, пока дождь не разошелся снова.

Ярдах в ста от ствола они увидели в мокрой траве упавшее с дерева гнездо голубки, в нем лежали три крошечных, дрожащих птенчика, они жалобно пищали и широко разевали свои желтые клювы.

Элизабет нагнулась и подняла их.

— Что с ними будет? — спросила она.

— Погибнут. — Ей послышалось в его голосе осуждение. — Сами виноваты — кто же кладет яйца и выводит птенцов на зиму?

— Но птенчики уже вывелись.

— Ну и что?

— Нельзя же их здесь бросить, они умрут.

— Мы тоже их не спасем.

— Нет, я попробую.

Он не стал возражать, он торопился вернуться домой до дождя. Пока они добрались до пещеры, спустились сумерки, и один птенчик издох.

Двух других она держала в ладонях и согревала дыханием, а Адам тем временем разжег костер.

Потом она устроила гнездо из меха и положила в него невдалеке от огня двух дрожащих неоперившихся уродцев с голыми шеями и разинутыми ртами.

— Ты бы их покормила, — сказал он.

— А что им дать?

— Попробуй сушеные фрукты. Больше-то ничего нет.

Но птенцы только таращили глаза и глупо разевали клювы. Она в отчаянии оглядывала пещеру. И вдруг ее осенило: она откусила кусочек сушеного банана и принялась жевать. Потом опустилась на колени, взяла одного птенчика в руки, поднесла к своим губам и языком затолкала ему в клювик немного разжеванной массы. Птенец икнул, тело его содрогнулось, он проглотил банан и снова распахнул свой клюв. Она терпеливо накормила обоих.

Адам, качая головой, жарил грибы, которые они принесли из леса. От мокрых каросс поднимался пар. Дождь все еще моросил, но вот налетел последний порыв ветра, и все стихло.

Ночью он вышел к порогу поглядеть, что делается снаружи. По черному небу неслись разорванные облака, и прямо над головой светила луна, похожая на старый башмак, из которого,

как рассказывала ему в детстве мать, ее сделал когда-то Хейтси-Эйбиб. Адам оглянулся. Элизабет лежала возле костра, устроив птенчиков у себя на груди. Он вздохнул и вернулся к ней.

Ночью она несколько раз вставала кормить птенцов, укрывала их, чтобы они не замерзли. И все-таки когда они проснулись на рассвете, один из птенчиков был мертв.

Взошло солнце, и она послала Адама за червяками. Когда он их принес, она стала давить их пальцами и всовывать скользкую массу в разинутый клювик.

— Этот у нас выживет, — с решимостью сказала она.

Ночью она спала спокойнее. А утром они увидели, что и третий птенчик издох.

— Можно сварить из них суп, — предложил он. — Не бог весть сколько мяса, но все-таки.

— Ни за что! — воскликнула она с таким жаром, что он удивился. — Как тебе пришло в голову? Я их сама кормила.

— А что с ними делать? — Он пожал плечами.

— Не знаю. Похоронить. Мало ли…

Она тяжело вздохнула и умолкла, точно говорить с ним было бессмысленно, взяла два крошечных съежившихся трупика и пошла вон

из пещеры. Он не сделал ни одного шага вслед за ней, набил трубку и стал курить, надеясь успокоиться. Небо совсем очистилось, но холод пробирал до костей.

Прошло несколько часов, а она все не возвращалась, тогда он встал и нехотя пошел ее искать.

Теперь скелет обнажился полностью, он ярко белеет на валуне у водоема длинной извилистой дугой, точно герб на щите: изящный, строгий узор, ничего тайного и недоговоренного, каждый позвонок тщательно прорисован, все ясно, точно и бескомпромиссно, и здесь уже не будет перемен, здесь не страшна никакая опасность, здесь нет желаний, колебаний, страхов, форма определилась навсегда, она неотвратима и прекрасна.

Он нашел ее далеко от пещеры, у водоема, она сидит, отвернувшись от моря, и глядит в сторону утесов, туда, где начинается земля.

— Ну что, похоронила? — спрашивает он.

— Да. Сядь, посиди со мной. Я по тебе соскучилась.

— Что ж не вернулась?

— Ждала, что ты придешь ко мне.

— Здесь холодно.

— Да, холодно. Зато какой простор, как вольно

дышится. В пещере душно.

— Она тебя угнетает?

И как только он задал этот вопрос, оба поняли, что настала минута, к которой они готовились давно.

— Да, угнетает, — призналась она. — Мне нечем дышать. Скрывать и притворяться бесполезно. Мы просто задохнемся оба, вот и все.

— Но что же делать? — Он очень хорошо знает что, но произнести приговор должна она.

— Нельзя без конца притворяться.

— Ты думаешь, мы притворялись? — Он садится рядом с ней и ждет ответа, точно от него зависит его жизнь.

— Ты видишь, они умерли, — вдруг говорит она. — Я грела их, кормила, заботилась, и все-таки они умерли. — Она встряхивает головой. — Жизнь обошлась с ними жестоко.

— Подумаешь, двое птенцов. Кому они нужны? — говорит он, искушая ее.

И она хватает приманку.

— А мы? — спрашивает она с изумляющей его откровенностью, глядя на него в упор. — Мы тоже никому не нужны, нам тоже нет здесь места. Но пока светило солнце, мы этого не замечали. Мы были слепы. Во всяком случае я была слепа,

я знаю.

— А я-то думал, ты здесь счастлива…

— Наверно, потому что я была слепа. — Она опускает голову, волосы падают ей на лицо, она откидывает их рукой. — Вот видишь, а я думала, что ты счастлив. И оба мы столько времени боялись признать правду. Щадили друг друга, не понимая, что это самый верный способ погубить себя.

— А сейчас? — осторожно, с расстановкой спрашивает он.

Она смеется горько, но с неожиданным ликованием.

— Значит, наш маленький рай оказался не вечным. Он был лишь передышкой, лишь остановкой в пути.

— Ты хочешь уйти отсюда?

— Разве дело в желании? — говорит она. — Мы просто должны отсюда уйти, я это знаю твердо. Должны, если хотим остаться честными. Иного пути у нас нет. Мы все отодвигали решение, но…

— Что ж, нам собираться недолго. Можем сегодня и двинуться.

— Давай.

— Куда же мы пойдем? — спрашивает он.

— У нас ведь с тобой один путь, верно?

Он молча кивает.

— Круг должен замкнуться, — говорит она и берет его за руки, — чего бы нам это ни стоило.

Продолжая путь, мы словно каждый раз начинаем его заново, и нам нужна вся наша вера. После того, как море извергнуло Адама, а потом чуть не поглотило снова, он поднялся, весь мокрый, дрожащий, и, точно вор, стал красться по немощеным улицам мимо темных домов, мимо садов, где лаяли собаки, к знакомой горе, на которую он так долго глядел издали. Целый день он карабкался наверх и лишь к вечеру оказался на той стороне, возле фермы. Нужно было непременно проникнуть в этот белый большой дом под тростниковой крышей до темноты, пока не заперли высокие двери и не заложили прочные деревянные ставни на окнах.

В винограднике рабыни и ребятишки гоняли птиц, в проходах между шпалерами лоз спускались с тяжелыми корзинами рабы и пели, потому что близилось время ужина, когда им давали немного вина. В коровнике гремели ведрами доярки. В открытую дверь кухни было видно, как там возятся служанки, из трубы валил дым. За огородом девушки-рабыни собирали яйца, кормили кур и уток. В свинарнике визжали свиньи,

требуя объедков с пахтой и желудей.

Именно так и представлял он себе свое возвращение все эти долгие месяцы: челядь занята во дворе, сад перед парадным крыльцом пустынен. И все равно опасность была велика, но выбора у него не оставалось.

Он прокрался вдоль выбеленной каменной ограды, присел возле ворот на корточки, в последний раз огляделся и встал. Сердце колотилось в груди точно молот, горло пересохло. Он отворил калитку и на ватных ногах двинулся к веранде, остро ощущая, что он почти раздет. Сейчас кто-нибудь его окликнет — «Эй, что ты тут делаешь?» — и все погибло.

Вот он приблизился к крыльцу веранды, и в это время сторожевой пес, лежащий перед парадным входом, поднялся на ноги и, оскалившись, зарычал.

Адам замер. С минуту они молча глядели друг на друга. Потом он тихо, дрожащим голосом позвал пса:

— Буль, что же ты, Буль, не узнал меня? Иди сюда, Буль, иди, собачка!

Огромный мастиф подошел к нему, все так же оскалив зубы, понюхал его руки, ноги. На лбу у Адама выступил холодный пот, но он продолжал

уговаривать пса.

И вдруг пес завилял хвостом и улыбнулся во всю свою пасть.

— Молодец, Буль, умница! — Адам стал гладить его большую голову. Он весь дрожал от нетерпения, но нужно было снова заручиться дружбой собаки, с которой он когда-то бегал по усадьбе.

Он повернул ручку, и парадная дверь подалась. А вдруг в прихожей кто-то есть?.. Он толкнул дверь и проскользнул в щель. Внутри было темно и тихо, пахло воском, льняным маслом. Как хорошо он знал этот дом. Вот эти двери направо ведут в гостиную. Здесь любят коротать время хозяйские дочери, что, если они сейчас сидят в гостиной, читают или листают ноты?..

Вдруг в дальнем конце коридора открылась дверь. Его охватил ужас, стало нечем дышать, и он, не раздумывая, нырнул в гостиную. Там никого не было. Темная резная голландская мебель, привезенный из Индии красный лакированный секретер, массивный шкаф капстадской работы с затейливыми медными украшениями, за стеклом фарфор и серебро, на полу, на широких досках атласного дерева, — ковры, шкуры зебры, львиная шкура с набитой головой… Адам юркнул в узкое пространство между канапе и стенкой и

растянулся на жестком прохладном полу.

Издалека доносились приглушенные звуки. Взволнованно залились собаки — наверное, хозяин возвратился домой. Да, вон мимо простучали копыта. Гремели подойники, мычали телята. Плакал во дворе ребенок. Где-то в доме ходили, разговаривали. Но вот все понемногу угомонилось. Закрыли ставни, чтобы никто ночью не проник в дом, заперли двери. Потом он слышал, как молились на сон грядущий, двигали по полу стулья, заунывно пели псалом.

Теперь Адам успокоился. Он в доме, он ждет своего часа. Стояла непроглядная темнота, и потому он знал, что надо полагаться только на свой слух. Долгое время спустя он наконец решился снова подойти к двери и стал отворять ее — дверь скрипнула, и он в испуге застыл на месте. Из чьей-то спальни в длинный коридор все еще падал желтый свет лампы. Но вот и свет потух. По коридору плыл душный, теплый запах льняного масла. Заскрипела кровать, голоса еще шептались несколько минут, мужчина кашлял. Потом в темноте вздохнули, и наступила тишина.

Но он все стоял и ждал, ждал и, лишь уверившись, что весь дом крепко спит, подошел на цыпочках к окну и стал открывать ставни. Же-

лезный засов лязгнул. Он снова замер, но все было тихо. Гостиную осветила луна, проступили очертания темной мебели.

По нескончаемо длинному коридору он прокрался в кухню. В очаге все еще тлели, красновато светясь, угли. Он затворил дверь, взял с большого выскобленного добела стола свечу и зажег от углей. Теперь он действовал решительно и быстро. Так, вот только что выстиранная одежда, ему она великовата, он сильно похудел на острове, но ничего, сойдет. Теперь еда. Здесь раньше лежали ключи, которыми он распоряжался. А может, не здесь, неужто он забыл? Нет, вот они… замок ларя щелкнул. Теперь ружье, патроны и порох. Он связал все в узелок, отомкнул дверь во двор и положил узелок и ружье у порога.

Потом взял из очага щипцы, задул свечу и снова вернулся к внутренней двери. Постоял немного, послушал и ступил в коридор, оставив дверь открытой. Он был совершенно спокоен. Настала минута, которой он столько времени дожидался. Ладонь, сжимающая тяжелые щипцы, стала мокрой от пота.

Вот отсюда падал раньше свет лампы, здесь скрипела кровать. Медленно, шаг за шагом подвигался он вперед. В доме было душно, воздух

не проникал ни в одну щель. Капстадцы боялись спать с открытыми окнами.

Тускло блеснула медная спинка кровати. С какой стороны спит он, с какой его жена?

Придется подойти к кровати вплотную, послушать дыхание спящих. Он стал к ним наклоняться и вдруг задел ночной столик, звякнуло стекло, на кровати громко всхрапнули. Он еще крепче сжал щипцы и ждал, не шевелясь.

Наконец дыхание спящих опять стало ровным, и тогда он зашел с другой стороны. В темноте слабо белела подушка. На ней лежала его голова… Баас, баас, вот ты лежишь передо мной и спишь, ни о чем не догадываясь. Ты хотел заставить меня сечь мою родную мать, баас. Ты велел палачу пытать меня раскаленным железом и пороть плетью из гиппопотамовой кожи, ты сослал меня в каторгу на остров. И вот я вернулся, баас. Попробуй теперь остановить меня!

Он занес щипцы над головой, готовясь нанести удар. Одно движение — и конец, он раскроит череп своему бывшему хозяину. А если проснется жена, убьет и ее. В благодарность за соль, сударыня.

Да, сегодня настал мой черед. Ведь к этому ты меня и готовил, верно, баас? «Эта земля — твой

удел», говорил ты, а потом взял и прогнал меня с этой самой земли. Но море выкинуло меня на берег этой земли, точно щепку, и вот я вернулся. Теперь попробуй остановить меня, баас!..

Долго стоял он, подняв руку с щипцами, потом опустил ее, повернулся и вышел из спальни. По лицу его градом катился пот, ноги подгибались от слабости.

Когда он отворил дверь и вышел на крыльцо с узелком и ружьем, собаки залаяли и бросились к нему, но он тихонько кликнул Буля, и остальные собаки запрыгали вокруг них, виляя хвостом и повизгивая. Они всей сворой проводили его до конюшни. Конь в стойле захрапел, забил копытом, а когда Адам схватил его за недоуздок, стал мотать головой. Адам ласково уговаривал животное, дал ему сахару, который захватил в кухне. Ощупью нашел в темноте уздечку, вдел ему в рот удила, закрепил их и повел коня к воротам.

— Эй, что там такое? — крикнул во дворе мужской голос.

Адам мгновенно обернулся. Перед ним стоял Левис, друг его детства.

— Прочь с дороги!

— Господи, Адам! Как ты сюда попал?

— Прочь, говорю!

Левис вцепился ему в руку и чуть не вырвал рукав.

— Ах ты, ублюдок!

— Убирайся!

— Адам, я сейчас…

Адам крепко сжал приклад обеими руками и прицелился в голову, Левис медленно осел на колени, слабо охнул и грянулся оземь. В тот же миг Адам вскочил на коня, не выпуская из рук свой узелок. Конь вынес его за ограду, и они растворились в ночи. Его терзали сомнения, но он знал: нужно отъехать как можно дальше, пока не настал рассвет.

— Как ты думаешь, я убил его? — спрашивает он.

— Откуда же мне знать?

— В Капстаде наверняка говорили об убийстве. Неужто ты ничего не слыхала?

— Может быть, я в то время уезжала в Амстердам. — Она устраивается поближе к огню.

Ветер норовит сорвать шкуры, закрывающие вход в их дымное убежище. Они ушли не слишком далеко от моря. Через две недели путешествия по лесу они достигли невысокой гряды гор, и здесь-то их застигли холода. Когда они поднялись к вершине, стал падать снег и загнал их

в эту низкую, глубокую пещеру; чтобы не погибнуть, они решили здесь зимовать, и вот теперь пережидают, точно в Ноевом ковчеге, когда мир снова станет приветливым и гостеприимным.

— Может быть, ты все-таки вспомнишь, постарайся, — не отступает он.

— Даже если я и была в Капстаде, такие происшествия случаются сплошь и рядом, — говорит она, — рабы чуть не каждый день бросаются на своих хозяев и даже убивают. Ведь там столько нищих, бродяг, пьяниц, проходимцев, беглых каторжников. По ночам мы запирались на все запоры. У матери то и дело случались нервные припадки. Помню, когда все ложились спать, я часто снова распахивала окна у себя в спальне. Я не выносила духоты. Ничего со мной не случится, думала я, а случится — что ж, значит, судьба. Но иногда меня одолевал такой страх, что приходилось снова закрывать жалюзи. Понимаешь, если ты белый и живешь в Капстаде, страх не отпускает тебя ни на миг. У белых столько врагов, и все они по ночам рыщут на свободе.

— Разве твой отец не чувствовал себя в безопасности? Ведь у него было так много детей-полукровок.

— Наверное, именно потому он так и боялся, —

невозмутимо отвечает она.

— Да, и в конце концов против него восстала его собственная дочь.

— Нет, — возражает она, — я, в сущности, восстала не против отца. Наверное, я восстала против того, что меня хотели превратить в куклу. Будь у меня братья, моя жизнь сложилась бы по-другому. Мать не упрекала бы меня постоянно, что я девочка. Какое счастье быть мальчиком, всегда думала я. А я вот родилась девочкой, худшего наказания для человека и не придумаешь. Это нельзя, то нельзя. Осторожно, ты испачкаешь платье! Ах, у тебя растреплются волосы! Не стой на солнце, лицо загорит! Как ты себя ведешь? Разве такая невоспитанная девица может понравиться мужчинам? Вот оно, твое истинное назначение: ты должна нравиться мужчинам. Твои собственные желания, твои мысли ничего не значат: за тебя уже все решили другие, твой удел — покоряться.

Адам улыбается с легкой насмешкой. Потом говорит:

— Не такая уж ты была покорная. Ты вон сама покоряла мужчин направо и налево.

— О да, конечно, я их покоряла, — с горечью восклицает она. — Все они были у моих ног,

нужно было только скромно потуплять глазки, краснеть, когда положено, плавно поводить бедрами и показывать из-под платья ножку чуть выше туфельки, но даже это считалось большой смелостью. — Ее накинутая на плечи каросса распахнулась, и он видит ее по-зимнему бледное тело, маленькую грудь, обозначившиеся ребра, ямку пупка, кудрявый треугольник волос.

— Кокетничая добродетелью, я могла вертеть ими как угодно. Я презирала их за это до глубины души, но не о том сейчас речь. — Она смотрит ему прямо в глаза. — Да, передо мной пресмыкались все, и молодые, и старые, но я ни в коем случае не имела права показывать им, что у меня есть ум. Видишь ли, женщине не положено думать. Это считается неприличным, это возмущает и оскорбляет мужское всемогущество. Ты представляешь, что чувствует человек, когда он становится взрослым и вдруг понимает, что он навеки лишен своей воли, что у него нет никаких прав? Вполне можно потерять рассудок, верно?

— И все-таки ты вышла замуж за Ларсона.

— Да, я думала, он не такой, как все. Я думала, я вырвусь с ним на свободу. Я думала, что такой человек, как он, знаменитый ученый, путешественник, окажется выше мелких предрассудков

Капстада… — Она взволнованно теребит обтрепавшийся край кароссы. — А он увидел во мне только одно: что я «слишком требовательна».

— Да, все мы бунтуем, восстаем, и все напрасно. — Он криво усмехается.

— Но почему же твой-то бунт оказался напрасным? Почему ты не убил в ту ночь своего хозяина?

— Я сам все время об этом думаю, все эти годы.

— Ты испугался, потому что все еще считал его своим хозяином?

— Если бы он проснулся, если бы стал ловить меня, как Левис, я размозжил бы ему череп не задумываясь. Ведь бросился же я на него, чтобы убить, когда он приказал мне сечь мою мать. — Адам глядит поверх пламени костра на вход пещеры, где ветер треплет шкуры, за которыми начинается темнота. — Нет, я ничуть не испугался. Наоборот! В первый раз за всю жизнь у меня появилась свобода решать. Я мог убить его, мог оставить в живых. Раньше меня всегда заставляли подчиняться воле других. И я вынужден был подчиняться, хотя все во мне противилось. А в ту ночь вдруг оказалось, что я сам волен решать. И почему-то мне не захотелось его убивать. Два года я обдумывал свою месть во всех подробно-

стях, мечтал, как она совершится, только ею и жил. А когда миг наступил, оказалось, что мне все это больше не нужно. Видишь, как просто. Я был волен решать — и решил. У меня больше не было нужды кому-то что-то доказывать, даже самому себе.

— Зачем же ты тогда говоришь, что твой бунт был напрасен? — удивленно спрашивает она.

— Потому что сейчас я решил вернуться. Значит, я по-настоящему не победил.

— Адам… — произносит она. Потом тише, нежнее — Аоб… Ты действительно возвращаешься не только ради меня? Это правда?

— Не все ли равно?

— Ответь мне, — настаивает она. — Я должна знать.

— Все эти годы я тосковал о Капстаде и жаждал вернуться, — говорит он.

— Но ведь не возвращался же!

— Может, я и сейчас не пошел бы туда. — Он смотрит ей в глаза. — Но из-за тебя не могу остаться.

— Значит, ты все-таки идешь ради меня?

— Ты думаешь, я иду, потому что ты можешь купить мне свободу? Нет. Я иду, потому что без тебя мне просто нет свободы.

В ту первую ночь, думает она, глядя, как он жарит вяленое мясо и заваривает вместо чая горсть ароматических трав, в ту первую ночь она точно так же сидела и не сводила с него глаз. Было слишком темно, и она не могла разобрать, глядит ли он в сторону фургона или отвернулся от него прочь; ей хотелось подозвать его к себе, поговорить с ним, но было страшно; его присутствие и защищало, и казалось угрозой. А теперь? Теперь, когда она его любит, разве она чувствует себя более защищенной, разве угроза исчезла?

Она подходит к выходу из пещеры, поднимает шкуры и выглядывает наружу. Маленькие влажные снежинки ласково вьются вокруг ее лица.

— Долго длится зима в этих горах? — спрашивает она, возвращаясь к костру и ежась от холода.

— Обычно здесь зимы вообще не бывает. — Он подает ей еду. — Надо набраться терпения и ждать. Хорошо, хоть крыша над головой у нас есть.

И в самом деле, им здесь лучше, чем в той первой пещере у моря. Порой бывает муторно, тоскливо, дни такие долгие, скучные, ночам нет конца, она уже давно надсадно кашляет, и все-таки они чувствуют, что с души спала тяжесть, они знают, что возвращаются на родину, что эта

пещера — всего лишь остановка в пути. Рано или поздно зима кончится, они пойдут дальше. Теперь они не стараются обмануть друг друга, не притворяются, что здесь их дом, — нет, это лишь временное пристанище, они здесь просто зимуют. Прошлое и будущее живут теперь с ними рядом, они их больше не пытаются отвергнуть.

Вскоре после ужина она укладывается под одеялом из шкур у костра. Он подает ей отвар целебных листьев, которые набрал нынче днем внизу, там, где нет снега, а сам берет нож, садится у огня и, прислушиваясь к ее хриплому кашлю, принимается вырезать из кости и кварца наконечники для стрел, которые он потом привяжет к тонким стержням железного дерева. Зазубренные кончики стрел он окунает в смесь из густого сока ядовитых кореньев и яда полузамерзшей змеи, которую нашел на склоне. Он не просто готовится к будущему путешествию, за этим занятием он забывает скуку и холод, оно отвлекает его от тревожных мыслей о ее болезни. А она очень похудела, тело у нее стало синевато-бледным, когда он обнимает ее возле костра, он чувствует под нежной кожей ее ребра, острые лопатки, бедра, и все равно она раскрывается навстречу ему, точно рана.

В предрассветной тьме они просыпаются от непривычного шума: хлопает приоткрывшийся занавес из шкур, который закрывает вход в пещеру, какая-то тень несется мимо. Элизабет прижимается к нему и глухо вскрикивает. Повинуясь инстинкту, он закрывает ее своим телом, хватает полено и кидает на дотлевающие угли; огонь вспыхивает, но Адам уже в полной боевой готовности, в руках пистолет.

У стены стоит замерзший, насмерть перепуганный детеныш антилопы с огромными глазами. Наверное, за ним кто-то гнался — леопард или рассвирепевший ветер. Ноги у детеныша дрожат, он глядит на них в растерянности и тревоге, порывается бежать, но горящий впереди огонь отрезал ему путь к выходу.

Только и всего-то. Элизабет смеется, но в горле стоит ком, ее вдруг словно отбросило в тот вечер у реки, когда она купалась и маленькая антилопа увидела ее обнаженной.

— Бедняжка просто искала у нас приюта, — говорит она. — Давай спать.

Но Адам все глядит и глядит на их гостя, потом неохотно забирается под кароссу. Элизабет снова начинает колотить кашель, и когда она, вконец обессиленная, все-таки засыпает, за пологом из

шкур сереет рассвет. Адам просыпается первым.

Угли давно потухли, но детеныш все еще здесь. Он лежит в глубине пещеры у стены и глядит на них огромными глазами. И стоило Адаму шевельнуться, он вскакивает на ноги.

Адам бросает взгляд на Элизабет. Она спокойно спит. Он неслышно поднимает ассагай и крадется в глубь пещеры к животному. Снаружи стоит тишина, снег поглотил все звуки. Ни шороха внутри, лишь мерно дышит Элизабет. Шаг, еще шаг… антилопа в ужасе застыла. И вдруг Адам прыгает вперед, прижимает ее к земле, хватает одной рукой острые рога и, закинув назад ее голову, одним движением перерезает горло.

Жалкий, захлебнувшийся в муке крик…

— Адам! — слышит он за спиной.

Он крепко держит бьющееся в агонии тело, наконец отпускает и, не глядя на Элизабет, виновато опустив голову, начинает свежевать маленькую тушу. Потом выходит из пещеры и моет руки в снегу.

Она не произносит ни слова. Услышав, что он возвращается, она быстро на него взглядывает и снова опускает глаза к костру, который она пытается разжечь. Зубы ее слегка постукивают.

— Зачем ты его убил? — спрашивает она на-

конец.

— Уж больше месяца, как мы не ели мяса.

— Ты его предал.

— Предал? Нам надо выжить. Идет снег. Кто знает, сколько нам еще придется здесь просидеть?

Она спокойно смотрит на него, потом, устало вздохнув, кивает.

— Наверное, ты прав.

Ее снова сотрясает кашель.

— Тебе надо поесть мяса, — говорит он. — Будешь есть сырое?

Она качает головой.

— Тогда я сейчас поджарю его прямо на огне. Пожалуйста! Тебе вредны такие холода.

— А антилопа…

— Антилопы больше нет, есть мясо.

— Да, конечно.

Но когда он протягивает ей маленький кусочек мяса, который он вынул из пламени, она крепко зажмуривает глаза и стискивает зубы, стараясь его проглотить.

Ее покорность огорчает его больше, чем гнев, которого он ожидал.

— А ты попробуй посмотреть на все другими глазами, — говорит он, надеясь, что она начнет возражать и поможет ему убедить себя, но она

молчит. — Представь, что ночью к нам пришла не антилопа, а лев, ведь он наверняка бы нас убил.

— Значит, мы всего лишь звери? — спрашивает она, не глядя на него.

— Но ведь тебе не выжить, если ты не станешь зверем. — Она не отвечает. — Никогда не забуду один случай, — продолжает он. — Как-то мы с хозяином пошли на гору, — он тогда еще был моим хозяином. Отправились туда чуть свет, он очень спешил, не дал мне даже позавтракать. Он взял меня с собой расчистить участок земли на склоне, хотел разбить там фруктовый сад. Я знай себе работаю лопатой, а он стоял, глядел вокруг, да вдруг и говорит: «Эх, красота-то какая, Адам, ты только погляди!» А я копал и думал про себя: «Хорошо тебе восхищаться природой, ты-то вон сыт, а у меня живот подводит от голода, мне не до красот».

Она кидает на него взгляд, но тут же опускает глаза и закашливается. Он подходит к ней, обнимает ее и чувствует, как она, содрогнувшись, сжимается.

— Ничего, — говорит он, — ничего, это скоро пройдет. Я принесу тебе еще целебных трав.

Немного погодя он закутывается в кароссу и уходит — несколько шагов от порога пещеры, и

он исчезает в снежной мгле.

Эрик Алексис Ларсон тоже убивал антилоп и газелей, вдруг думает она, убивал самых красивых животных, самых красивых зверей и птиц, которые встречались им на пути, чтобы зарисовать их, набить чучело или снять шкуру, подробно описать и отвезти потом в Стокгольм, где каждому экземпляру придумают научное название. Мясо обычно отдавали готтентотам, а если слуги были сыты, то зарывали в землю, чтобы гиены не шли по кровавому следу экспедиции.

Вечером Адам возвращается и приносит целебных трав для нее и клубней с млечным соком, чтобы лечить свои потрескавшиеся ступни. Увидев его, она чуть не закричала от радости. А ночью, у костра, сама начинает его ласкать. Приди ко мне, возьми меня. Будем как звери в нашем логове. Зима скоро кончится.

Идут дни, недели, в горах медленно начинает теплеть; возвращается солнышко. Пробившись сквозь редеющие тучи, оно согревает озябший мир, и на земле становится уютней, светлее. Теперь Адам приносит ей то зайчишку, который рискнул выбраться из норы, то ягоды, плоды, съедобные листья, коренья, которые он вырыл из земли. Ее кашель почти прошел. Она все еще

очень худа и слаба, но чувствует, что болезнь ее кончилась. Снега уже нет, земля просыхает. И однажды утром, выйдя из пещеры, он обводит взглядом горные склоны — где-то вдали самозабвенно воркует горлица, — потом оборачивается к ней и зовет.

— Конец зиме, — говорит он. — Теперь можно идти дальше. Мы выжили.

После зимы они почти сразу попали в лето. Переход через горы занял несколько дней. Здесь не было уходящих в небо скалистых вершин, просто тянулись одна за другой бесконечные волнистые гряды, и все же ясно ощущалось, что эти горы — несомненная граница, предел, лежащий между побережьем и внутренними землями. Они поднялись на острый, точно нож, гребень разделительного хребта и увидели, что внизу простирается совсем другая страна. Исчезли густые заросли, зеленые склоны, ручьи и речки с пышной растительностью по берегам. По эту сторону хребта земля была ровнее, лишь с легкими всхолмлениями между цепями гор по сторонам. Купы акаций, низкорослые кусты, белесая колючая трава под ногами. Тающий в горах снег не попадал сюда. Однообразный желто-бурый пейзаж тянулся до самого горизонта, и каждый раз,

как они поднимались на холм, он снова и снова повторялся перед ними без изменений: слева цепь гор и справа цепь гор, она надвигалась на них издали темной неумолимой громадой.

Солнце яростно сияло.

Из зимнего холода гор они вдруг, миновав весну, окунулись в лето: здесь, в этой длинной долине между горами, не было и следов весны, ни пышной травы, ни полевых цветов, ни освежающего ветерка. Высоко в белом небе горело белое расплавленное солнце, точно немигающий птичий глаз какого-то злобного божества. Стиснутый в долине между горами, неподвижно томился зной, он не спадал даже ночью, и чем дальше они шли, тем становился беспощаднее.

Иногда вдали, среди высохшего вельда, они видели зверей — то стаю страусов, то маленькое стадо газелей-антидорок вдруг промчится вниз по склону, мелькая белыми хвостиками, то с криком выскочит цесарка из сухой травы, пройдет леопард, почти неразличимый на песке среди кустов боярышника в игре света и тени, а вон пасется сернобык с длинными острыми рогами, в облаке пыли проскакало мимо стадо буйволов… даже львы им как-то раз повстречались, они пожирали антилопу гну, но, к счастью, были далеко

и с подветренной стороны.

Продвигались очень медленно. Элизабет еще не окрепла после долгой зимы, после своего изнурительного кашля, и он боялся, что от слишком большой нагрузки она сразу же надорвется. Путь им предстоял долгий, трудный, и силы нужно беречь, они понадобятся потом, а подкрепить их уже будет нечем. Ее возмущала эта черепашья скорость, она сердилась на него, ссорилась с ним. Но он не уступал и, несмотря на все ее протесты, устраивал частые остановки, чтобы перекусить и отдохнуть.

И ей против воли пришлось покориться. В первый же день, как они спустились в долину, ее обожгло солнце. Он сшил себе и ей для путешествия передники, какие носят готтентоты, а скудный их багаж решил завернуть в кароссы и в них нести, ему и в голову не пришло, что ее побелевшая кожа не выдержит столь ярких лучей. К вечеру ее тело горело злым огнем, зато на бедрах, которые закрывал передник, кожа по контрасту казалась синеватой. Ночью она почти не спала, однако не жаловалась, ведь если он узнает, как она мучается, они пойдут еще медленней.

На второй день боль стала невыносимой. Когда они остановились на привал в тени баобаба, он

увидел, что она осторожно трогает свои багровые плечи пальцами и лицо ее искажено страданием.

— Что ж ты мне ничего не сказала?! — Он ошеломленно разглядывал ее горящую спину, волдыри на нежной груди.

Она сжала зубы.

— Нам нужно скорее дойти. Какой смысл сидеть и ждать?

— Дальше будет еще хуже. — Он с ужасом прикоснулся к ее груди, и она невольно отпрянула. — Ты же умрешь от ожогов!

— Что же мне делать?

— Можно надеть кароссу.

Она развернула свой узел и хотела накинуть шкуры на плечи, но даже легкое прикосновение пронзило ее нестерпимой болью. Она сердито вытерла слезы, которые выступили у нее в глазах.

— Останемся здесь, пока тебе не станет лучше, — решил он.

— Ни за что! Нам еще столько идти!

— Как ты думаешь, далеко ли мы уйдем, если ты заболеешь и свалишься?

Нужно было срочно помочь ей, пока ей не стало совсем худо. Он взял немного меду, который они несли с собой, смешал его с жиром антилопы и

осторожно смазал все ее тело. Потом принес ей воды попить и умыться, нарвал с чахлого кустарника листьев и положил ей на лоб.

Но несмотря на все его заботы к полудню она совсем занемогла. Она не могла лежать спокойно и металась, а малейшее движение причиняло ей нестерпимую боль, спина, живот, руки и ноги были точно ошпарены кипятком, и в довершение всего ее начал бить озноб.

Адам накрыл ее кароссой и ушел на поиски касторовых листьев, которые помогают от лихорадки, а когда вернулся, снова намазал ее смесью меда с жиром антилопы и заставил пожевать кореньев, сок которых содержал наркотик, чтобы она немножко опьянела и не так мучилась от боли. Всю ночь она стонала в полузабытьи, бормотала какие-то невнятные слова, сердилась на него, плакала. Но к утру наконец заснула, и когда несколько часов спустя проснулась, лихорадка ее оставила.

— Ну вот, теперь можно идти дальше, — сказала она, все еще едва заметно дрожа.

— Нет, мы никуда не пойдем. Сначала ты должна поправиться.

— Но я уже поправилась!

— Нет.

— Адам, я больше не могу ждать, неужто ты не понимаешь? — крикнула она в бессильном гневе.

— Неделя и даже месяц ничего не изменят. А если ты будешь упрямиться и требовать, чтобы мы все-таки шли, мне завтра же придется похоронить тебя в дикобразьей норе и дальше идти одному.

Он снова намазал ее мазью и напоил забродившей смесью кореньев и меда, и она снова впала в восторженное полузабытье; весь день он просидел возле нее, тихо покуривая трубку.

Мало-помалу начали заживать даже самые страшные ожоги. До груди все еще было нельзя дотронуться, но краснота на спине погасла и начала переходить в темный загар. И все равно он еще несколько дней просидел с ней на месте, пока не убедился, что она совсем оправилась, а когда они снова двинулись в путь, то шли только часа по два-три утром и вечером.

Теперь она надевала тяжелую кароссу, которая закрывала ее с головы до пят; днем он устраивал ее в тени отдыхать, а сам уходил на охоту, чтобы раздобыть еды. В этой открытой местности было трудно выслеживать дичь, но на второй день им встретился водоем, куда приходили звери, и он

подстрелил из пистолета детеныша антидорки. Свежее мясо прибавило ей сил. К несчастью, сохранять его в такую жару было трудно. Они сразу же поджарили антидорку, и все равно через несколько дней мясо пришлось выкинуть.

Но все-таки они шли, и это сейчас было главное. Сознание, что они возвращаются, окрыляло их, наполняло странной, противоречащей логике и здравому смыслу, радостью: «Смотрите, мы страдаем, но мы не сломлены. Мы выживем, мы непременно выживем».

Днем, когда они отдыхали в палящую жару, она с удивлением вспоминала о всегдашней неудовлетворенности, которая терзала ее в Капстаде и во время путешествия с Ларсоном, о своей тревоге и непокорности, о постоянных ссорах с матерью и робким безвольным отцом. Сейчас она стала другой. Она знала, что никогда не смирится, что ее всегда будет снедать нетерпение, и все-таки у нее появилось неведомое раньше ощущение покоя. Когда они жили у моря, в остановившемся времени, она обнаружила в себе качество, о котором никогда и не подозревала: оказывается, она способна быть счастливой. И это сознание помогло ей пережить самые черные дни. Теперь я знаю, что могу быть счастлива, мне ведома тишина и

ясность, произошло чудо: моя душа открылась, и я совершила путешествие в глубь себя; теперь возврата к прошлому нет.

Дней через десять она даже смогла снять каросу и теперь шла рядом с Адамом под солнцем в одном лишь передничке, а то и без него. Скоро она стала совсем бронзовой, даже более темной, чем раньше.

Они шли и шли по нескончаемой долине между далекими грядами гор, и в этой их жизни было что-то изначально простое, земное, телесное: они ни на миг не переставали ощущать себя, свое тело в движении, работу мускулов и сухожилий при каждом шаге, каждом взмахе рук, напряжении мышц под тяжестью поклажи на спине, ни на миг не могли отрешиться от этого безмолвного неистового края, выжженных холмов, спаленных зарослей кустарника, колючей травы, корявых, истрепанных ветром деревьев под огромным небом. Продвигались они очень медленно, и все-таки каждый день, каждый переход приближал их… к чему он их приближал?

По дороге Элизабет часто рассматривала что-нибудь так пристально и внимательно, что продолжала шагать лишь по инерции. Обломанный ствол акации, с которого солнце и ветер

сорвали кору и выжгли, высушили все лишнее, все временное, оставили лишь сердце дерева, лишь то, что уже нельзя разрушить — ясный строгий узор обнажившихся волокон… груда выветрившихся за миллионы лет скал, без единой песчинки, без пучка травы, только голые камни, страшные и прекрасные в своей предельной неподвижности, в желании быть только самими собой и ничем иным… смешная черепаха, нелепо ковыляющая на коротеньких чешуйчатых ногах, вытянутая вперед старческая шея, беззубые десны в открытом рту, не ведающие компромисса бусинки-глаза, — жизнь, низведенная до примитивного движения, суровая в суровейшем краю. И вдруг, когда Адам отрубил ножом маленькую древнюю головку и вскрыл на камне панцирь, Элизабет с гадливым изумлением увидела внутри нежно-розовое мясо и множество яиц.

Когда ей в голову впервые закралась мысль, что этот край ей знаком? Силуэт холма, очертания горных вершин, рисунок скал, заросли кактусов, алоэ и молочая, причудливый поворот высохшей реки, рыжие оползни размытого берега — сначала у нее просто появилось ощущение, что все это она видела когда-то раньше, ощущение смутное, неясное, точно тянущееся из ее прежних

воплощений. А потом она незаметно сделала открытие, что ничто здесь ее не поражает, что она постоянно видит вокруг себя именно то, чего и ожидала, что, сама того не сознавая, она может заранее сказать, какой вид откроется с вершины следующего холма. Конечно, за две и тем более три недели пути пейзаж вполне мог стать таким предсказуемым, и все равно у нее с каждым днем росла уверенность, что она знает эти места, что она была здесь раньше.

Конечно, тогда этот край не был так выжжен и гол. Но если представить, что эти чахлые кусты под слоем красно-бурой пыли зазеленели, что голая земля покрылась пышным ковылем и островками цветов, то все начинало проясняться. Наверное, она ехала здесь с Эриком Алексисом Ларсоном. Где-то они вошли в эту длинную долину, где-то потом свернули в сторону, но именно по этим местам они как раз тогда и двигались, только в противоположном направлении.

Эта догадка укрепилась, когда они встретили развалины какого-то жилища. Всего лишь развалины, жалкую груду обвалившейся глины, камней, сгнивших досок. Но она видела их, когда они проезжали с Ларсоном в фургоне. Через несколько дней будут еще одни развалины, очень

похожие на эти. Она начала их высматривать, с трудом скрывая волнение, однако не решилась поделиться своими мыслями с Адамом, ей хотелось найти разрушившийся дом самой и подтвердить свою догадку. Но прошло два дня, и надежда стала гаснуть. Никаких развалин не было. Впрочем, может быть, они тогда шли ниже или, наоборот, выше? Разочарование оказалось очень тяжелым, хотя она и сама не могла бы объяснить, почему ей так важно найти развалины. Она словно перенесла какую-то утрату. А потом неожиданно, когда она уже совсем отчаялась, они увидели развалины. И ей сразу стало ясно, почему она так ошиблась в расчетах: ведь сейчас-то они двигались гораздо медленней. Чтобы пройти пешком путь, который они за два-три дня проделывали в фургоне, им нужно было неделю, а то и больше, потому что шли они только по утренней и вечерней прохладе.

— Зачем ты роешься в этих обломках? — с удивлением спросил Адам.

— Мне кажется, я была здесь раньше, — наконец призналась она. — Я не уверена, тогда здесь все было иначе. Но, по-моему, это то самое место.

— Вполне может быть. — Он пожал плечами. — Даже наверняка. Другого пути тут в общем-то

и нет.

Она удивлялась сама себе и не могла понять, почему так стремится удостовериться. И все-таки день за днем продолжала неотступно разглядывать окрестности — так пристально, что без конца спотыкалась то о камень, то о сук. Она все время оборачивалась и глядела назад: ведь если она видела эти места раньше, то видела их с другой стороны. Приглядеться бы ей тогда ко всему повнимательней, а она почти все время дремала в фургоне или угрюмо сидела в углу, сжавшись в комочек, и едва замечала пейзаж, который проплывал мимо. Зато сейчас она идет по этой дороге пешком, и взгляд ее вбирает каждый камень, каждый сук, каждую черепаху, которая попадается им на пути, каждую ящерку, каждого жаворонка, кружащегося ранним утром в небе.

Порой она подолгу шла, опустив голову, и внимательно рассматривала землю под ногами: не сохранились ли на жесткой глине колеи колес, раздавленные ветки, выброшенная вещь — хоть что-нибудь, какая-нибудь примета или намек, что она действительно проезжала здесь раньше.

Но ничего не было. Земля не подавала никакого знака, не подтверждала, что знает Элизабет, помнит. Она стерла все, что было, как море смыло их

следы на песке в тот день, когда они встретили у водоема змею. Все исчезло, не осталось даже памяти.

…И все-таки я знаю: я здесь была, была. Пусть эта земля жестока, пусть не желает говорить со мной, я все равно знаю. Не может быть, чтобы память меня обманывала. Но что меня ведет, как я опознаю свое прошлое, где храню свидетельства всех прожитых мгновений? Здесь, в этой бренной телесной оболочке, которая передвигается в пространстве? И это все, больше у меня ничего нет? Больше мне не на что полагаться? Неужто все и в самом деле зиждется лишь на вере?

По ночам ей снились сны, днем она шла, думала, вспоминала. Праздничный вечер, музыка, шум, голоса, — далеко-далеко, за множеством стен, дверей, комнат. Сад ярко освещен, играет оркестр, гости танцуют, смеются, столы ломятся от яств, все пьют вино, прислужницы-рабыни ее раздевают… широкая кровать с медными спинками, она лежит обнаженная, белая вышитая ночная рубашка в ногах… Я жду тебя, разве ты не чувствуешь? Хочу утром показать всем алые от крови простыни: глядите, теперь я — женщина, совсем другое, новое существо, я стала тем, чем мне и предназначено быть… «Я думал, ты

спишь…» — «Нет, я жду тебя…» — «Как, и это все?» — «Что все?» — «То, что сейчас было. И только-то?» — «О чем ты? Я ничего не понимаю». — «Я тоже…»

Видишь, я помню каждое слово. Вот как все было. Именно так, а не иначе, так оно и сохранилось в моей памяти.

Наконец она почувствовала, что должна рассказать о себе Адаму, освободиться от всего, что она, сама того стыдясь, накопила в своей душе, постараться увидеть прошлое беспристрастно, его глазами.

— В тот день, когда на него бросился лев… мне кажется, именно тут все и решилось. Это был конец, — сказала она.

— Но ведь вы вроде еще долго потом были вместе?

— Да. Но к тому времени… мы жили с ним в одном фургоне лишь потому, что было некуда деваться. Все, что произошло потом, уже было предрешено.

— О чем ты?

— Ах, все было так смешно, так нелепо. Лев кинулся на него и подгреб под себя, но Боои бросился на выручку, убил льва и сам чуть не погиб. А Ларсон так и остался лежать, придавленный

трупом, потом вдруг вскочил да как припустится бегом, добежал до какого-то деревца и стал карабкаться по стволу. Деревце было тоненькое, он долезет до половины — оно согнется и опустит его на землю, а он опять знай карабкается. — Она засмеялась безрадостно.

— Почему это тебя так потрясло? — спросил он.

— Не знаю. По-моему, я сразу-то и не поняла смысл того, что случилось, до меня только потом дошло. Великий ученый, знаменитый путешественник, чье имя в скором будущем должно прогреметь по всему свету, улепетывает, как последний трус. А ведь он владел целыми странами и континентами, он знал названия всех растений и животных, какие есть в мире, и вот сейчас этот человек, венец творения, пытался влезть на крошечное деревце, спасаясь от мертвого льва.

Ей сознательно хотелось представить все именно так, облечь прошлое в самые жестокие, грубые слова, снова ощутить то потрясение, испытать первоначальный гнев.

— Понимаешь, я вышла за него замуж не только потому, что хотела вырваться из неволи. Я хотела поверить в него. Потом-то я поняла, как смешны были мои надежды. Но я хотела, хотела в него поверить. Уж коль скоро я вынуждена играть

роль, к которой меня готовили, коль скоро мне приходится смириться с тем, что я — женщина, пусть у меня по крайней мере будет муж, которого я смогу уважать. Он должен быть мужчина, человек. Коль скоро мне суждено быть всего лишь женщиной, он должен убедить меня, что быть женщиной — счастье, что ради этого стоило родиться на свет. Я не хотела притворства и лжи. Но постепенно начала прозревать. И все-таки пыталась хоть как-то сохранить остатки, ведь ничего другого у меня не было. Но в тот день… все было так нелепо, так смехотворно, я уже больше не могла себя обманывать. — Она стряхнула со лба пот. — И знаешь, странно: в ту ночь он сам ко мне пришел, лег со мной рядом и начал ласкать, я чувствовала, что он хочет меня, а это случалось так редко, он никогда не обнимал меня так страстно, он просто не владел собой. Но на этот раз я его оттолкнула.

Она уверилась окончательно, что именно здесь они ехали раньше, когда увидела третий разрушенный дом, не потому, что узнала развалины, а потому, что тогда этих развалин не было. Она помнила, что даже во время их путешествия в фургонах первые два дома уже превратились в руины, осели в почву, — печальные недолговеч-

ные следы людей, которые пытались утвердиться на этой жестокой бесплодной земле и не сумели, бросили все и ушли дальше, точно гонимые ветром перекати-поле. Но этот, третий дом был другим. Когда они с Ларсоном здесь проезжали, он не был ни заброшен, ни разрушен, она в этом твердо уверена. Если это действительно тот самый дом, в нем были люди, кипела жизнь, — и путешественники ночевали у них во дворе. Вечером на ужин была тыква, ее ели руками из общей миски, потом тюря из хлеба и молока, потом хозяин отрезал им по куску вяленого мяса. Вокруг чудесно зеленели возделанные поля, да и вся земля была зеленая, загоны для коз и коров обнесены деревянным забором, но ведь с тех пор прошло больше года.

Таких приветливых хозяев они еще ни разу не встречали, — таких приветливых и таких бедных, зато они оказались очень гостеприимны, за ужином все болтали и смеялись, хотя Ларсон не принимал участия в общем веселье. Он нашел, что «эти люди» слишком грязные, а «эти люди» не проявили достаточного интереса к его подвигам. Но с удовольствием приняли от него немного бренди и табаку, а хозяйка пришла в восторг от бус, которые он ей подарил.

Хозяин был белый, его жена — выкупленная рабыня. Помнится, отцу хозяина принадлежали огромные плантации в окрестностях Стелленбоса, и он лелеял честолюбивые планы для своих многочисленных сыновей. Но один из них, кажется, третий или четвертый по счету, принес ему горькое разочарование. К его услугам были все рабыни, сколько их имелось в поместье, а этот сумасброд вместо того, чтобы с ними развлекаться, вдруг заявил, что любит одну из них и хочет на ней жениться. Старик в конце концов вынужден был уступить и отдал молодому человеку часть наследства, так что сын смог выкупить невесту, однако, не желая позориться в глазах соседей, отец поставил влюбленным условие, чтобы они не жили в усадьбе. Молодые ушли и, перебираясь с места на место, удаляясь все дальше от Капстада, в конце концов добрались до этой долины и, полные радостных надежд, построили себе дом. Здесь они и решили жить, воспитывать своих четверых маленьких детей, возделывать поля, сад и огород, разводить овец и коров.

А сейчас их дом пришел в запустение, крыша обвалилась, труба упала и засыпала обломками очаг. Кое-где сохранилась ограда, окружавшая загон, еще было видно, что поля эти когда-то воз-

делывали, но и только, больше никаких следов прошлого.

Где эти люди? Стали жертвой бушменов? Или просто ушли дальше, продолжая свое бесконечное странствие?

Она даже не могла вспомнить их лица. Мелькали неясные обрывочные картины: вечер, на столе горит лампа, возле очага спят улегшиеся рядком дети… жена, улыбаясь, кормит кур во дворе, муж гладит прижавшегося к его ногам ягненка и терпеливо учит сосать свои пальцы… И что же, и что теперь? Когда-то все они здесь жили, если только это тот самый дом, а теперь никого нет. Это огорчило ее даже больше, чем высохший, жухлый пейзаж. Исчезли трава и цветы, исчезли люди. Настанет сезон дождей, и земля снова покроется травой и цветами. А люди? Год назад она ехала здесь с Эриком Алексисом Ларсоном, теперь из всех, кто был в экспедиции, возвращается лишь она одна, и с ней Адам. Если когда-нибудь кто-то из них снова попадет сюда, кто это будет — она или он?

— Я часто думаю, что, наверное, я виновата в его смерти, — сказала она.

Она не назвала имени Ларсона, в этом не было нужды.

— Почему ты так думаешь? — спросил Адам и нахмурился.

— Разве не я довела его до отчаяния? Ведь я же его разлюбила, оттолкнула от себя.

— Он просто охотился за птицей, — убежденно возразил он, стараясь отвлечь ее от мрачных мыслей. — Ушел и заблудился. При чем тут ты?

Они сидели на крыльце разрушенного дома; они решили остаться здесь на день-другой, передохнуть немного в тени, а он тем временем сошьет им из шкур новые башмаки.

Она поглядела в ту сторону, где раньше был загон.

— У нас был проводник, Ван Зил… — задумчиво сказала она, точно не слыша Адама. — С ним случилось то же самое.

— Что значит — то же самое?

— Разве я тебе не рассказывала?

— Я знаю только, что он отправился с вами в экспедицию. Обманул вас, сказал, что знает эту страну, а сам не знал. Вечно лез на рожон, ссорился с твоим мужем.

— Да, он был ужасно глупый. Но очень добрый. И совсем еще мальчик. Мечтал повидать мир, потому, мне кажется, и предложил себя в проводники, потому и соврал, что знает страну.

— Ты с ним подружилась?

— Не то чтобы подружилась… Он был ужасно стеснительный. Но когда ты одна в пустыне и больше не с кем перемолвиться словом — ведь Ларсон был вечно занят своей картой, своим дневником, коллекциями…

— Ван Зил за тобой ухаживал? — спросил Адам с вдруг вспыхнувшим подозрением.

Она пожала плечами.

— А что он делал? — настаивал он.

— Дело не в том, что он делал… — Она посмотрела на него, и лицо ее зарделось под загаром. — Мы болтали о том о сем, он всегда был готов услужить мне, но и только. Однако я заметила, какие взгляды он на меня бросает. Беспрестанно. Сначала я сердилась и огорчалась. Мне даже хотелось прикрикнуть на него, чтобы он перестал пялить на меня глаза. Но время шло, муж все глубже погружался в свою работу, уделял мне все меньше внимания… было утешительно думать, что хоть кто-то проявляет ко мне интерес. Любуется мной. — Она помолчала. — Может быть, даже… хочет меня.

— И ты…

— О нет, бог с тобой! — живо возразила она. — У меня был муж. Я не могла ему изменить, не мог-

ла преступить свой долг. Просто… просто такое отношение щекочет нервы. — Она с вызовом посмотрела на него. — Это была всего лишь игра, развлечение. Она меня забавляла, скрашивала жизнь. Пожалуй, это-то и было самое скверное: ничего серьезного я не хотела, мне и нужна была игра, игра с огнем: проверить, насколько я могу увлечь мужчину и при этом не обжечься сама.

Он придвинулся к ней ближе.

— И что же, в конце концов ты все-таки обожглась?

— Нет, не обожглась. Со мной в общем-то ничего не случилось. Игра так до конца и осталась игрой. Бывало, проходя мимо, я как бы случайно задену Ван Зила. Мелькну обнаженной во время купанья. Но он не выдержал. Ему этого было мало. И вдруг я поняла, что ему не до игр. В один прекрасный день он набросился на меня и начал целовать. Я испугалась, стала бороться с ним, закричала. Прибежал муж. Они схватились не на жизнь, а на смерть. Наконец Ван Зил вырвался и убежал в заросли. И там застрелился. — Она сидела молча и глядела в темнеющий мир, который простирался вокруг. — Я виновата в его смерти. Разве я думала, что все так кончится, разве хотела этого ужаса? А этот ужас случился,

случился по моей вине. После смерти Ван Зила мы с Ларсоном беспрерывно ссорились. Он стал мне противен физически. И когда он это понял, в нем вдруг проснулось желание, какого никогда не было раньше. Но я не подпускала его к себе. Он стал уходить в лес, бродил там подолгу один. Ловил бабочек и птиц. А потом заблудился. Здесь я тоже была виновата, как ты думаешь?

— Думай, не думай, теперь беде не поможешь, — сказал он. — Ты только зря себя растравляешь.

— Но я боюсь себя, не понимаю и боюсь.

— А ты и не старайся себя понять. Предоставь это мне.

«Для всех других я была всего лишь женщина, забава, игрушка, — подумала она. — Ты первый, кто увидел во мне человека. И потому я осмелилась быть с тобой женщиной. Но есть во мне какая-то тайная сила, я не могу ее постичь и боюсь».

Пейзаж после заброшенной фермы сделался еще более безотрадным. Раньше им хоть иногда встречались чахлые кустики с пепельной листвой, которые питала вода подземных источников, узкие пересохшие речушки, где меж камней можно было найти небольшую лужицу. Теперь долина между двумя грядами гор превратилась в

огромное плоскогорье, и сухая земля стала твердой как камень. Каждый день они видели грифов, иногда далеко, иногда совсем близко: эта страна была полна смертью. Живность встречалась все реже, и то лишь ящерицы, черепахи, змеи. Иногда они слышали крик дрофы или цесарки. Газели, антилопы, зебры почти совсем исчезли. Камни и песок были раскалены, точно уголья, земля растрескалась, их путь то и дело перерезали овраги, похожие на зияющие раны.

Они с самого начала были уверены, что скоро все вокруг зазеленеет, покроется растительностью, что в небе соберутся тучи, прольется дождь, и облик мира вокруг них изменится. Ведь сейчас весна, и рано или поздно дожди начнутся, нужно только не терять терпения и ждать.

Но небо с каждым днем все больше выцветало, становилось серым, как зола; а земля в зной так нагревалась, что жгла им ступни даже сквозь толстые подошвы башмаков. Теперь они трогались в путь на рассвете и шли часа три-четыре, днем отдыхали и опять шли в сумерки. И все больше зависели в пути от случая. Не зная, удастся ли им найти сегодня воду, они всегда теперь несли с собой запас в бурдюке и в двух калебасах. Но воды хватало ненадолго, ее было так мало, а продви-

гались они вперед так медленно. Его тревожило, что они уж очень быстро устают. Теперь они даже помыслить не могли о большом переходе без отдыха.

И все-таки им однажды пришлось предпринять такой переход, потому что они выпили всю воду до капли и вот уже два дня в пути не попадалось ни одного источника. Выбора не было: надо идти, что бы их ни ждало впереди, иначе они просто умрут от жажды.

Он разбудил ее, лишь только взошла утренняя звезда. Она вздохнула во сне, повернулась на другой бок и прижалась к Адаму, точно ища защиты, и только тут поняла, что надо вставать. У них еще было немного кореньев и водоносных клубней, которые он выкопал накануне, и они стали жевать их, чтобы хоть немного утишить голод и жажду, но когда они взяли свои узлы и двинулись в путь, во рту у них было все так же сухо и шершаво.

— Как ты думаешь, сегодня мы найдем воду? — спросила она.

— Надо постараться, иначе… — Он увидел ужас в ее глазах и ласково дотронулся до руки, успокаивая. — Ну конечно, найдем, я уверен.

В недолгой предрассветной прохладе они быст-

ро прошагали довольно большое расстояние, взметая ногами густую пыль. Но поднялось солнце, и стало жарко, горячий пот жег спину. И все-таки они продолжали идти. Обычно они в это время останавливались где-нибудь в тени, отдыхали, перекусывали, но сегодня решили подкрепиться на ходу тонкими ломтями вяленого мяса, которое берегли на черный день. Однако мясо еще больше разожгло их жажду, у них так спеклось во рту, что они с трудом глотали эти крошечные кусочки.

Еще выше поднялось солнце и стало бить им прямо в глаза, черные тени влеклись за ними по белой пыли, дергаясь и подпрыгивая. Время от времени Адам останавливался и внимательно глядел вокруг. Вдали, у подножья северной гряды, кружили грифы — хоровод черных точек. Он старался не замечать их и искал глазами ложе реки, по которому струился бы ручей, искал островок зелени, хоть что-то живое, но ничего не было.

Когда солнце встало над головой, Элизабет едва передвигала ноги. Он увидел, как она побледнела под темным загаром, над верхней губой блестел пот, ко лбу прилипли мокрые пряди волос.

— Хочешь отдохнуть? — спросил он.

Но она покачала головой.

— Я вполне могу идти.

И они продолжали шагать, медленнее, но ровным шагом.

Она с ног до головы была покрыта пылью, липкое тело зудело. «Когда я ехала здесь в фургоне Ларсона, я меняла платья не меньше двух раз в день, — думала она. — Я мылась утром, мылась вечером, потому что не выносила грязи. А теперь грязь засохла на мне как короста. Полно, да я ли это?»

Порой ей казалось, что она оставила свое тело и, легко поднявшись в воздух, летит впереди, потом вдруг взмывает высоко вверх и оттуда глядит на себя, наблюдая, как она движется, как мерно шагают ее ноги, размахивают руки, подпрыгивает грудь. Воздушные потоки возносят ее все выше, она парит над вершинами гор и смотрит на крошечные точки внизу, которые ползут и ползут по земле, будто два муравья.

Солнце продолжало катиться по небу, вколачивая им в спины раскаленные гвозди лучей. Вдруг она споткнулась о камень и чуть не упала. Он поймал ее за руку.

— Ты больше не можешь идти?

— Нет, могу, я просто…

Но он видел, как трудно она дышит, стоя с ним

рядом. А когда она на миг закрыла глаза, то пошатнулась.

— Впереди есть кусты. Мы там отдохнем.

— Подожди минуту. Сейчас мне станет лучше.

Но в узкой полоске тени он увидел, что она совсем обессилела, хоть и старается бодриться. Он с вымученной усмешкой поглядел вдаль, на грифов, прикидывая, скоро ли потянутся сюда. В пустыне для них всегда находится пожива.

— Ты жди меня здесь. Я хочу подняться на пригорок и посмотреть, что с той стороны.

— Я тоже с тобой. Право же, я…

— Нет, ты оставайся здесь. Я ненадолго.

И она осталась лежать в тени. Голова ее покоилась на согнутом локте, но время от времени она приподнималась и смотрела ему вслед. Вот он уже на самом гребне. Надо бы ей тоже идти за ним. Сейчас она встанет, только отдохнет минуту. Сознание начало мутиться, ее окружила зеленая листва и тень. Перед глазами возникла огромная шелковица… Высоко на сучьях среди зелени стоит, расставив ноги, девочка, губы у нее в темно-красном соке ягод, длинная юбка подобрана выше колен, чтобы не мешала лезть на дерево. Внизу шуршат листья, чья-то рука осторожно касается ее голой ноги. Скосив вниз

взгляд, она видит мелькнувшую коричневую руку — наверное, это кто-нибудь из мальчишек-рабов, с которыми она вечно играет в саду, невзирая на суровые запреты матери. Притворившись, что ничего не заметила, девочка как ни в чем не бывало продолжает молча рвать ягоды и класть их в рот. И при этом раздвигает ноги еще шире. Рука медленно забирается выше, выше, к нежной едва опушенной промежности… Когда она прибежала домой, то на бедрах и между ног у нее были пурпурные пятна, и она боялась — а вдруг это кровь…

Она заснула. Проснувшись, увидела, что вечереет, на нее наползла длинная тень холма. Его нигде не было, но их узлы лежали на прежнем месте, под густым кустарником.

Она сделала глотательное движение. Пересохшее горло горело, язык распух. Она села, но снова накатила слабость, и она уронила голову в колени.

Когда она наконец, шатаясь, поднялась на ноги, то увидела вдали его. Он бежал к ней. Да где же он взял силы бежать?

Он что-то кричал и махал ей рукой. К ее горлу подкатил комок. Вода! Неужто он нашел воду?

Нет, он нашел не воду, а два гигантских страу-

синих яйца. Как ему удалось ограбить гнездо и при этом остаться в живых, почему самец-страус его не убил? Как он вообще сумел найти гнездо? Невероятно, но вот он вернулся и принес яйца!

На плоский валун, который точно горел белым пламенем, источая накопленный за день жар, он положил ветки и сухие листья и зажег их искрой от своей трутницы. Она наблюдала, присев на корточки. Валун такой горячий, что костер вряд ли был и нужен. Адам осторожно поставил яйцо на валун, подпер его мелкими камнями, проделал наверху крошечное отверстие и положил внутрь кусочек сала; потом просунул туда раздвоенный сучок, сжав развилку пальцами, и принялся вертеть его конец ладонями. Она зачарованно наблюдала за ним, полуоткрыв потрескавшиеся, в запекшейся крови губы.

Ей казалось, что прошло очень много времени, пока он наконец объявил:

— Ну вот, готово.

Он снял яйцо с огня куском меха, и все равно есть его сразу было нельзя, пришлось ждать, пока оно остынет. Он обломал скорлупу по краям отверстия и, расширив его, стал дуть на творожистую массу внутри. Яйцо никак не остывало, но она больше не могла терпеть, она взяла яйцо в

руки и, обжигаясь, стала схлебывать полужидкое желеобразное содержимое и жадно, с наслаждением глотать. Потом передала яйцо Адаму.

Солнце садилось. Повеяло прохладой, свежестью, пот на спине и на плечах у них высох.

И вдруг она рассмеялась — радостно, даже беззаботно: вот они и утолили голод и жажду, и у них еще осталось на завтра, а прохлада так чудесно освежила их тело. Тяжелый был день, но он кончился. Они и его пережили. Жизнь милосердна и щедра, а им нужно так мало.

Ей вспомнились нескончаемые жалобы матери там, в Капстаде, что она похоронила двоих сыновей, что она не может жить в разлуке с родными, вдали от Амстердама, без его музыки, картин и колокольного перезвона, без его каналов и шпилей, без мощеных улиц и карет, что она ненавидит эту варварскую страну на краю света, эту пустыню, она обречена здесь на жалкое прозябание, на медленную смерть. «Ты должна вырваться отсюда, мое дитя, цивилизованным людям здесь не место. В твоих жилах течет благородная европейская кровь, судьба не допустит, чтобы ты зачахла в колонии. Эта страна всех губит».

Нет, мама, ты не права, смотри — мы нашли яйцо, страна добра к нам, здесь можно жить.

— А завтра? — спрашивает он.

— Завтра мы пойдем дальше.

Сидя рядом, они смотрели на всхолмленный простор равнины в лунном свете. Где-то далеко играли шакалы, раздался леденящий душу вой гиены. Какой бы путь ни лежал у них за спиной, этот путь — прошлое, и нечего на него оглядываться. А эту страну, что раскинулась впереди, им предстоит одолеть, она — их будущее, в нем столько счастья, что захватывает дух, и оно совсем близко, рядом. Им нужно лишь сказать: «Все в моей воле», потому что только воля приведет их к будущему, только воля откроет двери в страну счастья.

— Теперь будет легче, — говорит она, приникая к нему.

— Кто знает, что нас ждет впереди.

— Нет, самое трудное мы пережили.

Но дальше оказалось еще труднее. Даже Элизабет вынуждена это признать. Тот день был лишь началом, лишь посвящением, лишь испытанием. Небо по-прежнему без облачка, белое, раскаленное; земля спеклась, а там, где раньше бежали ручьи, глина растрескалась замысловатыми узорами. И все-таки эта страна все время поражает их суровым тайным состраданием. Однажды,

когда они уже совсем отчаялись, она подарила им довольно большой водоем в широком русле пересохшей реки среди выжженных холмов, напоминающих костяшки гигантского кулака. Вокруг водоема — заросли мимозы, над желтыми пушистыми кистями жужжат пчелы. Не останавливались ли они с Ларсоном и здесь? Да, да, это то самое место, она почти уверена… как странно, возвращаясь вспять, к началу, убеждаться, что сейчас она идет наперекор ему, наперекор той женщине, какой она была когда-то.

Здесь, под деревьями у воды, они проводят целую неделю, и Элизабет ни единого раза не сетует на задержку. Наоборот, она не сразу соглашается, когда однажды вечером Адам говорит ей:

— Ну что ж, завтра в путь.

Они со свежими силами идут дальше, уверенные, что не пропадут даже в пустыне. И потом, они несут с собой довольно воды — два бурдюка, калебасы, страусиные яйца. Они в последний раз искупались перед дорогой и чувствуют себя крепкими, бодрыми.

Но к концу первого же дня они снова покрылись потом и пылью, а воды нигде нет и в помине, хотя они идут по руслу высохшей реки. Они считают каждый глоток, и все же их запасы убывают ка-

тастрофически быстро. Миновала неделя, но ни одного водоема им так больше и не встретилось. Раньше они всегда находили воду на второй-третий день.

Очень скоро после того, как они выпили последнюю каплю, они поняли, что жизнь их снова висит на волоске, хотя ни он, ни она не произнесли это вслух. У них есть немного съедобных корней и водоносных клубней, которые он выкопал, есть горькие мясистые листья на случай, если жажда станет нестерпимой. Но ведь этого так мало, листья и коренья лишь отсрочат неизбежное.

День клонится к вечеру, она крепко спит в песчаной впадине, где они решили отдыхать до темноты, и вдруг он замечает маленькую серо-коричневую птичку-медоуказчика, которая щебечет и порхает в сухих ветвях над головой. Надо разбудить Элизабет. Нет, жалко тревожить, уж очень сладко она спит. И потом, думает он, может быть, он успеет вернуться еще до того, как она проснется. Может быть. Он надеется, ему только и осталось надеяться.

Птичка все еще чирикает в ветвях над головой. Он встает, смотрит минуту-две на Элизабет, спящую на песке, и отправляется за птицей, которая

взволнованно перелетает с дерева на дерево. Он взял с собой копье и нож и, конечно же, пустые бурдюки. Медоуказчик уводит его все дальше и дальше от высохшей реки.

Один раз Адам останавливается и глядит назад. Но птица страшно всполошилась, она мечется в тревоге, бьет крылышками, кричит. Никаких признаков улья он не видит, однако вздыхает и идет дальше.

Элизабет осталась далеко. Он по опыту знает, что никогда нельзя сказать заранее, сколько продлится такое путешествие — полчаса или полдня. Но нельзя упустить счастливый случай. Где-то среди этих равнин есть улей, и он должен достать из него мед. Прежде всего для нее.

Спускаются сумерки. Он смотрит в ту сторону, откуда пришел. До нее мили четыре-пять. Интересно, она уже проснулась? Наверное, испугалась, ищет его. А может быть, сказала себе, что он скоро вернется, и терпеливо ждет. Ему не найти улей до темноты, это уже ясно. Где-то неподалеку придется заночевать. Может быть, птица-медоуказчик останется с ним, может быть, улетит, но тут уж ничего не поделаешь, придется рисковать. Если он пойдет сейчас обратно, он успеет вернуться к Элизабет до полной темноты, но птица вряд ли

полетит за ним, и тогда, значит, все было напрасно. А завтра у них обязательно должна быть еда, иначе она им вообще не понадобится.

Один, под первыми звездами, устраивает он себе ночлег в овражке, который выдул ветер, и полуложится, прислонясь к его стенке. Где-то над головой, в ветвях терновника, спит птица. Наверное, спит. Он не видит ее, потому что слишком темно. Он просто верит.

Сейчас в этом полном, совершенном одиночестве, с особой остротой ощущая, что она здесь, среди тех же долин, что и он, под тем же темным небом, одна перед огромным миром, он видит, какое страдание и боль его любовь. Он не хотел ее, не звал. Но она пришла, и теперь никуда ему не вырваться.

Давно, в юности, он осмелился полюбить женщину, она была еще моложе, чем он, — девочка, растерявшаяся на чужбине, с видениями Явы в своих глазах изгнанницы, видениями, которые впервые возникли перед ним, когда он слушал рассказы бабушки Сели, потому-то, наверное, эти картины так и врезались ему в душу. Мужчины постарше начали на нее зариться, но он их отгонял. Сначала он только защищал ее и ничего больше не желал, может быть, заранее зная, что

все обречено. Повалить женщину в темноте — еще куда ни шло, утишить горечь неутоленной жизни, выместить на чьем-то теле свою страсть, свою ярость. Но любовь? Нет, это слишком страшно. Он долго противился ей, боролся и все-таки я конце концов был вынужден сдаться. Гладкая нежная кожа, округлые плечи, застенчивая, едва расцветшая грудь, острые бедра совсем юной девушки, узкие кисти… Я люблю тебя, я не смею любить и все-таки люблю. Я растворяюсь в тебе, в звуках твоего голоса, я знаю, что надежды, будущего нет. А потом она вдруг исчезла. Они условились встретиться у калитки сада, когда она понесет из коровника ведра с молоком, но он прождал ее напрасно. И лишь долгое время спустя случайно услышал: «Да ведь ее продали, ты что же, не знаешь?»

Она… Даже здесь, в темноте, один, я не смею хотя бы в мыслях произнести ее имя, оно слишком сокровенно. Она во веки веков пребудет для меня без имени — просто «она».

А ведь есть странное, суровое обаяние в таком вот неожиданном одиночестве. Можно собраться с мыслями, обдумать. Обдумать еще более тщательно, чем в тот день, когда он оставил ее в пещере и пошел по следу охотников. Сначала она,

теперь ты. Вы обе равно хрупки и беззащитны, равно непримиримы. Но ее продали. Вот почему во мне живет такой страх за тебя. Что станется с тобой? Будем ли мы вместе, осмелимся ли? Возможно ли для нас такое будущее? Ведь всех в конце концов предают.

Конечно, была еще одна женщина, там все было иначе. После того, как Адама укусила змея и ему спасла жизнь старуха-готтентотка, которую соплеменники прогнали умирать, он разыскал ее племя и прожил целый год, кочуя вместе с ними по пустыне. Он взял себе жену, построил хижину и поселился с нею там, точно и он был того же племени. Жена заботилась о нем, он охотился и приносил ей все, в чем она нуждалась, но и только. Через год он почувствовал, что не может больше жить с готтентотами и должен снова уйти. Она проклинала его, плевала ему в лицо, царапала ногтями. Народ смеялся, пожимал плечами — ох, уж эти женщины, чуть что, сразу кричать и плакать, — но его собственное сердце готово было разорваться. Она бесплодна, потому он и уходит от нее, объяснил он людям. Но разве в ее бесплодии было дело! Он просто знал, что должен снова остаться один, вооруженный всем, чему его научили готтентоты, он был готов

теперь остаться с этой страной один на один. Но сердце его ни на минуту не переставало тосковать о Капстаде.

И вот теперь эта другая женщина, Элизабет, ведет его, открывает ему дорогу обратно в Капстад. Но эта страна жестока, и мед она дарит не часто.

На рассвете Адам видит, что птица-медоуказчик все еще с ним. Он улыбается. Ну что ж, значит, идем дальше — прекрасно! Через час они подходят к пустому термитнику, где пчелы устроили улей. Потерев друг о друга две палочки, Адам зажигает огонь и начинает выкуривать пчел, потом открывает улей острием ассагая и наполняет медом бурдюки.

На камне неподалеку он кладет несколько сот для птицы[16] и под жгучими лучами утреннего солнца бегом пускается обратно.

Вернувшись к руслу высохшей реки, он видит, что она разложила на валуне остатки еды. Она улыбается при виде его и бежит навстречу.

— Я так о тебе тревожился, — взволнованно говорит он. — С тобой ничего не случилось?

— Ну конечно, нет. — В ее глазах — безмятежность. — Я ничуть не боялась, я знала, что ты

---

[16] Примечания: 16
Медоуказчики едят не мед, а воск.

вернешься.

— Надо мне было разбудить тебя, когда я уходил. — Он крепко прижимает ее к себе. — Но очень уж сладко ты спала, тебе надо было отдохнуть. Я-то думал, что вернусь совсем скоро.

— Вот ты и вернулся, — спокойно говорит она.

— Я принес нам меду.

— Значит, мы не умрем? — Ее глаза вдруг наполняются слезами.

— Нет, мы будем жить.

Он садится на землю, открывает бурдюк и достает ей кусок сотового меда. Она присаживается рядом с ним и ест мед прямо из его руки, облизывая пальцы.

— Что ты делала все это время? — спрашивает он.

— Ничего. Ждала тебя. Потом спала. Проснулась и опять ждала.

— И ты правда не боялась?

— Конечно, нет. Я решила: если с тобой что-то случилось, я просто останусь здесь и буду спокойно ждать смерти. Не буду больше ни о чем тревожиться. Какой смысл, верно? Стояла такая тишина. Ночь была удивительно красива, ты заметил? Днем не всегда сознаешь, как прекрасен мир.

Они едят мед и молчат. Мед приторно-сладкий, много его не съешь, и все равно они чувствуют прилив сил.

— Ну что, снова в путь? — спрашивает он ее немного погодя.

— Не знаю. — Она облизывает пальцы. Потом вдруг вскидывает голову и глядит ему в глаза. — А знаешь, даже хорошо, что я побыла одна, без тебя. Мы слишком привыкли друг к другу. И я перестала думать. А теперь я побыла одна, и снова мысли у меня прояснились.

— О чем же ты думала?

— О том, что я тебя люблю.

— И все? — шутливо спрашивает он.

— Нет, — говорит она, все так же серьезно глядя на него. — Но это главное. Я тебя люблю и потому не хочу, чтобы мы погибли. Мы должны выбраться из этой долины живыми и вернуться в Капстад.

— Мы и стараемся.

— Понимаешь, нельзя больше идти наудачу, как мы шли до сих пор. Мы все надеялись, что впереди будет лучше. Я так просто была в этом уверена. Но видишь — реки пересохли. А если дальше ничего не будет, вообще ничего: ни меда, ни воды, ни кореньев?

— Что-нибудь да найдем.

— Можем и не найти.

— Возможно. — Он смотрит на нее пытливо. — А что еще нам делать?

— Что лежит за этими горами?

— С этой стороны — леса. — Он указывает рукой на юг.

— Как те, что были возле моря?

— Да, только еще гуще. Они почти непроходимые. И тянутся до самой бухты Мосселбай. От бухты, конечно, идти будет легко.

— Да, именно так мы тогда и двигались. — Она задумалась на минуту. — А там, на севере?

— Там карру[17].

— Что такое карру?

— Я толком не знаю, никогда там не был. Но слышал, что очень сухо, почти как в пустыне.

— Не суше же, чем здесь. Может быть, там выпали дожди. Когда мы ехали в сторону Камдебу, нас тоже все пугали, что там пустыня. А там выпали дожди перед тем, как нам прийти, и было изумительно красиво.

— Но у нас нет уверенности, что в карру были дожди.

---

[17] Примечания: 17

«Карру» на языке готтентотов означает «безводный».

— И нет уверенности, что их не было, — настаивает она.

Он качает головой.

— Не может быть, чтобы там было хуже, чем здесь, — убежденно повторяет Элизабет.

— Еще как может.

— Если это плоскогорье, мы будем двигаться быстрее и придем в Капстад намного раньше.

— Или умрем по дороге.

— Здесь мы тоже можем умереть. А в лесах заблудиться.

— Так что же ты хочешь? — спрашивает он в упор.

— Хочу вернуться в Капстад.

— Эту долину я хоть плохо, но знаю, — говорит он. — Путь здесь не легкий, но я хоть знаю, чего ожидать. А мир за теми черными горами мне совершенно не знаком.

— Разве у тебя совсем нет веры?

— Элизабет, ведь речь идет о нашей жизни!

— Вот потому-то я об этом и заговорила, — отвечает она. — Мы ползем, как две слепые черепахи, хватит, больше так нельзя. Нужно решаться.

— И ты решаешься идти через горы?

— Да, — говорит она и думает: «Как странно: Ларсон столько всего убил в моей душе, столько

искалечил, а вот эту страсть зажег и выпестовал — желание во что бы то ни стало узнать, а что за страна лежит там, за горами».

Покидая долину, она помимо всего прочего наконец-то расстается с Ларсоном. Здесь она шла, бунтуя против его памяти, — теперь начинается совсем новое путешествие, и Ларсон не будет в нем участвовать. С замиранием сердца, с волнением следовала она полузабытой дорогой, измеряя пройденный путь своими тайными вехами, но вот путь этот кончился. Эти горы — граница, рубеж, мост между воспоминаниями и неведением, между полу знакомым и совершенно чужим, мир, существующий сам по себе.

Оставив русло высохшей реки, они сворачивают в сторону северной гряды и, подойдя к ней, движутся потом вдоль отрогов, ища удобного ущелья между горами. Вблизи горы кажутся еще более величественными и грозными, причудливо громоздятся под самые небеса их красные скалы, жестоко иссеченные дождями и ветром, выжженные солнцем, изрубленные обвалами. И все-таки на пятый день они находят то, чего искали: глубокую и узкую долину, которую прорыла в земле и скалах горная река, сейчас намертво пересохшая.

Они идут со странным ощущением, что движутся не по поверхности земли, а проникают в самую глубь гор. Все круче поднимаются склоны по сторонам долины и наконец встают отвесно, это уже не долина, а узкое, точно колодец, ущелье, пробитое в доисторические времена мощным потоком; по стенам ущелья груды скал карабкаются вверх, цепляясь друг за друга; застывают в беспорядочном нагромождении, сорвавшись; нависают над головой, почти касаясь друг друга и образуя внизу тоннель. Здесь прохладнее, и чувствуется влажность; ржаво-желтые лишайники на камнях сменяются зелеными, потом лишайники исчезают и появляется изумрудный мох. В русле реки то и дело блестят озерца холодной, кристально чистой воды.

Сначала они безоглядно радуются воде и блаженной прохладе. Но скоро начинают ощущать невнятную угрозу, — это извивающееся среди гор ущелье излучает холод, оно сурово и враждебно, ему неведома пощада. Горы, где они зимовали, были для них мирным приютом, надежным убежищем, этот же исполинский хребет — неумолимый враг. В синей щели неба над головой они иногда видят крошечных, не больше точки, орлов и грифов: людям в этом краю нет места.

И все-таки она несокрушимо верит:

— Вот одолеем горы, и станет легче. Там будет совсем хорошо, поэтому мы сейчас и должны страдать.

— Ты все время думаешь, что худшее позади, — напоминает он ей. — И каждый раз, как мы порадуемся, становится еще хуже.

— Ну нет, сейчас я твердо уверена. — Она больно ссадила руку о выступ скалы и стала высасывать кровь из ранки. — Когда-нибудь мы приведем сюда наших детей и покажем им это ущелье.

— Тогда нам надо постараться родить обезьян, — смеется он.

— Ничего, мы проложим и замостим широкую дорогу и приедем сюда в фургоне.

— Может, стоит крылья отрастить? На крыльях мы бы гораздо быстрее прилетели.

— Ты забыл, что сказано в Библии? «Если будете иметь веру и не усомнитесь и скажете горе сей „Поднимись и ввергнись в море“ — будет».

— Может, сейчас попробуем? Пусть все, сколько их есть, ввергаются в море и заодно нас довезут до Капстада.

Она смеется, потом вздыхает.

— Насколько было бы легче жить, если бы мы действительно верили, правда? В бога или в

дьявола — какая разница. Тогда можно было бы сказать: «Эту гору поставил у нас на пути дьявол». Или: «Это господь решил нас покарать и послал в наказание гору». Как ты думаешь, — спрашивает она с неожиданной страстностью, — нас в самом деле за что-то наказывают?

— Может быть, за то, что мы бежали из Капстада?

— Но ведь мы возвращаемся. И возвращение искупает вину, правда?

— Что-то не похоже, чтобы нас простили.

— Нет, с верой человеку легче, — вздыхает она. — Смириться бы со своей судьбой, сказать: «Так было господу угодно», или «Так определил нам дьявол» — и все… Да свершится воля твоя. — Она качает головой и умолкает на минуту, потом снова глядит на него. — Но мы должны нести свой крест сами, нам не от кого ждать помощи.

Их странная уединенность среди гор точно вынуждает их говорить о том, от чего на равнине можно было спрятаться.

— Почему же ты все-таки хочешь вернуться? — спрашивает он.

— Ты знаешь не хуже меня. Потому что там лучше, чем здесь.

— Ты никак не хочешь смириться с мыслью,

что рея не существует.

— Зачем мне рай, я просто хочу туда, где нам будет лучше. Иначе я бы ни за что…

— Ну вот, видишь! — Он коротко смеется. — Ты все еще изо всех сил стараешься изменить мир, тебе кажется, что где-то может быть лучше.

— Конечно. Потому что я — человек.

— А может, потому что ты — белая?

— Как тебе не стыдно, Адам, это несправедливо! — Она порывисто протягивает руку к его руке. — Смотри, разве я светлее тебя?

— По-твоему, все сводится к цвету кожи?

Она медленно встает.

— Ты… ты начал сомневаться? Ты думаешь, мы зря возвращаемся?

— А у тебя разве не бывает сомнений?

— Но мы же решили…

— Конечно. — Он кладет руки ей на плечи и легонько сжимает. — Знаешь, я часто просыпаюсь по ночам и начинаю думать о Капстаде и больше уже не могу заснуть.

— Потому что боишься?

— Потому что не знаю, что нас ждет.

— Ты оставишь меня? — спрашивает она спокойно.

— Да разве я могу тебя оставить? Разве может

человек оставить самого себя? Нет уж, мы вместе добьемся избавления. Или вместе отправимся в ад. Но все свершится само собой: теперь мы в своей судьбе не властны.

— Я хочу всегда быть с тобой, — говорит она.

— Правда?

Она стискивает ему руки, трясет его, стараясь убедить насильно.

— Почему ты мне не веришь?

— Я тебе верю. Но мы еще не в Капстаде. Мы здесь, в горах.

Она смотрит вверх, на скалы. Над головой кружит орел. Потом исчезает, не оставив на небе следа, точно его никогда там не было. Она приникает к Адаму в слепом, исступленном порыве и прижимается своей маленькой грудью к его груди, его ладони нежно скользят по ее бедрам к спине, туда, где начинаются выпуклости ягодиц. Ее губы приоткрываются, она издает слабый стон.

— Адам… — шепчет она.

— Зачем ты называешь меня Адамом?

— Это твое имя.

— Мое имя — Аоб.

— Для меня ты Адам. Под этим именем я тебя узнала. Если я стану называть тебя Аоб, это

будешь уже не ты, а кто-то другой — чужой, незнакомый.

— Но ведь это мое настоящее имя.

— Когда ты со мной, во мне, в какой-то миг я вдруг могу сказать тебе «Аоб». Но обычно ты для меня Адам.

— Адамом меня нарек Капстад.

Лицо ее вспыхивает, глаза ярко загораются, и, улыбаясь робкой улыбкой, она подносит влажный палец к его лбу, чуть выше переносицы.

— Ныне я крещу тебя во второй раз, — говорит она, — и даю тебе имя Адам. Теперь этим именем нарекла тебя я.

Ущелье все глубже вгрызается в черную гору, обнажая ее недра в рельефных узорах папоротников и скал, и наконец упирается в стену, с которой низвергается водопад — прозрачная, как кисея, белая струя летит вниз, разбиваясь по пути о скалы и взметая в воздух тончайшую водяную пыль.

Выбраться из этого тупика можно, лишь поднявшись вверх по скользким скалам, которые смыкаются за водопадом.

…Чего я хочу? Хочу чего-то прочного в этом неверном мире, незыблемого в зыбком мире перемен, разве это так много? Я свято верю твоей

лжи. Мы наги, смерть подстерегает нас на каждом шагу, с любого камня мы можем соскользнуть и разбиться. Ложь легка и безопасна: притвориться, что любишь, утешить ненадолго и жить себе дальше без горя и страданий. Заключить сделку: я обязуюсь сделать для тебя то-то, ты для меня — то-то… Капстад в обмен на свободу… однако при этом… и вот Адам Мантоор, столяр-краснодеревец, освобожденный раб, предлагает в Капстаде свои услуги, качество гарантируется… правители — временщики судьбы, они приходят и уходят, но я пребуду — я, ремесленник из Капстада, свободный, всеми уважаемый гражданин колонии, вот моя вольная с печатью губернатора: «Я, Гендрик Свелленгребель, объявляю… в год… от рождества Христова…» И этой иллюзии довольно, чтобы ты вернулся в Капстад? Полно, да можно ли обманываться такой ложью! Я люблю тебя, возьми мою жизнь, я как святыню оберегаю твою… вот моя рука, возьми ее и прыгнем в бездну — будь что будет… Мы разобьемся, но погибнем вместе.

Дюйм за дюймом вверх по гладкой мокрой стене. Спешить нельзя. Лицом к лицу со скалой они замечают в ней трещины, выступы и углубления, которых не разглядишь издали. Вот щель, куда можно просунуть пальцы… крошечный

бугорок, на нем можно утвердить ногу. А теперь подтянем ремнями узлы. Только держись как можно крепче… Водопад обдает их брызгами, они вздрагивают от неожиданного холода. Там, наверху, кружит орел — увидел нас и хочет кинуться? Обычно люди представляют смерть чем-то далеким, отвлеченным. А здесь она рядом, простая и неопровержимо реальная: вот этот скользкий камень, корень, ломающийся в руке, орел, который ждет наверху, водяная пыль в глаза — все это смерть. Ее близость даже вселяет спокойствие: она так несомненна и безусловна, так надежна, так непоколебимо верна.



Они ползут наискосок по гладкой поверхности скалы, пробираясь от трещины к трещине, от уступа к уступу. Крепче держись. Если ты сорвешься, я упаду вместе с тобой. Даже здесь, на высоте, есть жизнь: мелькают крошечные ящерки, птица высиживает в гнезде крапчатые яйца, она не обращает на нас никакого внимания…

— Сумеешь сюда встать?

— Да. Только дай мне руку.

— Держись. Опля!

— Спасибо.

Слова сыплются в пропасть, точно камешки.

Она долго лежит на гребне скалы, вся дрожа и ликуя. Потом лезет за ним дальше по узкой и чуть более пологой стене расщелины к вершине. Вот уже осталось совсем немного, и вдруг за скалами раздается шум. И они в ужасе застывают. Лишь когда наверху послышалось тявканье и понеслось по ущелью, эхом отскакивая от скал, Адам вздыхает с облегчением:

— Обезьяны.

На тревожный клич вожака животные сбегаются со всех сторон, садятся на гребень скалы и наблюдают за поднимающимися путниками. Но вот они наконец успокоились и снова разбредаются в поисках пищи, выворачивают из земли

небольшие камни, под которыми лежат личинки и прячутся скорпионы, рвут с кустов стручки семян и ягоды, собирают гусениц, вылавливают у своих детенышей и друг у друга вшей и блох.

В первый раз за все время, что они идут через горы, у них становится легко на душе, тяжести и угнетенности как не бывало, они чуть ли не радуются обществу обезьян.

— Главное — подняться наверх, ведь спускаться не в пример легче, — говорит Элизабет.

Но они не успевают добраться до вершины, ночь застигает их в пути, приходится искать приюта среди нависших скал, под примостившимися наверху обезьянами.

Едва они принялись за свой ужин — остатки меда, заяц, которого он подстрелил из лука, две маленькие рыбки из реки, что течет внизу, — как над ними разражается адский концерт: душераздирающий крик, вопли ужаса, отчаянное тявканье, летят камни, ударяясь о скалы, брызжут искры, грохочет эхо ударов. Они в страхе вскакивают. Мимо них, не разбирая дороги, несутся врассыпную обезьяны, матери изо всех сил прижимают к себе замаранных детенышей.

Они не сразу соображают, что же произошло. Один из молодых самцов бежит прямо на них

и, чуть не налетев, останавливается, рычит, оскалив свои огромные клыки, потом поворачивается, чтобы бежать прочь, и в этот самый миг из-за выступа мелькает пятнистая тень и кидается на обезьяну. Они так близко, что видят смертный страх в глазах самца, когда он издает бессильный жалкий крик, но леопард уже подмял его и покатился по земле в облаке пыли. Громко хрустнули кости, будто кто-то сломал сук. Рот самца раскрыт, из перекушенной вены на шее хлещет кровь. Миг — и леопард снова скачет вверх по склону, волоча за собой труп, а обезьяны с воплями и верещаньем швыряют в убийцу град камней.

Адам заметил камни вовремя. Он толкает Элизабет за выступ, где они устроились на ночлег, и не позволяет ей оттуда выглядывать, пока не стихает шум. С грохотом летят последние камни, и наконец настает тишина — точно и не раздавалось в горах ни единого звука со дня сотворения мира.

Они выходят из своего убежища, но уже стемнело и почти ничего не видно. Леопард, наверное, перемахнул через ближайшие зубцы скал или залег в кустарнике. Обезьяньей стаи нет и следа, на земле остался лишь желтый кал да лужа крови

в том месте, где леопард загрыз самца.

— Он был так близко, — потрясенно шепчет она, глядя на кровь. — Поднимись мы чуть выше, и он убил бы кого-нибудь из нас.

— Он давно убежал, — успокаивает ее Адам, но она догадывается по его голосу, что и он испуган.

— Как страшно он кричал! Совсем как человек.

— Смерть была очень быстрая, — говорит он коротко и берет ее за руку. — Идем, уже совсем темно.

— Как ты думаешь, леопард вернется?

— Нет. Но все равно нам лучше укрыться.

Он ведет ее в их убежище.

— Ты так и не поела, — говорит он.

Она качает головой.

— Нет, нет, я не могу есть. Потом.

— Пожалуйста, — уговаривает он. — Ты должна подкрепиться. День у нас завтра трудный.

— Завтра обезьяны опять придут на склон кормиться, — говорит она, глядя в сгущающуюся темноту. — Как ты думаешь, они еще будут помнить тот ужас, что сейчас разыгрался? Или они все сразу забывают?

Он пожимает плечами.

Немного погодя она говорит, слегка успокоившись:

— Знаешь, может быть, так даже лучше — сразу. Миг ужаса и боли, и все, конец. Гораздо хуже, чем состариться, как та старуха готтентотка, и умирать медленной смертью в дикобразьей норе.

— Старуху, которая спасла меня после укуса змеи, — говорит он задумчиво, — соплеменники тоже бросили умирать. Но я ее спас. Я прожил возле нее несколько месяцев, мы двигались очень медленно, чтобы она не уставала. И все-таки она умерла, умерла в двух днях пути от новой стоянки ее племени. — Он умолкает надолго, потом говорит все так же отрешенно: — Я заботился о ней, делал все, чего не мог сделать Для своей бабушки. А она все равно умерла. Непостижимо! Я был в таком горе и гневе, никак не мог смириться. И даже похоронив ее, я еще долго думал о ней, надеясь, что хоть своей памятью удержу ее среди живых. Но все оказалось тщетно.

— Она умерла, но ты жив, — с жаром говорит Элизабет. — Мы с тобой живы. И будем жить.

— Как ты думаешь, мы будем вместе и доживем до старости в Капстаде? А потом наступит день…

— Во всяком случае, никто не похоронит нас заживо в дикобразьей норе.

— Разве для человека нет несчастья страшнее? — спрашивает он.

— Такой конец страшнее, чем смерть обезьяны.

— Но ведь мы с тобой не обезьяны.

— Ты точно жалеешь об этом, — пытается пошутить она.

— Может быть, и вправду жалею.

Совсем стемнело. Они ложатся рядом под меховыми каросса́ми.

— Завтра будем на вершине, — сонно говорит она.

Но оказывается, что до вершины еще далеко. Добравшись до верха стены, который они считали пиком, они видят перед собой еще один склон, выше прежнего, за ним другой, третий в бесконечной гряде гор. И все-таки они упорно лезут вверх. Они уже не говорят легко и бодро, что вот завтра, когда они будут по ту сторону… Они просто идут вперед и вперед, неуклонно и сосредоточенно. И наконец спускаются в ущелье, где столетья назад тоже, наверное, текла река, и движутся теперь по его извилинам. Стены ущелья раздвигаются, опускаются все ниже, ниже, и вот однажды перед вечером они огибают последний поворот и видят ярдах в ста внизу бескрайнюю равнину.

Они в молчании глядят на нее, вбирая в себя

глазами спекшуюся мертвую землю, маленькие смерчи белой пыли, которые ветер несет по равнине и вдруг швыряет в белесое небо, прижавшиеся к земле серые кустики, камни, красноватые холмы, похожие на гигантских окаменевших ящериц, огромные голые пространства, мглу, затянувшую горизонт.

Они не смотрят друг на друга, не произносят ни слова. Широко открытыми глазами глядят они перед собой.

Повернуться и уйти нельзя. Обратно пути нет. Надо идти вперед…

— Я выхожу замуж за Эрика Алексиса Ларсона, — объявила она за ужином.

— Ни за что! — вскричала мать. — Это безумие, неслыханное безумие!

— Пусть безумие, я все равно с ним еду.

— Ты отец, Маркус, запрети ей, — приказала Катарина мужу. — Что скажут наши друзья? Женщина отправилась в пустыню!

— А почему бы женщине не отправиться в пустыню? — возмутилась Элизабет. — Почему ей на все наложен запрет? Разве быть женщиной зазорно?

— Я вышла замуж за человека, который лишен честолюбия, — с безмерной горечью сказала

мать. — Похоронила двоих детей, двух сыновей, — ах, будь они живы, все сложилось бы совсем по-другому. Пережила в этой стране столько горя, столько лишений… Но ты, Элизабет, ты выросла в приличной семье, ты так избалована жизнью, все тобой восхищаются, берут с тебя пример.

— Можно подумать, я собралась не в обыкновенное путешествие по пустыне, а в преисподнюю…

Какое счастье дарят руки, как они прекрасны, когда возвращаются из путешествия по стране любви. Элизабет сидит, привалившись спиной к каменистому склону бугра, где они отдыхают в послеполуденной тени, и рассматривает руку Адама, положив ее себе на колени. Ведет мизинцем по линиям ладони — как жалко, что она не умеет гадать по руке. Кстати, что ей там предсказывала цыганка в Амстердаме? Сколько здесь линий, одна из них линия жизни, другая — линия любви, третья — линия судьбы, которая же обрывается так резко? Она с безысходной любовью прижимает его ладонь к губам, готовая заплакать. Любовь и страдание, вот что ей предстоит отныне. На это путешествие нас обрекла судьба, и каждый из нас огромен, как пустыня, в каждом — бесконечность, непостижимость.

Мелкие подробности для тех, кому довольно фактов и улик…

На шкурах в ожидании осмотра разложено содержимое их узлов:

— 2 кароссы;
— 2 фартука;
— 2 бурдюка;
— 3 полых страусиных яйца;
— 1 охотничий нож;
— 1 пистолет и немного пороха;
— 6 стрел в колчане;
— 1 ассагай;
— 2 посоха;
— 1 помятый котел;
— 1 трутница;
— небольшая коллекция морских раковин, некоторые из них разбиты;
— 3 мешочка целебных трав;
— 1 мешочек меда;
— запас клубней, луковиц, корневищ и съедобных листьев;
— 1 платье, сшитое в Капстаде.

— Разве здесь можно выжить?

— Одному — нет. Но вдвоем…

Мы должны, должны выжить в этой стране,

которая ничего не скрывает, — красной, бурой и белой вблизи, изжелта-серой издали, с синеватыми холмами на горизонте. Гранитные глыбы, юркие суслики, похожие на высохший сучок богомолы, черепахи. В небе неизменные грифы, мохнатые пауки среди чахлых низкорослых агав и алоэ, смерчи, чистые белые кости. Невыносимый зной и лютый холод. Через час после восхода солнце выжигает глаза, точно раскалившийся добела уголь, ручьями льет пот, промывая борозды в слое пыли, который покрывает кожу, на землю невозможно ступить, от нее пышет жаром, во рту пересохло, язык распух. Но стоит солнцу зайти, и сразу становится так холодно, что нужно надевать кароссы, и все равно зуб на зуб не попадает.

…Старый бушмен нашел его на высохшем, растрескавшемся дне иссякшей речки, где он умирал от жажды, и, став на колени возле подземного источника, принялся высасывать из-под пыли воду пополам с глиной и выливать ему в рот. Вода, жизнь… А потом бушмен исчез, растворился в дрожащем мареве, в руках лук, колчан со стрелами за спиной. Чудо — из камней и высохшей земли появилась вода, но Адама поразило другое: эту воду дал ему бушмен, презренный кочевник, внушающий ужас враг с луком и стрелами. И

когда потом старуха спасла ему жизнь, разве он мог ее бросить, разве мог не позаботиться о ней, не отвести обратно к людям ее племени?

Под запекшейся коркой на дне пересохшего озера драгоценная соль, они собирают ее в мешочек, теперь будет, чем солить мясо, он показывает ей темные сужающиеся кольца, которые оставила вода.

— Но здесь никакой воды нет, — возражает она. — Глина даже не влажная.

— А вот увидишь.

Он, улыбаясь, берет ассагай и начинает рыть. Полфута, фут, два фута, а земля все такая же сухая и твердая, точно камень… но вот он докопал до более мягкого, рыхлого слоя, и скоро комья становятся влажными. После целого дня неустанных трудов он достает из глубины колодца черепаху-самку с полным брюшком яиц, она опустилась в глубину, надеясь дождаться там сезона дождей. Ну вот, теперь у них есть еда на завтра, может быть, даже удастся растянуть ее и на послезавтра.

Элизабет глядит на Адама: он стоит на коленях и счищает с панциря мясо; прямо против него опускается солнце, истекая кровью, точно растерзанный грифами труп. У Адама такой вид, будто

он молится.

Мы выживем, мы непременно выживем. Все одолеем и вернемся домой. Именно это начертано на твоей руке. Никогда нельзя терять надежду.

В предрассветной темноте они вдруг начинают ощущать, что происходит что-то необычное. Сначала они ничего не слышат, просто чувствуют, что земля едва заметно дрожит, будто от глубинных толчков. Адам садится, потом снова ложится и прижимает ухо к земле. Он делает ей знак рукой, и она тоже начинает слушать. К дрожи постепенно присоединяется гул, пока еще такой слабый, что слуху его не уловить, отзываются на него лишь голова и кости.

— Что это? — спрашивает она.

Адам качает головой. Кажется, он догадался, но уверенности пока нет. На равнине светает. Вдали по-прежнему раскатывается глухой гул.

Когда поднимается солнце, они уже ясно видят на горизонте огромное облако, оно лениво, нехотя ползет с юга и наконец застилает полнеба.

— Дым? — спрашивает она. — Но что же может гореть на этих равнинах?

— Нет, это пыль, — говорит он.

Он снова прикладывает ухо к земле и слушает так долго, что она начала волноваться.

— Что же это все-таки такое? — допытывается она.

— Скорее, — говорит он с неожиданной энергией и вскакивает. — Помоги мне. — Он начинает связывать узлы, его пальцы никак не могут справиться с ремнями.

— Адам, что случилось? — требовательно спрашивает она.

— Газели перекочевывают на другое пастбище.

— Но как же…

— Времени в обрез. Нужно забраться вон на тот бугор.

Завтракать некогда. Они отправляются в путь и идут к узкой каменистой гряде в полумиле от того места, где ночевали под своими кароссами.

Рыжее облако на горизонте неуклонно поднимается; если все время на него глядеть, движения не заметно, но каждый раз, как они оглядываются, они видят, что облако еще больше разбухло, стало еще темнее и гуще. Теперь уже грохот явственно различим, правда, он все еще ровный и глухой, точно гул подземного обвала.

Они поспешно забираются по каменистому склону на самый верх, там Адам кидает на землю свой узел и начинает складывать из валунов стену, массивную, но небольшую, ярда в два-три

длиной и высотой до пояса, и все равно эта работа не из легких, потому что солнце уже палит вовсю и от земли пышет жаром, как от огромной печи. Валуны большие, почти все неподъемно тяжелые, им приходится спускаться чуть не до самого низа в поисках камня поменьше.

Немного погодя под движущимся облаком из края в край сгущается буро-коричневая масса, она катится по саванне, точно лавина мутной воды, медленно, плавно и неотвратимо.

— Неужели это все газели? — в изумлении спрашивает Элизабет.

Он ничего не отвечает, занятый тяжелым камнем, который катит наверх, останавливается на минуту лишь для того, чтобы стряхнуть со лба пот или смочить языком ссадину на ладони.

Да, это действительно газели, теперь она тоже их видит, — гигантское стадо газелей-антидорок, темным нескончаемым потоком медленно затапливающее саванну.

Адам собирает дрова и, по-прежнему ничего ей не объясняя, складывает возле стены, которую возвел, сухие ветки и сучья, куски коры.

И вдруг огромное стадо уже рядом. Животные движутся так размеренно, что издали кажется, будто они сонно и лениво трусят, но вот только

что стадо было еще бог знает как далеко, а через минуту каменную стену захлестнул кипящий водоворот из бежевых с шоколадными подпалинами и белой грудкой тел, они мчатся вперед, сметая все, что встречается им на пути. Прямо перед стеной поток раздваивается, обтекает их убежище и тут же снова сливается в сплошную массу. И все окутывает пыль, мелкая рыжая пыль, она забивается в глаза, в нос, в рот, покрывает волосы и даже ресницы, залепляет самые поры.

Сначала Адам и Элизабет сидят, прижавшись друг к другу под защитой своей стены. Но время идет, а поток рыжих тел все не иссякает, и наконец они, осмелев, встают. До бегущих газелей можно дотронуться рукой — они все равно не заметят, их влажные черные глаза невидяще устремлены вперед, и все они словно в глубочайшем трансе. Теперь, когда это столпотворение уже рядом, в его громе можно различить отдельные звуки — цоканье острых копыт по твердой земле, грохот камней, катящихся с пригорка, фырканье и тонкий пронзительный свист. И неуемной дрожью дрожит земля у них под ногами, точно огромную саванну знобит от солнечного удара.

— Куда же они идут? — спрашивает Элизабет в изумлении.

— Они всегда так переходят на другое пастбище. — Адам глядит на поток, бурлящий вокруг них: ему не видно ни конца ни края. — Может быть, ветер принес запах дождя, и они его учуяли.

Она все смотрит и смотрит на животных, как зачарованная, а он тем временем развязывает узел и достает пистолет. Тщательно выбрав молодого самца, он подпускает его на расстояние ярда, целится, чуть не касаясь дулом его головы, и спускает курок. Животное бьется в агонии, а его собратья даже не пытаются обойти умирающего. Адам, не медля ни минуты, хватает и подтаскивает к себе тушу, иначе ее тут же растоптали бы копытами.

— Разделаешь? — спрашивает он ее после того, как снял с антидорки шкуру.

— А ты?

Он показывает ей на пистолет и снова заряжает.

— Зачем? Нам вполне хватит одной! — возражает она. — В такую жару мясо испортится.

— Возьмем желудочный сок, — коротко говорит он.

Он точно и хладнокровно убивает еще несколько газелей, потом откладывает пистолет в сторону

и начинает поражать животных ассагаем. За оградой лежит уже добрый десяток туш, а живая река все течет и течет.

Элизабет помогает Адаму развести костер. Но бегущие мимо их убежища газели не шарахаются от огня, они попросту его не замечают.

— Если б не стена, они пошли бы прямо на пламя, — объясняет он, наконец разговорившись. — Видел я, как они переправляются через реки. Те, что идут впереди, остановятся на берегу, а задние напирают и сталкивают, сталкивают их в воду, запрудят реку трупами и потом бегут, точно по мосту.

Медленно катятся нескончаемые волны землетрясения, а они жарят на костре мясо и едят. Все это невероятно, абсурдно, Элизабет отказывается верить тому, что происходит. Адам продолжает свежевать туши антидорок и собирает сок из их желудков.

Элизабет зажимает нос, чтобы не слышать теплого тошнотворного запаха.

— Потом спасибо скажешь, — говорит он ей и улыбается.

— Неужели мы не найдем воду?

— Разве газели стали бы переходить с места на место, если бы в той стороне была вода?

— Как, значит…?

Он кивает и продолжает сосредоточенно трудиться.

— Стало быть, впереди и в самом деле будет еще хуже?

— Да. И не только из-за воды. Страшнее другое — они всю саванну размолотили в пыль. Теперь нам не найти в земле никаких клубней и корневищ. Теперь эта страна — пустыня.

Она поднимается во весь рост под стоящим в зените солнцем и смотрит на юг, туда, где на краю движущейся саванны высятся горы. И он знает, о чем она думает: это те самые горы, через которые они пришли сюда.



Весь день мимо них лавиной течет стадо. Их убежище — крошечный островок среди кишащей телами, роящейся долины, где все покрыто рыжей пылью. Адам оставил себе только первого самца, которого он убил, а она разделала, и тщетно старается уберечь мясо от солнца у каменной стены под кароссой. Остальные туши он швыряет в живую лавину, и копыта антидорок втаптывают их в землю. Наконец наступают сумерки. Земля по-прежнему содрогается. Они сидят возле своего маленького костра, прислонившись к стене, и слушают грохот несущейся мимо них ночи. В густой пыли не видно звезд. И лишь перед самым рассветом поток начинает редеть. Газели внезапно нахлынули и так же внезапно исчезли. Гром откатывается все дальше, стихает до глухого, однообразного гула… но вот и гул мало-помалу замер, лишь земля все еще продолжает дрожать. Потом унялась и эта дрожь.

Восходит солнце. Они встают; в глазах у них туман, все тело в пыли, голова раскалывается. Мир вокруг них огромен и пуст, еще более пуст, чем прежде. Над неохватным вельдом висит неподвижное облако пыли; ни ветерка, ни дуновенья в воздухе. Все очертания рельефа стерты, кажется, что даже сами холмы втоптаны в землю.

Исчезли без следа низкорослые кустики, кучи хвороста, груды камней, все ровно и однообразно до самого горизонта, везде только пыль и пыль.

— Ну что ж, идем? — спрашивает он.

Она не отвечает, даже не кивает ему головой.

— Я все время верила, что дальше будет лучше, — говорит она наконец. — Потому и держалась. Изо дня в день я твердила себе: завтра, завтра…

— А сейчас? — сурово спрашивает он.

— Здесь нельзя оставаться, — говорит она.

— Попробуем вернуться? — Он протягивает руку в сторону горной цепи на юге.

— Разве мы сможем снова перебраться на ту сторону?

Он пожимает плечами.

— Тогда идем вперед, — говорит она.

— Даже зная, что впереди будет еще хуже?

Она кивает, стиснув зубы, и поднимает с земли свой узел. И вот они вступают в эту огромную пустоту, ошеломленные, раздавленные. В небе кружат грифы.

Через несколько миль, когда солнце уже палит без пощады и жалости, они видят в пыли чьи-то растоптанные, окровавленные останки, их расклевывают грифы. Обломок черепа, зубы, клочья

шерсти — теперь и не догадаешься, что это был за зверь.

— Лев, — говорит Адам с уважением. — Попался им на пути, бедняга.

— Как, лев? — Она умолкает, слова здесь бессмысленны.

Вот это и есть история, о которой мы говорили, ты помнишь? А ты не хотела мне верить. Ты все еще думала, что историю творит Капстад за всю страну. Теперь ты хоть немного поняла? Поняла, что жизнь продолжается и здесь, в пустыне? Теперь тебе внятны страдания малых сих, внятен бунт терпеливых и кротких?

Ты стоишь возле меня так тихо. В нескольких шагах — грифы. Вокруг нас — никого, ничего. Пыль на тебе спеклась коркой, волосы слиплись в колтун, обугленное лицо в потеках пота, возле губ пролегли страдальческие складки, в воспаленных глазах страх, грудь с почерневшими на солнце сосками обвисла. Человек, обратившийся в прах. И никогда еще я не любил тебя так сильно, как сейчас.

Развалины — лишь еле различимый бугорок на голом склоне среди выжженного, вытоптанного вельда, но они притягивают их к себе как магнит. После трех заброшенных жилищ по другую сто-

рону гор это первые следы человека в пустыне, и привели сюда Адама и Элизабет грифы.

Дом сложен из камней, скрепленных глиной, передняя стена рухнула, балки и стропила крыши сорвал ветер, низкая каменная ограда вокруг двора местами обвалилась, но все еще стоит. Наверное, эта ограда и защитила двор от газелей, им пришлось ее обогнуть. Над домом кружат грифы, двое уже уселись на разоренной крыше, остальные расположились на развалинах забора. Но людей нет. На крыльце лежит разлагающийся труп газели, он-то и приманил стервятников, труп газели и собака.

Сначала кажется, что собака тоже мертва, но вот она приподнимает голову — непомерно большую на тощем туловище с выпирающими ребрами и тонкими как палки ногами, и слабо тявкает на птиц, которые подошли к ней слишком близко. Грифы отлетают и невозмутимо возвращаются к темному, сужающемуся полукольцу терпеливо ждущих товарищей.

Наверное, собака охраняет труп газели с тех самых пор, как здесь прошло стадо, понемножку ест мясо, лижет засохшую кровь. Когда Адам и Элизабет подходят к дому, собака, шатаясь, поднимается на ноги и оскаливает зубы; вокруг

ее ввалившихся глаз и пасти роятся мухи. Она пытается отогнать людей сиплым бессильным лаем, потом начинает тихо скулить, повиливая хвостом. Адам подходит к псу, гладит его исхудавшую голову. Наверное, хозяева ушли, а собаку оставили здесь, но сколько времени она живет одна? И почему она не пошла с людьми? Почему хозяева не увезли с собой мебель, теперь она рассохлась, развалилась, и лежит грудой досок и щепок на глиняном полу. Наверное, дом пустует уже давно. Впрочем, кто знает, солнце и ветер разрушают здесь быстро и без всякой пощады.

Первым долгом надо убрать труп газели. Адам хватает ее за ноги и тащит прочь, собака снова рычит и даже пытается укусить, в полумиле от дома Адам бросает газель, и тут же на нее опускаются грифы. Во дворе собака виновато машет ему хвостом, видно, у нее не осталось сил на злобу. Она, поскуливая, тычется мордой в колени Адаму и трусит за дом, потом возвращается и снова бежит прочь, и, подстрекаемый любопытством, Адам следует за ней. Собака ведет его на задний двор к чахлым колючим кустикам у высохшей канавы, и возле кустиков он видит каменный колодец. Наверное, в дождливые годы его питает ключ. Не переставая скулить, собака пытается

вскочить на каменную стенку колодца, но ноги не держат ее, она падает.

Не веря своим глазам, Адам бросается к колодцу и заглядывает внутрь, но там слишком темно, он ничего не видит. С замиранием сердца кидает он вниз камешек и вдруг слышит тихий всплеск воды. Он связывает вместе все ремни, сколько у них есть, опускает в колодец помятый котел и принимается терпеливо зачерпывать воду. Наконец он достает немного грязной, вонючей жижи. На дне колодца ее совсем немного, видно, там осталась лишь неглубокая лужа, но от этой неожиданной находки слезы сдавливают ему горло. В порыве радости он наливает немного воды для собаки на плоский, с углублением, камень, потом наполняет скорлупу страусиного яйца для Элизабет.

Она спит в кухне, прямо на полу, привалившись к двери. В первый раз с того дня, как они повстречали газелей, им удалось укрыться в тени. Всю эту неделю они были вынуждены нести свои узлы на голове, чтобы защитить себя от солнца; а в полдень даже надевали невыносимо жаркие кароссы, иначе их просто спалило бы дотла. Пили они зловонный желудочный сок газелей, и чтобы Элизабет не рвало, он цедил жидкость через подол ее зеленого шелкового платья. И вдруг

этот неожиданный подарок — колодец и в нем драгоценная влага.

Дрожа от нетерпения, он ставит яйцо на камень и ждет, чтобы муть хоть немного осела, потом бережно, осторожно подносит воду к растрескавшимся, спекшимся губам Элизабет. Она приоткрывает рот во сне, глотает и вдруг садится и со страхом глядит на него, не в силах поверить тому, что случилось.

Не съев ни крошки, но напившись вдосталь, они ложатся и засыпают и спят остаток дня, всю ночь и половину следующего дня, пока их не разбудила собака, которая скулит и тянет зубами за кароссы. После сна они чувствуют себя совсем разбитыми, точно сон взбаламутил осевшую в глубине усталость и теперь грязь потянулась на поверхность бытия.

Сидя на крыльце и глядя невидящими глазами в пустой мир, они с усилием жуют высохшие клубни и коренья, подслащенные каплей меда. Элизабет дает собаке кусок жесткого вонючего вяленого мяса, оставшегося от газели, которую убил Адам.

Все еще не выйдя из оцепенения, с тупой пульсирующей болью в голове, Адам начинает осматривать дом, двор. Обнаружив кости перед

домом возле обвалившейся стены, он принимается раскидывать обломки. Человеческий череп. Кости, целая груда костей. Может быть, тут не один скелет, а несколько? Но стоит ли все их выкапывать?

Она подходит и останавливается рядом, трогает череп ногой.

— Наверное, ветер обрушил на них стену, — говорит она, отвечая на незаданный вопрос. — Или бушмены убили, как ты думаешь?

— Если они погибли неожиданно и не от руки бушменов, может быть, здесь осталось что-нибудь съедобное.

Они с проснувшимся интересом принимаются исследовать развалины, но все, что годилось бы для еды, унесено или уничтожено. Им удается обнаружить лишь скелеты двух маленьких детей. Однако в огороде за домом, возле полуразрушенного каменного забора, они неожиданно находят четыре тыквы, которые пролежали здесь несколько месяцев целые и невредимые под защитой кожуры; несколько сморщенных бататов; высохшие, выбеленные солнцем стручки гороха, но их можно размочить в воде и съесть. Вот и все, но это еда, и даже на долю собаки хватит.

Идет день за днем, а они не трогаются с места,

спят в тени или просто целыми днями лежат без движения, и постепенно начинают чувствовать, что силы по капле возвращаются, но это пробуждает у них не надежду, а лишь слепую покорность судьбе. За спиной у них бесконечность, и бесконечность — впереди. Они устали, безмерно устали. И все же знают, что рано или поздно придется идти дальше.

На боковой стене под уцелевшим карнизом свили гнездо ласточки, и Элизабет с Адамом целыми днями бездумно наблюдают, как птицы вьются возле своего гнезда, улетают, возвращаются с жуками и гусеницами, слушают, как пищат птенчики. Адам все время подавляет в себе желание ограбить гнездо, он понимает, что тут нужно ждать до последнего: это будет решающий шаг, они сделают его перед тем, как отправиться в путь дальше. Он каждый день говорит себе: «Завтра, завтра…», мечтая о супе, но страшась решения, которое придется принять. И вот наконец он чувствует: пора, больше нельзя откладывать. Вечером, когда родители вернулись в гнездо ночевать, он складывает возле стены камни и доски, залезает на них и одну за другой вынимает ласточек из гнезда. Сжав хрупкую шейку двумя пальцами, он делает небольшое резкое движение

рукой — все, этого довольно.

Элизабет уносит птичек в дом, варит суп и наполняет им все сосуды какие у них есть. Обжигаясь, они съедают по небольшой порции этого изумительного блюда, дают немного псу и кидают ему тонкие обглоданные косточки. Они сидят на крыльце, стараясь растянуть наслаждение до бесконечности, и оба думают, хотя не произносят вслух ни слова, что вот и еще один этап в их жизни кончился. Тайная глубинная страсть, что гонит их вперед, не потеряла своей силы.

Она вспоминает первый заброшенный дом, который встретился им на пути к морю: там произошел перелом. Вспоминает, как она варила обед на очаге и ждала Адама целый день, а он вернулся только на закате; вспоминает, как дикие собаки гнались за зеброй и рвали ее на куски, как вдруг из-за деревьев показался Адам с тушей антилопы за спиной. Он вернулся, он пришел к ней.

— Нельзя больше оставаться здесь, — сказала она в тот вечер. И сейчас она опять говорит: — Засиделись мы здесь. Пора, завтра утром в путь.

Со своим скудным запасом провизии выходят они до восхода солнца в прохладный обнаженный мир.

За ними трусит тощий, весь в коросте, пес с непомерно большой головой.

Адам оборачивается и хочет пнуть его ногой. Пес останавливается, опускает уши, поджимает хвост; но как только они трогаются дальше, опять бежит за ними, правда, уже поодаль.

Адам подбирает с земли камешек. Пес взвизгивает и кидается прочь. Но стоило им отвернуться, и он сейчас же возвращается.

— Зачем ты его гонишь? Пусть идет с нами, — говорит Элизабет. — Он показал тебе колодец, спас нам жизнь.

— Нам нечем его кормить.

— Но он не может один, он без нас погибнет.

— А с нами он сдохнет от голода, — резко говорит Адам.

— Может быть, он будет помогать нам в поисках еды.

— Он старый, хромой, какой от него толк?

— Тогда я буду отдавать ему часть своей доли.

— Только этого недоставало!

Он в ярости глядит на нее, руки чешутся схватить копье и метнуть в худую, как скелет, собаку. Но Элизабет почувствовала, что грозит животному, и быстро заслоняет его собой. Ни он, ни она не произносят ни слова, оба чувствуют, что от

исхода спора зависит что-то очень важное. Он опускает глаза, не выдержав ее упорного взгляда, и смиряется, хотя не в состоянии ее понять: с этим паршивым псом ее связывают какие-то особые узы, и ради нее, ради их любви он не должен на него покушаться. Молча, смущенный и сердитый, он поворачивается и идет большими шагами вперед, она его догоняет. Следом трусит пес. Поодаль.

В ветхой лачуге, сколоченной из обломков кораблей, которые не сумели войти в залив и разбились о скалы или сели на мель, старый Ролофф без отдыха трудился над своими картами. Косматая седая грива, глаза в глубоких впадинах, слезящиеся и воспаленные от работы по ночам при лампе, беззубый рот — два зуба наверху, один внизу, скрюченные, в ревматических шишках руки, похожие на когти грифа. Манжеты на рубашке обтрепались, штаны у колен обрезаны вкривь и вкось, ни чулок, ни башмаков, мышцы голых икр выпирают — это бросилось Элизабет в глаза, когда он вел их в свою темную лачугу. Он жил в ней со старухой готтентоткой, которая ловила в море рыбу и стряпала ему еду и спала в его постели на полу, а он день и ночь просиживал над картами. Ролофф то вспоминал Германию, откуда

уехал еще в молодости, то принимался рассказывать, как плавал матросом на судах Голландской Ост-Индской компании, вдруг подмигнув Элизабет, заводил речь о женщинах из портов, о море, светящемся по ночам в тропических широтах, о зловонных трюмах, потом перескакивал на зверскую охоту за рабами на Мадагаскаре и на побережье Гвинеи, описывал далекое путешествие во внутренние районы Капской колонии, которое он совершил двенадцать лет назад и даже дошел до земли кафров, что лежит за Грейт-Фиш.

— Aber zur sache[18], герр Ларсон, и вот тогда-то, вернувшись из долгих странствий, я начертил свою карту и изобразил на ней всю страну, ни одной реки не пропустил, ни одной возвышенности, vollständig[19]. Вы, надо думать, слышали о карте Кольба? Так вот, забудьте о ней и никогда не вспоминайте. Кольб с утра до ночи сидел в капстадских тавернах и пил не просыхая; он в жизни не бывал дальше Стелленбоса. Чудовище, настоящее чудовище, помните Апокалипсис — зверь с семью головами и десятью рогами и с устами, говорящими богохульно. А карты нарисо-

---

[18] Примечания: 18
Но перейдем к делу *(нем.)*.

[19] Примечания: 19
Ни единой *(нем.)*.

вали его собутыльники, и все небылицы, что он написал, они же ему рассказали. Schändlich![20] Что касается аббата Де ла Кея, — verflixt![21] Не хочу отзываться дурно о служителе господа, но, когда глядишь на его карту, каждый раз думаешь: «Занимались бы вы, сударь, своими небесами, они вам наверняка лучше знакомы, чем Капстад». Нет, glauben Sie mir[22], единственная правильная и надежная карта этой страны — моя. Я отнес ее губернатору с изъявлениями нижайшего почтения в надежде, что мой труд обеспечит мне старость. Gott in Himmel![23] И вот вызывает меня секретарь Совета. Заберите свою карту, говорит он, и не вздумайте кому-нибудь ее показать или снять копию, — сразу же в каторгу, на тридцать лет, так повелел Seine Exzellenz[24]. Sehen Sie mal,

---

[20] Примечания: 20
Позор! *(нем.).*

[21] Примечания: 21
Здесь: он не достоин даже того, чтобы о нем говорили! *(нем.).*

[22] Примечания: 22
Уж поверьте мне *(нем.).*

[23] Примечания: 23
Боже милосердный! *(нем.).*

[24] Примечания: 24
Его превосходительство *(нем.).*

herr Larsson[25]. С того дня я заперся здесь и начал делать со своей карты копии. Was sonst[26], пусть даже все их развеет ветер. Überzeugen Sie sich[27], весь этот дом полон карт, но ни одна живая душа не должна их видеть. Может быть, когда я умру и старая Ева меня похоронит тут же, на берегу, мой домишко наконец развалится и ветер разнесет карты weit und breit[28], и какой-нибудь путник случайно найдет одну из них и наконец увидит, какова она — эта страна. Как можно сидеть, укрывшись за горами, и не стремиться узнать, а что там, по ту сторону? Но вы должны простить меня, герр Ларсон, и вы, liebe schöne Frau![29] — вам я не могу их дать. Вдруг Совет узнает? Меня немедленно сошлют на остров Роббен dreissig Jahre[30]. Нет, лучше набраться терпения и ждать.

---

[25] Примечания: 25
Вот так-то, герр Ларсон *(нем.)*.

[26] Примечания: 26
Здесь: что с того *(нем.)*.

[27] Примечания: 27
Извольте убедиться *(нем.)*.

[28] Примечания: 28
Во все стороны *(нем.)*.

[29] Примечания: 29
Милая и прекрасная фрау! *(нем.)*.

[30] Примечания: 30
На тридцать лет *(нем.)*.

Мне уж недолго осталось, я хочу умереть с миром. Так что если вас интересует эта страна, идите и поглядите на нее своими глазами, а я вам ничем помочь не могу. Составьте свою собственную карту. Может быть, к вам губернатор отнесется милостиво. Aber nehmen Sie sich in Acht[31], люди, которые живут здесь, боятся своей собственной страны, они предпочитают не знать, какова она. Чего не видел, то и не существует… das verstehen Si doch, ja?[32]

Без карты по бескрайним просторам, к все удаляющемуся горизонту, не зная даже, в том ли направлении они идут, — просто за солнцем, на закат, в надежде найти гнездо птицы-феникса, куда она снесла золотые яйца… но разве кому-то из людей удалось их найти? Когда нет в пути ориентиров, ты даже не можешь измерить, много ли прошел или мало. О том, что ты вообще идешь, можно судить лишь по накапливающейся усталости в ногах, по тяжести, которой наливаются руки, по боли в животе, которая проникает все глубже, все теснее опутывает внутренности своими тонкими длинными щупальцами, ни на

---

[31] Примечания: 31
Но учтите *(нем.)*.

[32] Примечания: 32
Вы ведь меня понимаете? *(нем.)*.

миг не ослабляя злобной хватки. Единственно, что тебе остается, это идти вперед, бездумно, как автомат, вопреки голоду и жажде, вопреки самой себе, покорствуя неукротимой воле, которая одна лишь и гонит тебя вперед: насколько легче было бы лечь и никогда больше не встать.

Раньше она лишь наблюдала жизнь. Теперь страдает. По стране истины легче идти, чем понять ее и объяснить.

Он, она и с ними худая, как скелет, собака.

Иногда им встречаются полузасыпанные песком кости мертвых животных.

— Может быть, и мы с тобой будем здесь лежать вот так же. Как ты думаешь, тогда земля простит нас?

— Не надо об этом думать, — сурово обрывает ее он. — Думай лучше о Капстаде.

Она обреченно качает головой.

— Нет, я забыла Капстад. Забыла и не могу вспомнить. Порой мне кажется, что я его просто выдумала, и в мире есть только эта пустыня. И я не знаю, долго ли еще у меня хватит сил по ней идти.

— Мы *должны* дойти до конца.

— Знаю, должны. И я стараюсь. Но разве это в силах человеческих — дойти? — Она глядит на

него. Глаза ее глубоко ввалились. Она пытается слизнуть запекшуюся на губах кровь, но к трещинам невозможно притронуться. Она с трудом удерживает на лице Адама туманящийся взгляд. Ее ребра выпирают наружу, их можно пересчитать, кости таза торчат, ноги и руки как палки, суставы кажутся огромными.

— Да, это в человеческих силах, — говорит он. Он так же худ, как она, и стал еще чернее от солнца. — Мы дойдем, поверь мне.

За ними ковыляет хромой пес. Элизабет заметила, что Адам тайком подкармливает его, думая, что она не видит. И щадя больные лапы животного, он сократил их переходы, а в самую невыносимую жару они отдыхают под тентом из каросс, накинутых на палки.

Еще до того, как они покинули опустошенную газелями долину, собака вернулась однажды после своего тайного набега на окрестные холмы с сусликом в зубах, положила его к ногам Адама и, глядя в глаза, тихонько завиляла хвостом. Элизабет была так растрогана, что отвернулась, не желая показать Адаму свои слезы. Адам в волнении опустился на колени и погладил пса по голове. Потом снял шкуру с крошечного зверька и стал жарить, а собака сидела с ним рядом, тяжело

дыша, и наблюдала.

С тех пор пес начал приносить им пойманную добычу: сусликов, черепах, однажды даже принес птицу-секретаря. А после того, как они покинули истоптанную в прах долину, он стал промышлять охотой постоянно. Без пса им было бы не выжить, и странно: он еще крепче связал их друг с другом.

Теперь Адам снова отыскивал и выкапывал из земли коренья и водоносные клубни, им начали встречаться кактусы, агавы и алоэ со съедобными листьями, они собирали яйца термитов и их личинки, смолу с кустов терновника, попадались дурманные ягоды, от которых кружилась голова. На рассвете они иногда пили росу с широких плоских листьев вельвичий или снимали скопившиеся за ночь сверкающие капли с паутины тарантулов. Но и влаги, и еды было мало, мизерно мало, довольно лишь для того, чтобы не умереть от жажды и от голода. Они все больше худели, с каждым шагом идти было все труднее; каждый день смерть давала им нищенскую отсрочку, еще на один день отодвигала горизонт. Элизабет начала думать, что такое существование хуже, чем в совершенной пустоте пустыни. Там по крайней мере смиряешься, что смерть неизбежна, что

горькое освобождение близится. Здесь у тебя ни в чем нет уверенности. Жизнь подвешена на волоске, и смерть бесконечно откладывается, бесконечно отодвигается. Без надежды на избавление ты бредешь точно заведенная по жесткой, раскаленной добела земле, стремясь дойти до горизонта, а горизонт упорно удаляется, но не в твоей власти остановиться, не в твоей власти оборвать странствие. Кончится ли это странствие возле того горизонта, что ты видишь? Ты без конца задаешь себе этот вопрос, это самое большее, что тебе доступно, самое дерзкое, на что отваживается твоя надежда.

И вот однажды Элизабет кажется, что уже ничто не спасет их от смерти. Два дня назад они съели последние крохи своих запасов и с тех пор им не встретилось ни съедобного листика, ни капли воды, бескрайний вельд мертв. Как только восходит солнце, они останавливаются. Адам укрепляет в камнях две палки и накидывает на них кароссы — под этим крошечным тентом они будут ждать вечера. Он садится у самого края. Она ложится в тени и закрывает глаза. Она не произносит ни слова, боясь, что он начнет ее разубеждать. Она легла, спокойно и твердо решив, что больше не встанет. С нее довольно. Человеку кажется, что

он может идти и идти без конца, но наступает день, когда он должен остановиться. Для нее этот день пришел. Она слышит вдали лай собаки, но мысли ее не задерживаются на этих звуках. Потом вдруг до ее сознания доходит, что Адам что-то ей говорит и показывает добычу, принесенную собакой, а она тупо, в изумлении глядит на него. Оказывается, собака принесла змею. Элизабет качает головой, не в силах вникнуть в смысл его слов. Наконец сосредоточивается и слышит:

— Ее можно есть. У змей только голова ядовитая.

Она опять качает головой.

— Не надо.

— Обыкновенное мясо, как у всех животных.

— Это грех. — На нее вдруг нападает безудержный необъяснимый смех — какую чушь она сейчас сболтнула! И только через несколько минут она осознает, что уже не смеется больше, а плачет, и сухие рыдания рвут ей горло.

Адам разрезает змею на мелкие кусочки и быстро жарит их прямо в пламени разожженного им костра так, чтобы только кровь свернулась. Но Элизабет отказывается попробовать змею.

— Пожалуйста, — просит он.

— Не хочу.

— Съешь, иначе ты умрешь.

— Я и хочу умереть. Не мешай мне.

— Элизабет… — Он с трудом поднимает ее, прижимает к своей исхудавшей груди. — Не надо так говорить. Съешь. Это еда.

— Не могу.

Он разжимает ей рот, точно ребенку, которому надо дать лекарство, — сначала она противится, потом уступает, не в силах продолжать борьбу, — и всовывает маленький кусочек.

— Съешь. Любимая…

Она по-прежнему качает головой и все-таки жует, крепко зажмурив глаза. Потом глотает.

— Ну вот и хорошо, — говорит он. — Умница. Теперь еще немножко.

Она не успевает возразить, — ее вдруг вырвало. Она извергла съеденное мясо, уже горькое от ее желчи.

— Ничего, давай попробуем еще раз.

И снова ее желудок отказывается принять змею, и еще долго сухие спазмы выворачивают его наизнанку, как в тот день, когда они нашли труп Ларсона, только сейчас боль еще острее, потому что все внутри нее пусто, кроме нескольких крох мяса нет ничего. Она даже не может плакать, так она измучена и опустошена.

Ну вот, значит, это все-таки конец, думает она, избавление, и ее растрескавшиеся, с присохшей слизью губы раздвигает слабая улыбка.

И вдруг, когда она уже совсем смирилась, приходит невыразимая печаль, она так огромна, что вытеснила слезы.

— Я умираю, — шепчет она, — но я так и не поняла главного, зачем я родилась на свет и жила.

Адам ложится с ней рядом и обнимает ее.

— Помнишь, — тихо спрашивает он, — помнишь, как ты просила меня рассказать о море, и я отвел тебя на скалистый островок?

— Помню. Рыбки, водоросли, актинии, крабы в прозрачной воде, красный осьминог… да, да, я помню. Море разбивалось о скалы и окружало нас со всех сторон… Как же его почувствуешь, если нет опасности? Ты распластал меня на белом песке и силой в меня вторгся, вокруг было море, и в тот миг, когда ты извергнул свое семя, нас чуть не захлестнули волны, а ночью прибой погреб остров под толщей воды. Да, я все помню.

— Помнишь, как мы сидели на бугре и слушали грохот земли под ногами бегущих газелей? Глаза животных были невидяще устремлены вперед, они даже растоптали льва, который попался им на пути; смерть была близка и прекрасна. Если ты

все это помнишь, тебе сейчас будет легче. Лежи и не двигайся. Сейчас ты услышишь голос земли. Но слушай его не ушами. Слушай внутренним слухом.

— Ты ляжешь на меня, как раньше? — шепчет она.

— Если ты хочешь.

— Не оставляй меня.

Он осторожно приподнимается и закрывает ее своим телом.

Сейчас они не движутся и лежат совсем тихо, только ее руки нежно скользят по старым шрамам на его спине и ягодицах, точно вопрошая.

Она слышит его дыхание возле своей щеки. В ушах гудит ток ее собственной крови. Ей кажется, что она засыпает, но это не сон. Она словно оставила свое тело и поднялась высоко в небо, как гриф, и глядит оттуда на клочок тени среди равнины, где лежат она и Адам. Звуки, которые раздавались вблизи, отступают, гаснут. За стрекотаньем цикад встает что-то огромное, грозное — это само безмолвие, воплотившееся в земле, в холмах и в прорытых ветром оврагах, в вырванных им из земли кустах.

Порой мне кажется, что я увидела тебя во сне. Ты лежишь на песке, точно выброшенная

волнами морская звезда, — образ, рожденный водой: на спине у тебя поблескивают песчинки, в полуразжатой руке раковина, хранящая свою неразрешимую тайну, рядом мерно дышит грудь твоей матери — морской стихии. Твои ноги слегка вздрагивают, как стебли бамбука, что растет возле водоема. Я хочу ласкать тебя, сначала застенчиво, нежно, потом со страстью, неистово. Ты просыпаешься во мне… я растворяюсь в зеленых волнах моря. В голове чудесная легкость, все кружится, кружится, ты втягиваешь меня в себя, и я плыву, отдавшись течению, в немом восторге перед подводной красотой… Я не знаю, где кончаешься ты и где начинаюсь я, мы — одно существо, меня колышет безбрежный океан. И вот я исчезаю, улетучиваюсь, как морская пена, как брызги воды, как туман, и собираюсь наверху в маленькое облако, оно растет, становится огромным и наконец проливается дождем.

Ты не даешь мне умереть, ты прикрываешь меня своим телом от грифов. Безмолвие пронизывает меня и оглушает. Оно было здесь до того, как мы пришли, оно пребудет и потом, когда наши следы исчезнут. Да, я все помню. И я знаю: весь мир сошелся воедино в ничтожной капле бытия, которая заключена во мне, не будь меня, земля

бы даже не узнала, что она существует, я слышу это в голосе безмолвия. Благодарю тебя. Во имя этой памяти мне должно идти с тобой до конца. Не я ли сказала, что круг должен замкнуться? Все приобретает смысл или становится бессмысленным только во мне, в моем сознании. И решать буду я. Ты предоставил мне эту меру свободы. Ты хочешь, чтобы я постигла страдание и не позволила ему себя погубить.

Страдание… Оно — как небо, по которому летит птица. И только редко, иногда, ей позволяют сесть на ветку или на раскаленный камень и отдохнуть, но этот отдых — миг, мгновенье на ветру.

Ты со мною. Я прикасаюсь к тебе, как в тот день на скалах среди моря, как в ту ночь, когда ты мне сказал: «Приди ко мне обнаженной». Только на миг. Всегда это только лишь миг. Может быть, только миг мы и в силах выдержать. Я помню… Я постараюсь встать и идти дальше. Эти страшные просторы вокруг нас рождают тишину, которая дарит нам редкие мгновенья счастья, когда мы осмеливаемся признать, что мы искали друг друга всю жизнь и наконец нашли, что мы с тобой — одно целое.

Она поднимает голову — когда он успел отодвинуться от нее и сесть у края тени? — и вдруг

видит на самом горизонте, под зубчатой линией каменных холмов длинное сверкающее озеро, и сразу же понимает, что и Адам глядит на него. Она не верит своим глазам. Почему ни он, ни она не заметили озера раньше? Впрочем, что же тут удивительного, ведь они еле двигались от изнеможения, до того ли им было, чтобы разглядывать окрестности? А по дороге они глядели только себе под ноги, может быть, ярда на два-три вперед, не больше: ведь глазам трудно вынести это постоянное единоборство с горизонтом, ведь чем дальше ты идешь, тем глубже смиряешься. Она была слишком измучена и вообще ничего не замечала, а он думал только о том, чтобы помочь ей. Но озеро все время было здесь, его так ясно видно. Оно блестит, точно огромное зеркало, вокруг — деревья и зеленые холмы, дома, люди. Значит, она все-таки была права, что надо перейти горы: впереди лежит земля обетованная. Как они могли так быстро потерять веру? Теперь им стыдно самих себя.

Она подползает к Адаму и трогает его рукой.

— Ты видишь? — без нужды говорит она.

— Неужто это правда?

— Да ты смотри, смотри лучше! — Ее душит волнение. — Скорее собирайся, идем.

— Может, лучше подождать, пока жара спадет?

— Не бойся, я дойду, — страстно убеждает она. — Чем скорей мы тронемся в путь, тем скорей будем там. — Она начинает связывать свой узел. — Как ты думаешь, это далеко?

— Трудно сказать, эти равнины обманчивы. Наверное, к закату будем у озера.

Пес лижет свои израненные лапы. Он съел почти все, что осталось от змеи.

— Идем же, — говорит она.

— Нельзя спешить, — предупреждает он. — Сил у тебя мало, а подкрепить их нечем.

— Ах, там будет вдоволь и воды, и пищи!

Она смеется от счастья, но горло перехватывает рыдание.

Только бы дойти до воды, броситься в нее, погрузиться, нырнуть с головой, смыть с себя грязь, почувствовать, что тело стало чистым, влажным и прохладным, пить, пить без конца, пока не напьешься, жить!

Адам то и дело удерживает ее, потому что она рвется к оазису. Идти им еще далеко, а зной стоит непереносимый. Нужно беречь силы, она не понимает, как много их потребуется.

Но на все его увещевания она лишь машет рукой — вперед, смотри, там вода, разве ты не

видишь? Мы устанем, измучимся — пусть! Зато скорее придем к озеру и будем жить там долго, сколько захочется, окрепнем, восстановим силы. А дальше уже будет совсем легко, увидишь. Все самое страшное позади. Ты не дал, не позволил мне умереть, мы выжили.

Он первый начинает прозревать, но у него не хватает духу сказать ей. Сквозь заливающий глаза горячий пот он видит, как сверкает и плавится на солнце озеро, колышутся зеленые деревья, ходят возле хижин люди. Почему подозрение не мелькнуло у него раньше, пока они еще не отправились в путь? Но ведь так хочется верить, и вера нуждается в подкреплении, иначе не дойдешь.

Она шагает чуть впереди, из последних сил волоча исхудавшие ноги. Он слышит ее трудное, со свистом дыхание. Он хочет окликнуть ее, но из горла вырывается лишь сдавленный шепот. Собака тащится за ними, добежит до чахлого кустика и ляжет в жалкой тени веток, сухих и голых, как колючки дикобраза, чтобы дать на минуту отдых израненным лапам, потом снова на солнце и бегом до следующего кустика.

Ему хочется плакать, хочется разразиться проклятьями. В первый раз за все время, что они вместе, его охватывает настоящее отчаяние.

Наконец, уже вечером, она останавливается, ее качает из стороны в сторону, она вся черная от грязи, по телу струится пот.

— Еще… еще очень далеко? — спрашивает она, и кажется, что слова эти с кровью вырываются у нее из горла.

Он отворачивается.

— Ты что, Адам? — спрашивает она. — Я спросила тебя, долго ли нам еще идти?

— Мы никогда туда не придем, — отвечает он, не смея поднять на нее глаза.

— Что за глупости! Кто нам помешает?

— Озеро просто не существует.

Она протягивает худую руку в сторону воды, потом роняет и стоит, застыв, лишь тяжело вздымаются обтянутые кожей ребра.

— Не может быть, Адам, неправда!

— Нет, правда. Это мираж.

— Раз уж нам остается только одно — умереть, — с усилием говорит она, — почему мы не можем умереть быстро, как та несчастная обезьяна в горах? Почему должны бесконечно мучиться?

Адам пытается ее утешить:

— Мы не умрем.

— Нет, я не хочу больше жить. Я так устала.

Довольно, конец.

— Сегодня утром ты тоже хотела умереть. И все-таки ты встала и пошла.

— Потому что мы увидели озеро. — Она садится на раскаленную землю.

— Вон пригорок, — говорит он. — Идем туда, там удобней ночевать.

— Нет, я хочу остаться здесь, — упрямо говорит она.

Он берет ее за руку, чтобы помочь ей встать, но она сердито отталкивает его и разражается рыданиями. Ей трудно плакать, в груди и в горле сухо, в глазах нет слез, но она сжимается в комочек и плачет, содрогаясь всем телом.

— Это совсем недалеко, — говорит он умоляюще.

— Иди один! — задыхаясь, хрипит она. — Вернешься в Капстад, скажи им… — Она умолкает. Потом стихают и ее рыдания.

Он развязывает их багаж, но ему нечем накормить ее, нет ни листика, ни сморщенного клубня, ничего. Его охватывает искушение обнять ее, лечь рядом с ней на землю и больше не шевелиться, не накрываться даже кароссами, встретить нагими ночной холод и завтрашнее солнце. Но он гонит искушение именно потому, что уж очень

оно велико. Укрепив палки в небольших кучках камней, он накидывает на них кароссу, потом разводит костер и садится возле огня наблюдать, как темнеет мир. Напротив него лежит, часто дыша, собака. Элизабет ни разу не шевельнулась.

Вдали тявкают и хохочут шакалы. Раз есть шакалы, вяло думает он, значит, где-то должна быть добыча. Зайцы, газель, антилопа. Луна поднимается. Сжав зубы, с трудом преодолевая боль, Адам встает. Все тело сводят судороги, грудь горит.

Он накрывает Элизабет второй кароссой.

— Лежи, — говорит он. — Я попытаюсь раздобыть еды.

— Здесь нет ничего.

— Что-нибудь разыщу. Обещаю тебе.

Она качает головой.

— Собаку я оставлю с тобой, — говорит он. — И копье кладу рядом. Не знаю, когда я вернусь. Может быть, завтра, может быть, послезавтра. Но я непременно вернусь. Ты слышишь меня, Элизабет? Я вернусь и принесу тебе еды.

— Не уходи, — шепчет она.

— Нельзя. Это наша последняя надежда.

Встав на колени, он завертывает ее в кароссу, целует. На их губах нет влаги, они — как высохшие стручки, лишь царапают кожу.

Она провожает его глазами, пытаясь вспомнить, что же он ей сказал, распутать свои мысли. Значит, он ушел в Капстад? Передай поклон отцу и матери. Скажи им… Что это, поблизости вода и люди? Река разлилась, наводнение. Вола нет, я загнала его в реку, а он попал в водоворот… Здесь камни, не оступись… Не убивай детеныша газели, он увидел меня у ручья, я купалась… он доверяет нам, он пришел к нам искать защиты. В горах идет снег, ты чувствуешь, как холодно?

Откуда здесь собака? Значит, она не умерла? Я думала, ее ужалила змея. А старуха готтентотка высосала яд, но и она потом умерла, и ее тоже похоронили в дикобразьей норе. В моем платье. Она посмела рыться в моих вещах, украла платье и не сообразила, как его надеть, привязала к поясу, а старые иссохшие груди висят поверх, как мешки. Здесь люди не ведают стыда, они прикрывают тело лишь для того, чтоб защитить от грифов. Но рано или поздно грифы раскидают камни и вытащат его труп… Избавиться бы от всего ненужного, стать чистой и ясной, как высушенный солнцем скелет, как очищенный от ракушек камень. Бегут чередой мои дни, раскачивается под потолком медная лампа… мы меняем туалеты по три раза в день, принеси мне воды… Как,

ты посмел ослушаться? Я привыкла, что мои приказания выполняют беспрекословно… Никогда не доверяй рабу, дитя мое… Ты в рабыне видишь лишь женщину, а в женщине лишь рабыню… Я пришла сообщить вам: я выхожу замуж… Не в преисподнюю же я собралась, всего лишь в путешествие по пустыне… Мы будем идти по стране и составлять свою собственную карту. Sehen Sie mal, я день и ночь снимаю копии со своей карты. Aber nehmen Sie sich in Acht, люди здесь боятся своей собственной страны… Ветер разнесет по земле мои карты, и вот когда-нибудь одну из них найдет случайный путник…

Они вихрем несутся мимо нас, ничего не видя, глаза их слепо устремлены вперед: они все еще верят в землю обетованную.

Смотри — я не боюсь. Я просто устала. А он может идти без меня, я не знаю, куда он пойдет, но он не погибнет, будет кружить и кружить по одним и тем же тропам, точно по берегу острова…

Наверно, Элизабет задремала, потому что, открыв глаза, она видит, что луна передвинулась к дальнему краю их тента. Все еще тявкают шакалы, но сейчас они очень далеко. Собаки возле нее нет. Бедные детишки, лежат мертвые под обломками стены. Неужто их в самом деле убили

бушмены? Ради десятка коров и овец погубить столько народу, разрушить ферму — какая бессмыслица!

Вот я лежу здесь. Убей и меня. Пошли еще одно стадо газелей, пусть они втопчут меня в землю. Положи рядом моих детей, все эти крошечные скелеты. Человек рождается в таких мучениях, человек способен вынести любые испытания…

Она с трудом садится и смотрит на сереющее небо. Адама все еще нет. В тот день, когда река унесла их вола, она тоже хотела броситься в омут и умереть, ей казалось, что она больше не выдержит. Смешно! Сегодня у нее есть право желать смерти, и, однако, она пальцем не шевельнет, чтобы ее приблизить. Как странно: чем глубже мы погружаемся в отчаяние, тем упорнее противимся тому единственному, что только и способно прервать наши муки.

Я устала, устала. Я не хочу жить и все-таки живу. Разве я могу позволить ему всю ночь бродить по пустыне в поисках еды для меня, может быть, даже несколько ночей, и, вернувшись, найти меня мертвой? Это ты не даешь мне погибнуть, одной бы мне не выжить.

Если у кого и было право покончить с жизнью, так это у тебя, когда твой хозяин приказал тебе

сечь твою родную мать. Но ты не совершил самоубийства. Ты день за днем смотрел на гордую свободную вершину за морем и все-таки не сошел с ума и не погиб. Ты вытерпел два года жизни на этом проклятом острове…

…В ту ночь я забрался на свой утлый плот и поплыл, и вода зажурчала под моими веслами. Это журчанье врезалось мне в память сильнее, чем рев волн и треск ломающихся досок: в нем я наконец-то услыхал тайный, сокровенный голос свободы. И всякий раз, как я заново переживаю день, когда меня наказывали перед Дворцом на площади, я вспоминаю не кандалы и цепи, не плеть из девяти ремней гиппопотамовой кожи, не глумящуюся толпу, а чаек над головой. Я слышу их пронзительные крики и вижу, как они парят в потоках ветра. И даже сейчас, стоит моим мыслям унестись прочь от этой мертвой, безводной долины, я неизменно слышу чаек; а ночью, когда я засыпаю, в моих ушах звучит журчанье воды под веслами.

Сегодня мы не нашли воды, мы видели мираж. Переживет ли она эту ночь? Видно, у нее иссякла воля к жизни. Я непременно должен принести ей что-нибудь поесть и вдохнуть в нее жизнь, змея, черепаха, дикий арбуз здесь не помогут. Может

быть, попробовать просить о помощи, молиться? Но кому? Аллаху, о котором мне рассказывала бабушка, Хейтси-Эйбибу моей матери, Иисусу Христу? Нет, я могу надеяться лишь на себя в этом мире, где есть только камни и цепкие корни, холмы, звезды, луна.

Он упрямо идет на лай шакалов. Один, в прохладе лунной ночи, он шагает очень быстро. В груди ширятся восторг и боль, оттого что он сейчас совсем один среди этих просторов, ему кажется, что в темноте границы мира отодвинулись еще дальше, все стало еще более непреложным и совершенным, черные тени обрели вещественность, как камни и кусты. И в то же время мир сейчас не такой жестокий, как днем. Он не стал добрым, о нет, но исчезла его враждебность, он ближе, доступнее.

Невозможно понять, шакалы ли бегают вокруг него, то приближаясь, то отходя в сторону, или просто звукам нельзя доверять на открытой равнине, но Адам всю ночь ходит и ходит кругами и настигает хищников лишь на рассвете. Он понимает, что преследование может оказаться таким же бесплодным, как погоня за миражем: да, шакалы лают, ну и что с того, может быть, они вовсе не охотятся, а дерутся друг с другом

или играют, может быть, у них брачная пора. Он готов и к этому разочарованию. Но когда в брезжущем свете звери становятся различимы, он с изумлением и радостью видит, что шел за ними не напрасно: четыре шакала окружили у подножья бугра антилопу. Она стоит у каменного склона, стараясь защитить от них новорожденного малыша. Видно, шакалы выследили ее, когда роды только начались, потому что рядом лежит послед.

Шакалы при его приближении отбегают, трусливо грозя ему рычаньем и жалобно скуля, потом подкрадываются ближе, однако когда восходит солнце, они убираются прочь. Антилопа стоит и смотрит на Адама, настороженно принюхиваясь. Всякий раз, как детеныш пытается пройти мимо нее на тонких дрожащих ножках, она поспешно отпихивает его мордой назад. Стоит Адаму шевельнуться, и она опускает свои длинные изогнутые рога и издает носом предостерегающий свист. Конечно, самка обессилела от родов и долгого ночного бдения, но он понимает, что ей ничего не стоит убежать. Антилопа слишком велика, в нее нельзя стрелять из пистолета, и Адам вытаскивает из колчана стрелу, натягивает тетину и целится. Стрела вонзается антилопе в

лопатку. Животное подскакивает в воздух с пронзительным криком и несется вскачь, но, отбежав немного, останавливается и возвращается к детенышу. Изо всех сил вскидывая задней ногой, она наконец стряхивает стрелу. Однако Адам знает: яд попал ей в кровь, довольно малейшей царапины. Но неизвестно, когда яд подействует, может быть, лишь через несколько часов, а он не так вынослив, как бушмены, и убеги антилопа сейчас, у него вряд ли хватит сил выслеживать ее до конца. Даже если она возьмет с собой детеныша, до заката они покроют очень большое расстояние.

И вдруг Адам замечает, что он, оказывается, не один. Заливисто лая, мимо него вихрем несется собака — неужели это их собака, ведь он оставил ее едва живую! Антилопа мгновенно опускает голову и выставляет свои грозные рога. Пес чуть на них не напоролся. Он с визгом отскакивает, но через минуту снова мчится вперед.

Теперь можно выстрелить из пистолета, и Адам целится в ту же самую лопатку, чтобы перебить антилопе ногу и не дать ей убежать. Колени ее подгибаются, она падает, но тут же снова поднимается, часто и тяжело дыша. Однако собаке оказалось довольно и одного мгновенья: она

метнулась к детенышу, схватила его за горло и одним прыжком проскочила мимо антилопы.

Антилопа снова рухнула на колени. Нужно прикончить ее как можно скорее. Порох тратить не стоит, его и так осталось слишком мало. И потом, у них уже есть детеныш. Но Адам замыслил другое. Пока пес терзает детеныша, Адам подкрадывается к матке сзади, хватает ее за шею и вонзает нож в артерию.

Голова животного резко откидывается в последней судороге, и острый могучий рог распарывает Адаму руку от кисти до локтя. На миг он ослабляет хватку. Но тут собака впивается антилопе в нос. Все, антилопа мертва.

Адам садится на землю возле убитой самки и хватает воздух открытым ртом, в голове звенит от усталости и от потери крови. Эта ночь его доконала. Потом он собирается с силами, кое-как переворачивает антилопу на бок и ощупью находит маленькое разбухшее вымя. Сжав пальцами сосок, выдавливает тонкую теплую струю в свой пересохший, растрескавшийся рот и с болью, с мучительным напряжением глотает и все же пьет и пьет и никак не может остановиться. Наконец, весь дрожа, он поднимает голову и заставляет себя встать, достает бурдюк и выдаивает

в него молоко из маленького вымени.

Рана на руке все еще кровоточит. Нужно унять кровь паутиной. К счастью, утром ее найти легко — среди высохших кустов на огромных сетках блестит роса. Он залепляет рану и, отхватив кусок кожи от своего передника, завязывает руку.

Голова кружится, опять он должен отдохнуть. Из-под повязки каплет кровь, но через несколько минут она все-таки унимается. В руке все еще пульсирует боль, но медлить уже нельзя. Орудуя левой рукой, он кое-как взрезает антилопе брюхо и выпускает внутренности. Вскрыв желудок, до капли собирает жидкость. После недолгого размышления отсекает от туши окорока — только их он и сможет унести. Потом он снова ложится на землю и отдыхает, а пес тем временем доедает детеныша. Пусть ест, от антилопы ему мало что достанется.

Когда Адам снова встает, солнце уже высоко. Что поделаешь, придется идти по испепеляющей жаре. В вышине он замечает грифов, и сердце от ужаса начинает колотиться в горле. Неужто уже поздно? И он, надрываясь, без всякой жалости погоняя свое измученное тело, бежит в ту сторону, где кружатся стервятники.

...Ее выводят из оцепенения грифы. Что с Ада-

мом, он умер? Но скоро она осознает, что птицы слетелись к ней и сидят вокруг ее крошечного тента. Почему они никогда не появлялись раньше? Откуда у них это сверхъестественное чутье? Ей приходится вылезти из-под растянутой на палках кароссы и закричать, замахать на них руками, только тогда они поднимаются с земли и летят прочь, однако же совсем не исчезают, а темными точками маячат вдали.

Она снова ложится. В голове звон, пустота. Порой все заволакивает чем-то черным. Она с мучительным усилием пытается набрать слюны и проглотить, но рот пересох, а горло так распухло, что воздух через него едва проходит.

Нет, все напрасно, он не успеет. Когда-то я было горда и непреклонна, с горьким унынием думает они, и никому не хотела покориться, не хотела стать чьей-то собственностью — ведь я не корова, не фургон, не бочонок бренди. И вот сейчас я должна покориться смерти, я — ее собственность, сейчас она заберет меня, даже не спросив разрешения. А у меня больше нет сил ей противиться. Я и хотела бы бороться рада него, но не могу.

Когда на нее падает его тень, ей кажется, что это гриф. Она хочет крикнуть, отогнать его, но лишь беззвучно шевелит губами.

— Элизабет! — зовет он.

Давно ли стервятники научились говорить?

— Я сейчас накормлю тебя, — говорит он, опускаясь рядом с ней на землю. Она слышит его трудное, хриплое дыхание, запах его пота. — Мясо и молоко, — говорит он и подносит к ее губам бурдюк. Молоко теплое и кисловатое, ведь оно целый день грелось на солнце. Она держит несколько капель во рту и никак не может проглотить. Он уговаривает ее и терпеливо поит, как ребенка. Наконец она открывает глаза и смотрит вверх.

Но там ничего нет. Бог — это пустота в бездонном небе.

Кристаллики снежинки, хребет скалистых гор, овраги, выдутые в земле ветром, лист папоротника, скелет змеи… как сходны все узоры, что создает природа.

Смерть даровала им еще одну отсрочку и даже отмерила ее щедрее, чем прежние. Как ни тяжело идти, они продолжают свой путь. Он ни разу не пожаловался на больную руку, но Элизабет видит, что рана его беспокоит. Она загноилась, Адам не может двигать рукой. Они почти не говорят друг с другом, даже произносить какие-то слова для них сейчас непосильный труд.

Случилось непостижимое: из их жизни ушел

Капстад, они его точно потеряли дорогой. Ни он, ни она ничего больше не ждут, не надеются, что, поднявшись на макушку каменистого бугра, увидят что-то иное кроме все того же мертвого вельда. Горизонт восторжествовал.

Им осталось одно: шагать и шагать без смысла и цели, поднимать и переставлять костлявые ноги, завернутые в толстые шкуры, размахивать тонкими, как плети, руками, дышать, преодолевать при каждом шаге боль, чувствовать, как по телу течет пот, оставляя извилистые борозды в корке грязи на коже. И знать, что сзади плетется изможденная, хромая собака.

…Когда-то ты упрекнул меня, что я слишком белая и не хочу знать правду. Что ж, взгляни на меня сейчас — я черная, обугленная. А это неизбывное страдание и есть правда? Значит, правда в том, чтобы просто идти по земле, идти вопреки всему и не позволяя себе лечь?

Если один из них сейчас сдастся, у другого уже недостанет сил жить.

Их охватывает все большее безразличие. И растет изумление перед тишиной и бесконечным пространством.

Все в этой бесконечности первозданно, все совершается точно в первый день творенья — зву-

чат их скупые редкие слова, встает каждое утро солнце, заливая светом пустой мир. Вот крупица праха: изо всего рождается жизнь.

…В ту ночь в горах я думала: «Как ни страшна смерть обезьяны, есть что-то прекрасное именно в ее неистовстве и жестокости». И зверское убийство быка было прекрасно, и шторм в Бискайском заливе. В такие редкие минуты как раз и постигаешь, что ты — жив. Сами по себе эти минуты ужасны, но необходимы человеку, они-то и дают нам силы жить.

Впрочем, тогда я была моложе, я жаждала жестокости и неистовства, чтобы они ударили по мне и пробудили от оцепенения. Теперь мне нужно несравненно меньше, мои потребности скромнее. В спокойной неотступности страдания я снова постигаю горестную истину, что я жива. Я есть, я существую. Только и всего. А горизонт недостижим, я это знаю, я смирилась. Я не смогла бы идти, не будь этой горечи. Без нее я даже не знала бы, что живу. Благодаря этой горечи я и люблю тебя. Когда-то был рай на берегу моря. Мы жили в нем, ты помнишь? Нам легко верить в рай, ведь мы его утратили.

Раскаленные дни сменяются ледяными ночами, а они все идут, идут… Когда светит луна, они

движутся ночью и отдыхают днем, хотя у такого способа путешествовать есть и свои недостатки: очень трудно спать в такой свирепый зной, в темноте трудно добывать пропитание.

Только бы не сдаться. Выдержать, вытерпеть, выжить — вот наш девиз. Не мгновенья восторга, а упорство смирения, которое и помогает перенести восторг.

Все медленней и медленней они бредут. Его руки сои сем разболелась. Все трудней отрывать ноги от земли. Даже собака вот-вот упадет и не встанет. Казалось бы невероятно, но зной становится все более испепеляющим, а солнце — все более белым. При его свете они уже совсем не могут двигаться. А пища? Теперь они едят лишь то, что им приносит собака.

Интересно, сколько они еще протянут, спрашивают они себя, мрачно забавляясь этой зловещей игрой. Ведь плоть и кровь не вечны. А у них и так почти нет плоти, кровь высохла, остались кости, да сухожилия, да темная пергаментная кожа. О, горизонт, горизонт…

Она шагает рядом с ним, в душе — рожденное изнеможением спокойствие, мысль остановилась. Единственно, чем она может встретить страдание, — это готовностью страдать бесконеч-

но, и потому только она до сих пор жива. Зачем противиться страданию, нужно ему отдаться, подчиниться, и пусть оно медленно тебя сжигает, выжигает твое нутро без остатка, даже то, что еще не успело возникнуть, пусть вдыхает в тебя душу, чтобы, в муках лишаясь всего, ты могла наконец родиться.

Вот и привал, неотвратимый привал.

Стало быть, здесь?.. Эта песчаная впадина — конечная веха.

Она помогает ему укрепить камнями палки — он не может шевельнуть больной рукой, — помогает набросить на них кароссу. Когда наступают сумерки и он не делает попытки встать, чтобы идти дальше, она решает, что теперь это действительно конец. И с чувством чуть ли не облегчения ложится снова и закрывает глаза.

Но, решая, она сбросила со счетов его волю. А он все обдумал заранее и ждет лишь, чтобы она уснула. Пройти весь этот долгий путь только затем, чтобы покорно умереть здесь, среди вельда, точно лишенное разума животное? Нет, ни за что, он даже в мыслях с этим не смирится. Уверившись, что она спит, он тихо подзывает к себе собаку. Покрытое коростой животное приподнимается и ползет к нему на своих израненных, кровоточа-

щих лапах. Он гладит большую голову, треплет за ушами, и собака начинает вилять хвостом и лижет своим сухим языком ему лицо и руки.

— Ложись, — говорит он, указывая себе на колени.

Собака ложится и кладет ему на колени голову.

Держа нож в левой руке, он правой продолжает ее гладить, потом сжимает пальцами морду.

Ты будешь недолго мучиться.

Он резко закидывает ей голову назад, чтобы всадить нож в горло, и пес со сдавленным визгом рвется от него прочь.

Тебе так тоже лучше.

Из перерезанных артерий брызжет кровь. Ему не удержать больной рукой бьющееся, содрогающееся тело, он падает на умирающего пса и прижимает к земле, заглушая животом и грудью его последние слабые конвульсии. Он точно обнимает женщину, это похоже на любовь.

Он не кричит, но по его лицу бегут слезы. Вот я и поднял руку на мою собственную мать, думает он. Теперь я заслужил самую страшную казнь — плеть и раскаленные щипцы под крики чаек, кандалы, остров, мертвую пустыню. Ад, на который я обречен, — во мне.

Когда он убил детеныша антилопы в пещере, она с трудом, но все-таки принудила себя смириться. Смерть собаки она никогда не простит.

— Адам! о, господи… — тихо хрипит она, проснувшись на рассвете в лихорадочном ознобе и увидев, что он жарит на костре мясо.

— Да, — говорит он ей, — да. Молчи. Ешь, ты совсем ослабла.

— Это все равно, как если бы мы стали есть друг друга.

— Неправда, не говори так. Прошу тебя!

Она стискивает челюсти. Он пытается разжать их силой, как раньше, когда собака принесла ему змею. Но она в порыве гнева вдруг выбивает мясо из его руки.

— Ни за что! Я лучше умру.

— Глупенькая, это же мясо, это жизнь!

— Он столько прошел с нами.

— Я не хотел брать его с собой, он сам увязался.

— Он поймал детеныша антилопы, спас нам жизнь.

— Сегодня он снова спасет нас. Он все равно умирал от голода. Так же, как мы. Он уже больше не мог охотиться.

— Он был наш друг. Кроме него, у нас никогда никого не было.

— Съешь.

— Сам ешь, если ты можешь! — кричит она в отчаянии. — Меня не заставляй. Я ни за что не буду. Наешься и иди один, а я останусь здесь.

— Я же для тебя его убил, — умоляюще говорит он.

— Оставь меня!

— Хоть маленький кусочек.

— Никогда.

— Смотри. — Он откусывает немного, с усилием жует, глотает.

— Дикарь! — кричит она, не в силах больше сдерживать ярость. — Я тебя ненавижу.

— Довольно разыгрывать белую госпожу! — взрывается он. — Лучше взгляни на себя.

Она закрывает глаза. Ее бьет дрожь.

— Съешь. Ведь ты не хочешь умереть.

— Что с нами происходит? — шепчет она потрясенно. — Нельзя так убивать друг друга.

— Ешь. Иначе ты убьешь себя.

— Я не могу есть его плоть.

— Ради бога, — говорит он устало, — ведь все равно в конце концов придется. Как будто у тебя есть выбор.

Но она только качает головой.

Мыслима ли большая нелепость, думает она

в последних проблесках сознания: в который уже раз мы доходим до крайности, потом нам дарят передышку, мы снова делаем усилие — и опускаемся еще ниже. Нет, должно же у человека быть достоинство, должен же он в какой-то миг сказать: довольно, дальше я не отступлю.

Мать говорила: «Все тобой восхищаются, Элизабет, берут с тебя пример…»

А ты: «Тебе не выжить, если ты не станешь зверем».

— Дай мне кусочек, — шепчет она вечером, не смея взглянуть на него, хоть и знает, что не увидит на его лице злорадства. Она просто не может посмотреть в его воспаленные, запавшие глаза и встретить в них себя. Ее желудок отвергает мясо. Но второй кусок ей удается проглотить. Внутренности снова скручивает судорога, но она усилием воли ее останавливает и долго еще лежит на земле, боясь пошевелиться, чтобы ее не вырвало.

Безумие, безумие. Ведь так легко сдаться и умереть. Зачем люди цепляются за жизнь? Жизнь противоестественна, бесчеловечна.

Зачем ей возвращаться к жизни? Зачем смотреть в глаза Адаму после того, как он оказался способен убить собаку? Зачем вообще жить после того, как она узнала, что и сама она такая же

предательница?

— Умереть, я хочу умереть, — тупо, однообразно твердит она, проталкивая в горло следующий кусок мяса, стараясь удержать его в себе, дрожа и задыхаясь от усилия и словно вдавливая себя в землю: скелет, обтянутый черной растрескавшейся кожей, клочья свалявшихся волос, невыносимо яркие пылающие глаза — ничтожная горсть праха, живое существо, человек.

Когда через три дня пришли готтентоты, они были еще живы. Мясо их подкрепило, но они не двинулись в путь, не одолели усталости и безразличия, не нашли в себе решимости начать все в который уже раз сначала — идти и чувствовать, как с каждым шагом убывают силы, пересыхает во рту и распухает горло, глаза все глубже проваливаются в глазницы, как мир плывет перед глазами и вдруг затягивается чернотой… потом опять немного мяса или кореньев, личинки из разоренного термитника, ящерица, и снова возвращение к постылому началу…

После полудня они заметили, что на горизонте поднялось облако пыли и стало приближаться.

— Газели? — спросила она, не зная, радоваться ли очередной передышке или приходить в отчаяние, потому что после нее их ждут еще горшие

муки.

— Нет, вряд ли, — сказал он, щурясь на солнце. — Разве что стадо совсем маленькое. Может быть, это…

— Что?

Он не ответил. С час или даже больше он неотрывно глядел на горизонт. Рыжее облако медленно ползло в их сторону, заволакивая солнце.

— Это люди, — объявил он наконец. — Наверное, кочевники-готтентоты.

— Откуда же столько пыли?

— Ее поднял скот. — Он говорил так тихо, что она даже не расслышала ответа.

Когда стало ясно, что караван пройдет примерно в миле от них, они поспешно связали свои узлы и побежали по равнине, гонимые все той же страстью, как в день, когда увидели мираж. Мираж? От этой мысли у нее вдруг засосало под ложечкой и она даже остановилась — убедиться, что караван не видение, и потом снова кинулась за ним, ловя воздух открытым ртом.

Кочевников было человек пятьдесят или шестьдесят: худые, низкорослые, серые от пыли, за ними шло стадо коров и овец, бежали бесчисленные собаки. У овец был еще довольно бодрый вид, они держались благодаря запасам сала в

курдюках, а вот коровы совсем заплошали.

Кочевники растерялись и насторожились, увидев путников, но когда Адам обратился к ним на их языке, зловещие морщины на задубелых лицах разгладились, люди весело заулыбались. Все разом заговорили, Адам переводил их слова Элизабет, а те из готтентотов, кто знал немного по-голландски, болтали прямо с ней.

Да, они ходили в Капстад, вот бусы и монеты, которые они там получили, глядите; выменяли они еще бренди и табак, но их не осталось, все выпили и выкурили. Теперь вот движутся на север, кто-то сказал им, что в месяце пути через сухие земли лежат хорошие пастбища.

— Идемте с нами, — предложили кочевники. — Там, где мы были, очень плохо.

— Нет, нам нельзя, — тотчас же вырвалось у Элизабет. — Мы должны вернуться в Капстад.

— Должны? — удивились готтентоты. — Кто вас заставляет?

— Мы уже так давно идем, — попыталась объяснить она.

— Но мы тоже когда-нибудь пойдем в Капстад, — стал уговаривать ее один из готтентотов. — Дождемся дождей и пойдем. Тут хорошо будет идти, увидите. Месяцем раньше, месяцем

позже — не все ли равно?

— Нет, нам нельзя…

Он равнодушно пожал плечами — дело хозяйское.

— Вы не понимаете, — сказала она.

— Это верно, — согласился он, — не понимаю. — И вдруг сощурил глаза. — Почему белая женщина идет пешком и в таком виде? — Он, не скрывая любопытства, разглядывал ее увядшую грудь, торчащие ребра. В глазах его не было желания, а у нее даже не шевельнулась мысль, что надо бы прикрыться. Какая, в сущности, разница?

— Ладно, — произнес наконец готтентот, прищелкнув языком, и плюнул на землю. — Подумайте, решите, как вам быть, а потом скажете нам. Мы будем здесь ночевать.

Женщины отправились собирать дрова. К закату из вельда примчались собаки, кто-то из них принес в зубах бурундука, другие черепаху, третьи зайца. Но на этот раз у собак не отобрали добычу и разрешили съесть самим, потому что мужчины ради такого торжественного случая закололи захиревшего быка. И все племя собралось вокруг костра, все ели и пили, весело болтали, смеялись.

Элизабет сидела чуть поодаль и, погрузившись

в свои мысли, рассеянно слушала чужую речь.

После ужина готтентоты достали музыкальные инструменты и в лунном свете пронзительно запели бамбуковые флейты, полилась унылая жалоба свирели, загремел барабан. Люди передавали друг другу калебасы с хмельным пивом, громко смеялись, хлопали в ладоши. Молодежь начала плясать, а старшие сидели у костра, окутанные клубами пыли, любовались пляской и поощряли танцующих одобрительными возгласами. В бешеном вихре подскакивали и отлетали передники, земля дрожала под ногами пляшущих.

Элизабет сидела и смотрела, завороженная чужим весельем, и не могла поверить, что такое буйство и безудержность возможны среди безмолвия и однообразия этих равнин. Днем, при солнце, люди едва держались на ногах, измученные зноем и липкой пылью, сейчас, во тьме, они вернули себя к жизни пляской, их музыка и смех изгнали царящую здесь тишину, они поют и пьют кислое пиво, и это пиво питает их экстаз. А завтра — завтра будут те же тяготы и труд.

Завтра караван пойдет дальше. Она будет стоять рядом с Адамом и глядеть, как удаляется облако пыли, слушать, как затихает шум и нако-

нец замрет вдали. Потом уляжется и пыль. И все станет в точности таким, как было раньше: он, она и вокруг только свет и пространство, только совершенная, беспримесная боль. Но сейчас им будет еще тяжелее, потому что отныне их будет преследовать воспоминание о сегодняшнем вечере.

Может быть, повернуть вспять и пойти вместе с племенем? Среди людей они не погибнут. У готтентотов есть мясо, есть кислое молоко, много меду, у них смех, разговоры. Пусть даже они придут в Капстад через год — какая разница? Ведь впереди целая жизнь.

Как, повернуть вспять и идти той же страшной дорогой? Нет, об этом Элизабет не могла даже помыслить, она слишком устала. Пусть ее пощадят, она не хочет принимать решения. Никогда еще Капстад не был так близко. Он снова вошел в их жизнь: его непостижимым образом вернула встреча с готтентотами. Эти бусы и медные монеты им дали в Капстаде, месяц назад эти люди были там. Они видели дворец с его пятью массивными башнями, просторную площадь, где стоит виселица, каналы, спускающиеся от Гееренграхта к морю, видели Гору, с вершины которой Элизабет глядела на раскинувшийся

внизу синий океан, на выбеленные дома под тростниковыми крышами, янтарными, бурыми или даже черными от старости, дома, которым не страшна ярость юго-восточных ветров. Видели, как в гавань входят рыбачьи лодки, нагруженные сверкающей на солнце рыбой, как подплывают баркасы, которые везут с острова Роббен сладкий инжир и кристально чистую воду из колодца, песчаник из карьеров для строительства домов, видели, торжественный выезд губернатора и советников, ее отца в карете, Phoenicopterus ruber, рабов, зачерпывающих воду в фонтанах возле тенистого парка, видели мельницы, шелковичные деревья…

Капстад — не мираж, он есть, он существует, он всего в нескольких неделях пути. Готтентоты его видели, вон они пляшут, и в глазах у них еще стоит ее Капстад.

Долго еще продолжалось веселье, но наконец все улеглись спать вповалку на земле, Элизабет с Адамом стиснули в темноте тела каких-то незнакомых людей. Она вдыхала вонь прогоркшего сала, которое они смешивали с порошком из листьев баку и обмазывали себя с головы до ног. Но разве ее собственный запах лучше? Она прижалась в полусне к лежащему рядом телу, не думая

о том, кто это, да и не все ли равно, ночь такая холодная, а они лежат рядом и согревают друг друга, все эти свернувшиеся калачиком люди…

Среди всех этих темных тел в темноте он безошибочно нашел ее, обнял и прижал к себе… Я люблю тебя больше, чем свою жизнь. Все, что у нас с тобой есть, — это единственный миг близости, который дает нам ночь: вот мое тело, вот я, возьми меня. Я хочу слышать твой шепот у моего уха, вонзи мне в плечо свои маленькие белые зубы, заглушая стон наслаждения. Роди мне сына, и пусть он когда-нибудь станет свободным. В твоих удлиненных глазах — видения Явы, на твоем-быстром влажном язычке имена ее вулканов и рек, в твоем имени заключено мое спасение, в твоей тьме я прозреваю и вижу, что избавление возможно. Завтра я буду ждать тебя возле калитки, а потом кто-то скажет, что тебя продали и взяли хорошую цену. Все это ждет меня завтра, завтра я потеряю тебя навеки, но сейчас, этой быстротечной ночью, ты принадлежишь только мне…

… — Ну что, идете с нами? — спросил их утром готтентот, когда все племя уже собралось в дорогу и сгоняло овец и коров!

Она покачала головой.

— Нет, нам нужно в Капстад. Теперь уже недалеко.

— Но там, впереди, очень плохо.

— Дойдем. Вы нам дадите немного еды?

— А что взамен за еду?

Они развязали свои узелки. У них почти ничего не было. Хотите ее раковины? Нет. Мы возьмем пистолет и порох с патронами. Но они нужны нам самим! Ну что ж, тогда не взыщите. Бог с вами, берите. Все забирайте, у нас ничего нет. Оставьте мне только платье, которое сшили в Капстаде, наши передники и кароссы, наше самодельное копье, посохи, колчан со стрелами…

Взамен они получили несколько бурдюков с молоком, половину овечьей туши, целебных трав для его раны.

— Как отсюда ближе всего пройти в Капстад?

Объясняли все разом, показывали руками — идите все прямо и прямо, туда, откуда мы пришли.

— А есть вода по дороге?

— Да, ключ в двух днях пути, — сказал готтентот, знающий по-голландски. — У подножья каменного бугра, который похож на спящего льва. Коровы там все истоптали и выпили, но вода есть, вы только выройте колодец.

— И все?

— Еще через десять дней будет ферма.

— А люди?

— Есть люди, есть. Гонкхойква. Хозяин стрелял в нас, — угрюмо добавил готтентот. — Сказал, столько народу он не может напоить, воды не хватит. Ругался и проклинал утробу своей матери.

Потом все кричали и махали им руками. Поднялось солнце — огненный диск. Караван шел, все уменьшаясь и уменьшаясь на огромной равнине, и рыжая пыль влеклась за ним до самого горизонта. Адам и Элизабет остались одни.

— Теперь уж мы непременно дойдем, — сказал он.

Впереди, в десяти днях пути была ферма и люди.

Через несколько дней после ключа, вокруг которого все было истоптано стадом, они опять увидели грифов. Адам первый заметил груду камней на равнине и догадался, что это одна из бесчисленных могил Хейтси-Эйбиба. Но грифы были не возле груды, а ближе, они вились над небольшим овражком. И уже издали было ясно, что означает этот смрад.

Адам хотел сделать крюк, он знал, какое зрелище перед ними предстанет, но в Элизабет

проснулось любопытство.

— Там готтентоты, — коротко сказал он в ответ на ее расспросы.

— Что за готтентоты, откуда они взялись? — продолжала настаивать она, что-то вспомнив и уже смутно понимая.

Они остановились на краю оврага, выдутого ветром в твердой, как камень, земле. Дно было черным от грифов, птицы и не подумали взлететь при виде людей и продолжали спокойно трудиться над трупами. Вокруг валялись раскиданные ветки и кароссы, которыми когда-то их накрыли. Неглубокие могилы ведь нетрудно разрыть. Среди мертвых было трое взрослых — судя по всему, стариков — и несколько детей, наверное, они ослабли от болезней и не могли идти с караваном.

Элизабет схватила Адама за раненую руку.

— Нужно прогнать грифов! Как их прогнать? — в волнении спрашивала она. — Скорее, нужно что-то делать!

— Все они давно умерли, — сказал он.

— А когда их оставили здесь, они еще были живы?

— Наверное.

— Но как же, Адам?..

— Почему ты так расстроилась? Ты знаешь их обычай, я тебе рассказывал.

— Ты говорил, что умирать оставляют только стариков.

— И детей, если они захиреют.

Она хотела сбежать в овражек и прогнать птиц, но Адам не пустил.

— Их слишком много. Они разорвут тебя на части.

— Но там дети, Адам!

— Они тоже мертвы. — Он потянул ее за руку. — Довольно, идем.

Неподалеку высился курган, посвященный богу-охотнику, на камнях лежали калебасы и бурдюки. Когда они приблизились, она увидела, что в них кислое молоко и мед — жертвенные приношения, они кишмя кишели муравьями.

На лице ее изобразился ужас.

— Ведь людей оставили так близко от кургана! — горячо заговорила она. — Почему они не съели молоко и мед? Они были бы сейчас живы!

— Еду оставили Хейтси-Эйбибу.

Элизабет прислонилась к каменной груде. Тонкая цепочка муравьев свернула в сторону, огибая ее руку, но постепенно насекомые осмелели и, сокращая путь к пролитому меду, поползли прямо

по ней. Она встряхнула головой.

— Старики — ладно, это я еще могу понять, — сказала она. — Но дети! Они были совсем маленькие, ничего еще не знали, не понимали, не могли себя защитить.

Он ничего не ответил.

— Мы уже так давно вместе, — вдруг сказала она. — Почему у меня до сих пор нет ребенка? Как ты думаешь, я бесплодна?

— Когда мы ночевали у готтентотов, надо было тебе попросить у старух трав.

— Зачем мне травы? Я от тебя хочу детей, а не от трав.

— Травы могут помочь.

— Все во мне пусто, — сказала она. — Может быть, это от солнца, оно меня иссушило. — Она сползла по склону на землю и села на корточки, прислонившись к камням головой.

— Что было бы с нами, если бы ты родила ребенка в дороге? — спокойно спросил он.

Она долго молчала.

— Ты прав, — согласилась она наконец. — Но когда мы вернемся в Капстад…

— Что сделают с нашими детьми в Капстаде? — спросил он.

— Никто с ними ничего не посмеет сделать! —

вспыхнула она.

— Но ты как-то рассказывала мне о своей подруге, — напомнил он.

— Это совсем другое дело. Отец ее ребенка был раб. А я, когда мы вернемся…

— Тяжкий крест ты берешься нести, — сказал он в волнении.

Она скрестила руки на груди.

— Знать бы наверное, что у меня может быть ребенок, дети… Но, боюсь, я бесплодна. — Она тихо покачивалась из стороны в сторону. — Все во мне мертво.

— Дай срок — оживешь.

— Мы так давно муж и жена… — Она глядела на него снизу вверх, сидя перед ним обнаженная. — Зачем ты хочешь от меня ребенка? Я так некрасива. Я стала уродливой.

— Я тебя люблю.

— Недавно ты сказал: «Взгляни на себя!..»

— Я не о том говорил.

— Не важно, я все равно права. Смотри же на меня. Смотри как следует. Мой вид внушает омерзение. Черная, как уголь, вся в морщинах, грязная, вонючая.

— А я? Разве я лучше? — Он сжал ее тонкие запястья своими большими худыми руками. Она

посмотрела на страшную гноящуюся рану, которая распухла и горела, не поддаваясь целебным травам готтентотов.

— Мы прошли такой долгий путь, — сказал он. — Мы все еще вместе. И мы дойдем. Теперь-то уж у тебя нет сомнений.

— Разве можно быть в чем-то уверенной? — сказала она устало.

— Через пять дней будет ферма. Так нам сказали готтентоты.

— Ферма… Люди… — В ее глазах не было радости, один только страх. — Я не могу появиться у них в таком виде.

— Почему же?

— Нет, нет, ни за что. Придется… — Она лихорадочно развязала узел и достала из него грязное зеленое платье, которое несла с самого начала их пути.

— Не надевай, — попросил он.

— Ах, ты не понимаешь. Так нужно.

Она надела платье. Оно повисло на ней мятым бесформенным мешком. Как не вязались с этим платьем торчащие из рукавов худые, точно палки, руки, обугленное изможденное лицо, свалявшиеся волосы, грязные шкуры, в которые она завертывала ступни.

— Ну, как я тебе нравлюсь? — вдруг спросила она задорно и кокетливо, точно девушка, собравшаяся на бал.

Ему хотелось отвернуться, закрыть глаза, хотелось плакать. Но он не отвернулся и не заплакал, он хрипло прошептал:

— Нет женщины красивее тебя.

Она смотрела на него с улыбкой. Потом в глазах проступила мольба. Волнение ее угасло. Она потянула за ленту корсажа иссохшей коричневой рукой.

— На меня страшно смотреть, я ведь знаю, — прошептала она. — Почему не сказать мне правду?

— Идем, — поспешно сказал он. — Надо торопиться, и так уже поздно. Ты ведь не хочешь здесь ночевать?

— Здесь? — В ее голосе был ужас. — Идем скорее.

Он поднял свой узел, но тут же снова положил на землю. Взглянул на Элизабет и быстро отвел глаза. Потом протянул руку к одному из бурдюков с медом и начал стряхивать с него муравьев. Она смотрела, не произнося ни слова. Он достал с могильного холма второй бурдюк, потом и остальные приношения.

Ее вдруг начал душить смех.

— Ты грабишь могилу бога. А вдруг он станет тебя преследовать, ты не боишься?

— Не станет, это все выдумки моей матери.

— Каждый раз, как мы встречаем богомола, ты делаешь большущий крюк в сторону, — напомнила она.

— Не выдумывай.

— Нет, я много раз замечала.

Он поднял свой узел и бурдюки с медом.

— Идем, — угрюмо сказал он.

И они пошли дальше навстречу свирепому солнцу, которое било в глаза. Ни он, ни она не оглянулись на груду камней и на грифов. Каждый раз, подав последнюю милостыню, судьба снова посылает им подачку; каждый раз, сказав последнее нет, они все-таки преступают свою клятву.

Она старалась привыкнуть к платью, которое било ее на ходу по худым ногам, огрубевшие руки страшились прикоснуться к тонкой скользящей ткани.

Еще пять дней, думала она. Через пять дней — ферма и люди.

А потом была ферма. Легко вообразить, как они день за днем прикованно глядели на горизонт горящими глазами, ожидая, что вот-вот появятся

признаки жилья, как вельд тянулся такой же мертвый, однообразный, как рано утром далеко, за первыми невысокими отрогами гор вдруг начали собираться белые облака, как, увидев их, они забыли об усталости и свирепом солнце, как наконец приблизились к небольшому стаду коз и овец, которое паслось в зарослях низкого иссохшего кустарника, у пригорка в тени крепко спал пастух, закрыв лицо шляпой, желтели выжженные поля, стоял забор, местами сложенный из камней, местами сплетенный из веток, и во дворе — вытянутый в длину приземистый домишко с трубой и двумя подслеповатыми оконцами справа и слева от двери, чахлые деревья, куры.

Залаяли собаки. Сидящий возле дома в тени мужчина поднялся со своего плетеного стула, сдвинул на затылок широкополую шляпу, обнажив никогда не загорающий лоб, и невозмутимо смотрел, как они подходят.

Элизабет остановилась в нескольких шагах от мужчины, Адам настороженно замер возле нее. Но фермер стоял так же неподвижно, на голове шляпа, в зубах трубка. На земле возле стула осталась недопитая чашка чая без блюдца. На рубашке не хватало нескольких пуговиц, в разрезе ворота темнела волосатая грудь. Длинный

костистый нос, близко посаженные серые глаза, борода, узкий, точно щель, рот, влажные губы. Возраст угадать трудно — может быть, тридцать лет, может быть, пятьдесят.

— Добрый день, — произнесла наконец Элизабет, запинаясь; рука ее судорожно сжимала ленту на корсаже.

— Здравствуйте, — ответил фермер, разглядывая ее в упор. — Откуда путь держите?

— У меня сломался фургон за горами, — сказала она, и в голосе ее зазвучали прежние, властные нотки. Как ни жалок был сейчас ее вид, она стояла, высоко вскинув голову. — Волов угнали бушмены. Слуги-готтентоты нас бросили. И я вынуждена была возвращаться пешком.

— Через карру пешком не пройдешь, — возразил он.

— Пришлось. — Она вытерла со лба пот и откинула назад грязные волосы.

Фермер не шевельнулся.

— Несколько дней назад мы встретили караван готтентотов. Они рассказали нам о вашей ферме.

— А, эти ублюдки. Вознамерились здесь ночевать — какова наглость? Истоптали бы все в прах, выпили всю нашу воду. Ну, я их послал…

— И мы подумали, может быть, вы согласи-

тесь… — Она умолкла, заметив, что он, сощурившись, глядит на Адама.

— А это… это мой…

— Ясно, — отрывисто бросил фермер. — Пусть идет на кухню.

— Постойте, я… — Она протестующе взмахнула рукой, но фермер не понял ее жеста и протянул ей руку для пожатия. Получилось смешно.

— Де Клерк, — представился он.

— Элизабет Ларсон.

— Ясно, — сказал он все так же неприветливо и жестко.

— Герр де Клерк, я…

— Ладно уж. Можете пока пожить у нас, а там решим, что делать. — Он обернулся и закричал: — Летти!

На пороге появилась босая женщина в вылинявшем синем платье без нижних юбок и кринолина, волосы гладко зачесаны за уши, лицо обветренное и загоревшее несмотря на шляпу, которую она, видно, никогда не снимала. Без возраста, как и он. Но вряд ли очень старая, потому что беременна, и даже на сносях.

— Эта женщина прошла через карру, — объявил он. — Зовут ее Ларсон. Моя жена. Позаботься о ней.

— Конечно. Входите в дом, прошу вас.

На пороге Элизабет остановилась.

— Человек, которого вы послали на кухню… Адам…

— Слуги за ним приглядят, — отрезал фермер, сел на стул и принялся набивать потухшую трубку.

Она хотела объяснить, но передумала: «А вдруг он нас прогонит, кто его знает. Право же, обоим нам будет лучше, если я не стану…»

— Входите же, — повторила женщина, — на солнце жарко.

Дверь вела прямо в спальню, там стояла широкая медная кровать, несколько сундуков, сколоченных из досок атласного дерева, у стены батарея ружей, на глиняном полу шкура зебры. Здесь, под тростниковой крышей с незашитыми потолочными балками, было прохладнее, чем на дворе, но душно, невыносимо душно.

— Издалека вы? — спросила женщина.

— Да. — Элизабет коротко повторила свою историю, опустив главное, — кто знает, как отнесется к такому сообщению жена фермера.

— У вас не во что переодеться?

Элизабет качнула головой и опустилась на краешек кровати. Кровать была покрыта одеялом из

шакальих шкур.

— Нет, это мое единственное платье.

— Я дам вам свое.

— Спасибо. Я бы хотела попить.

— Сейчас. — И женщина громко закричала в другую дверь, которая вела внутрь дома: — Леа! Принеси воды!

Они сидели в неловком молчании и ждали, но вот в комнату вошла низенькая жилистая старуха рабыня и подала глиняный кувшин и кружку с отбитой ручкой.

Элизабет помедлила минуту, потом взяла кружку, наполнила и, поднеся к губам дрожащими руками, залпом выпила. Снова налила себе воды, потом еще раз и еще и наконец сказала:

— Благодарю вас. А нельзя мне… а не могла бы я помыться?

— Сейчас спрошу мужа.

Элизабет ждала, прижавшись головой к спинке кровати. Вот женщина вернулась со двора и снова закричала так же громко и пронзительно:

— Леа! Принеси корыто и воды для мытья.

Ответа она не стала ждать, подошла к сундуку в дальнем углу, опустилась на колени и принялась рыться в сложенных вещах, потом извлекла коричневое шелковое платье, мятое, но совер-

шенно новое.

— Нет, нет, что вы, оно такое красивое, — запротестовала Элизабет. — Мне бы старенькое, у вас, наверно, есть.

— Зачем мне здесь такое платье? — спросила женщина и со стоном поднялась. — Я берегла его для крестин. А мы уже похоронили четверых детей. Вон под тем бугром.

— Но у вас скоро опять будет ребенок, платье и пригодится.

— Нет, не пригодится. — Беременная женщина покачала головой. — Уж больше недели, как он перестал шевелиться. — Она протянула руку к двери во двор. — Ему я не говорила, боюсь, но сама-то уже не сомневаюсь: ребенок родится мертвый.

— Погодите, может быть, еще все обойдется.

Женщина снова покачала головой: без сожаления, без печали, тупо.

— Я тоже потеряла ребенка во время путешествия, — сказала Элизабет в порыве сострадания. — И даже не знаю, где он похоронен.

— Здесь только бушмены могут жить, да готтентоты, да звери, — уныло говорила женщина. — Белым тут делать нечего. Но разве мужу что-нибудь докажешь. — Испуганно вздрогнув,

она выглянула во двор.

Вошла рабыня, с трудом неся большое деревянное корыто с водой. Через плечо у нее было переброшено грязное полотенце, в кармане передника лежал кусок домашнего мыла.

— Ну вот, — сказала беременная фермерша, — мойтесь. А мне надо в кухню. С этих людей глаз нельзя спустить. Пошли, Леа.

Оставшись одна, Элизабет увидела, что в воде уже кто-то мылся. Она была мутная, у краев корыта собралась грязная пена. Ладно, пусть, все равно это — вода.

Она развязала корсаж. С минуту постояла в смущении, раздумывая, не закрыть ли прежде дверь. Потом решила, что тогда в спальне будет слишком темно… Вытянув из рукавов руки, она движением бедер сбросила платье вниз, на пол. Оттолкнув ногой это рубище, встала в корыто. Корыто было большое и глубокое. Она села в прохладную грязную воду, закрыла глаза и долго сидела не шевелясь, поставив локти на колени и опустив на руки голову. Вода… господи, вода!..

Наконец взяла мыло и принялась мыться. Несколько раз вымыла волосы, лицо, без конца намыливала и терла тело, пока от мыла не Остался крошечный обмылок и вода в лохани не

подернулась темной пеной.

Потянувшись за полотенцем, она заметила на сундуке возле кровати круглое зеркальце. Оно треснуло наискосок, но все равно это было зеркало. Замирая от страха и волнения, Элизабет пробежала босиком к кровати, нагнулась и стала рассматривать себя. Темная пергаментная кожа, глубокие морщины. Синие глаза запали глубоко в глазницы. Маленький точеный нос. Рот слишком велик, губы запеклись, растрескались. Резко выступили скулы, — никогда она не думала, что они у нее такие широкие. Ключицы торчат, локти острые, костлявые руки с большими неуклюжими кистями. Иссохшая грудь, даже не грудь, а просто отвисшие складки с большими сосками в шершавых струпьях, ввалившийся живот, тазовые кости чуть не прорывают кожу. Спутанные волосы в паху, огромные коленные чашечки, узкие ступни… Я? Неужто это я? Но кто я, господи, ответь?

С ужасом, с щемящей жалостью к себе повернулась она взять полотенце. И в страхе застыла, почувствовав какое-то движение у двери. Наконец она подняла глаза — с мокрых волостей на плечи падали капли и ползли по спине, точно судорога — и увидела в дверях мужчину, хозяина

фермы, де Клерка, который стоял все в той же своей шляпе и с трубкой в зубах.

Он, не шевелясь, разглядывал ее в упор, и даже когда она его заметила, он не отвел взгляда: в его прищуренных глазах горел сумасшедший огонь, зубы так крепко закусили трубку, что побелели желваки на скулах.

С минуту Элизабет молча глядела на него, приоткрыв рот, не в силах крикнуть или произнести хоть слово. Потом в смятении присела и прикрыла грудь руками.

Он тотчас же повернулся, и освещенный желтым предвечерним светом дверной проем опустел.

Она взяла полотенце и стала вытираться. Ее переполняло отвращение, она казалась себе старой и опустошенной.

Надев новое шелковое платье и расчесав волосы, она наконец вышла в соседнюю комнату, где фермер сидел за столом против своей жены. Элизабет ничего не сказала, только поглядела на него в упор, слегка раздув ноздри. Солнце садилось. Молоденькая рабыня зажигала лампы. Возле очага на полу сидели сгрудившись рабы — семь-восемь взрослых, дети, и среди рабов — Адам. Она встретилась с ним на миг взглядом

и чуть не заплакала. Потом села за стол.

Жилистая старуха рабыня вынесла из спальни корыто, вышла с ним во двор и вылила воду в лохань для свиней, — Элизабет наблюдала за ней через открытую дверь кухни, — потом вернулась, плеснула в корыто из бочки, что стояла у очага, поднесла к столу и, опустившись на колени, стала мыть ноги фермеру, вытерла их, на коленях подползла к беременной хозяйке…

— Ужинать, — приказал хозяин.

В середине выскобленного добела стола без скатерти стояла миска с тушеным мясом. Хозяин обмакнул в соус ломоть хлеба и поднес ко рту. За ним жена, потом Элизабет. Никто не разговаривал. И даже когда миска Опустела и рабыня, бесшумно ступая босыми ногами, убрала со стола и подала чай и молоко в кувшине, они пили его в молчании.

— Теперь читать, — сказал наконец фермер.

Кто-то из детей достал из ящика огромную Библию в кожаном переплете и положил на стол перед хозяином. Тот долго листал ее, видно, ища место, где он остановился вчера, наконец нашел.

В углу за очагом кудахтала наседка, возился на своей соломенной подстилке ягненок. Наконец стало тихо в комнате.

Хозяин принялся читать, весь сморщившись от напряжения и то и дело запинаясь и сбиваясь, его заскорузлый палец медленно, точно навозный жук, полз по словам.

> «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?
>
> Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки.
>
> Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит.
>
> Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя».

Он умолк и поднял голову. Под его взглядом Элизабет потупилась. Слегка смешавшись, он снова обратился к Библии и начал искать стих, которым кончил; рот его был приоткрыт, в углах губ собралась слюна. Наконец он нашел и стал читать дальше, медленно, по складам:

> «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, — и нет ничего нового под солнцем.
>
> Бывает нечто, о чем говорят: „Смотри, вот это новое“, но это было уже в веках,

бывших прежде нас.

Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после».

Тяжко вздохнув, закрыл толстую книгу и застегнул медные застежки.

— Теперь молиться.

Жена фермера и Элизабет преклонили колени на земляном полу и, положив локти на жесткие скамейки, стали слушать, как он молится. Вдали где-то заворчало, будто прокатился раскат грома. Гром? Нет, невозможно, откуда взяться грому?

Адам сидел на полу среди рабов и слуг и неотрывно смотрел на нее. Наверное, она чувствовала его взгляд, потому что ни разу не разомкнула век. Прижатые к щекам руки дрожали. Впрочем, может быть, так только казалось в свете лампы.

…Вот она стоит на коленях в той же комнате, где Находишься ты, при свете той же лампы, женщина, принадлежащая тебе. Она возвращается домой. Смерть подошла ко мне вплотную. Я люблю тебя, но в этот миг я полон ненависти. Зачем я вывел тебя из страны грифов? Чтобы ты упрятала свое тело в шелковое платье, сшитое в Капстаде, снова встала на колени и закрыла глаза? Я-то

знаю, как ты крепка и вынослива, как ты жестока и прекрасна. Я позволил тебе называть меня именем, которое произносила только моя мать. Что будет, если я вдруг встану, положу ей руку на плечо и громко скажу: «Оставьте ее. Она моя!»

Казалось, молитва никогда не кончится. Снова прокатился глухой гул, точно за горизонтом бежало огромное стадо газелей. Потом гул смолк. Хозяева встали, с шумом подвинули по неровному полу скамейки. На столе не мигая горела медная лампа.

— Ваш раб может спать в кухне вместе со всеми, — сказал хозяин. На Элизабет он не смотрел.

— Я… — она снова запнулась, с усилием глотнула, но ничего больше не сказала.

Огромная тень фермера падала на оштукатуренную стену и даже на потолок, зловещая и уродливая. Элизабет бессильно склонила голову. Во время молитвы она чуть не уснула. Безмерная усталость проникла в каждую клеточку ее тела.

— Вы ляжете с нами, — грубо приказал он.

— Я буду спать на полу.

— Кровать большая, места хватит. — Он посмотрел на жену. — Отведешь ее в спальню, — распорядился он и вышел — наверное, осмотреть загоны, двор и помочиться.

— Идемте, — позвала хозяйка. Она зажгла свечу от огня лампы и направилась в спальню.

— Право же, я…

— Он так велел.

В дверях Элизабет оглянулась. Возле очага копошились темные тела. Она не различила, где среди рабов — Адам.

Беременная хозяйка опустилась на кровать, вздохнула тяжело, как раньше, и принялась расстегивать платье, сняла его, вынула шпильки из волос; тень на стене повторяла все ее движения. В рубашке она вдруг показалась Элизабет совсем молодой и почему-то беззащитной. Женщина легла под одеяло и отодвинулась к краю кровати.

Элизабет по-прежнему стояла, взявшись за ленты на корсаже нового платья, но не развязывала их.

— Ну что же вы? — сказала женщина.

Элизабет повернула голову к крошечному оконцу. На дворе была непроглядная темень. В затхлую духоту спальни тянуло оттуда свежестью, прохладой. Послышались тяжелые шаги.

— Раздевайся, — раздался голос у нее за спиной.

Она обернулась. Хозяин стоял у порога, широко расставив ноги и, подбоченившись, смотрел на

нее.

И вдруг двинулся к ней. Земляной пол еще не просох после ее купанья и был в темных пятнах от воды, которую она расплескала.

— Чего ты дожидаешься? — сказал он.

— О господи, Ганс! — ахнула жена, не вставая с кровати.

— А ты молчи! — рявкнул он на нее.

Женщина с привычным вздохом отвернулась к стене.

— Ну? — сказал он. — Будешь ты наконец раздеваться? — Он протянул руку и схватил Элизабет за ворот.

— Что вы делаете? — в растерянности залепетала она, пытаясь его урезонить. — Я обратилась к вам за помощью, я…

Он рванул платье, послышался треск материи.

— Не смейте! — закричала она в бессильном гневе. — Будь я мужчиной, вы оказали бы мне гостеприимство. Приютили бы у себя, позволили выспаться, отдохнуть. А я всего лишь женщина, и вы…

— Снимай платье! — заорал он.

Она вырвалась из его рук и метнулась к кухне, но он одним прыжком опередил ее и со злобным смехом загородил дверь.

— Адам! — крикнула она.

Хозяин растерялся. Сзади раздался легкий шум, хозяин быстро обернулся и приказал:

— Убирайся отсюда!

— Не смейте его трогать, — сказала Элизабет, стараясь унять дрожь в голосе. — Это мой муж.

— Врешь!

— Господи, Ганс! — простонала женщина, приподнимаясь на локтях в углу своей широкой кровати.

— Это мой муж, — повторила Элизабет. — Мы вместе прошли весь путь с самого начала.

— Оставьте ее, — сказал Адам.

Де Клерк молча глядел на него, разинув рот. Элизабет подумала, что в жизни не забудет его лица — такое на нем застыло недоумение и тупая злоба. Слишком уж он был ошарашен ее признанием, не мог его сразу переварить.

Элизабет стояла не дыша. Если хозяин кинется сейчас на Адама, да еще кликнет на подмогу слуг, — все пропало, их убьют. Их жизнь висит на волоске, и вокруг ночь без конца и без края.

Снова прогрохотало вдали.

— Как это я не догадался! — наконец прорвало хозяина. — Разве порядочная женщина пришла бы сюда в таком виде? Шлюха, грязная шлюха.

Мы здесь с таким отребьем не знаемся. Мы добрые христиане!

— Я только попросила у вас пристанища, — напомнила ему Элизабет.

— Забирай своего черного жеребца и убирайся! — крикнул он.

— Ганс, Ганс, ведь сейчас ночь, — умоляла его жена. Она сбросила одеяло и спустила с кровати ноги.

— Молчи, не твое дело! — приказал он.

— Она потеряла ребенка, — сказала женщина.

— Как же нам добираться дальше? — возмутилась Элизабет.

— Так же, как сюда добрались. Пешочком. А то садись на него верхом да скачи!

— Мой отец заведует складами Компании в Капстаде! — Она надменно вскинула голову.

— Плевал я на Компанию! Плевал на ваш Капстад! Здесь я хозяин!

— Я пожалуюсь на вас, когда вернусь домой, вы живо узнаете, кто здесь настоящий хозяин!

— Ганс, дай ты им лошадь! — просила женщина. — Это же такой пустяк. Ты только посмотри на эту бедняжку!

— Эта бедняжка — потаскуха! Путается с черными ублюдками!

Он не успел договорить — Адам схватил его за ворот. Де Клерк растерялся, его поразил не гнев Адама, а то, что он посмел на него накинуться. Ему бы отшвырнуть Адама, а он вдруг побелел как полотно и начал в страхе умолять:

— Не убивай меня! Пожалей жену, она на сносях.

— Дайте коня.

— Дам, дам, — скулил он. — Все берите, Летти соберет вам в дорогу еды, только отпусти меня.

Адам старался унять бурное дыхание и успокоиться. Он с такой силой оттолкнул хозяина, что тот упал на пол. И пока поднимался, Адам схватил одно из ружей, что стояли у стены.

— Ведите к коню.

— Ружье не заряжено, — сказал де Клерк не без злорадства.

— Конь где?

Фермер с ненавистью посмотрел Адаму в глаза, потом повернулся к Элизабет. Она отвела взгляд.

— Пойду сложу им еды, — поспешно проговорила фермерша.

Когда они выезжали в темноте со двора, за спиной у них громыхнул выстрел. Залились истошным лаем собаки, сердито заспорили голоса, потом все смолкло. Адам натянул поводья, сдер-

живая коня, и пустил его ровным шагом. Зачем животному на первых же порах выбиваться из сил, им предстоит еще долгий путь.

Все произошло так быстро, что оба они очень долго не могли опомниться и ехали молча. Это был конец. Нет, переход. Начало.

В лицо бил влажный ветер. Казалось, прошла вечность.

— Спасибо, хоть в минуту опасности ты не отреклась от меня, — произнес Адам еле слышно, и она не узнала его голоса в темноте.

Она вся сжалась, хотела ответить, но горло перехватило. И она лишь затрясла головой и уткнулась ему в грудь.

— Да, вот где наконец настиг нас Капстад, — сказал он после долгого молчания с едкой горечью, и ей показалось, будто ее ожгло кнутом.

— Не надо, Адам, зачем ты так. — Она боролась со слезами. — Я ведь сказала им, что ты мой муж.

Он не ответил. Он сидел на лошади у нее за спиной, точно каменный.

— Пойми, я же скрыла ради тебя, — горячо убеждала она. — Неужто ты не понимаешь? Я боялась за тебя — вдруг бы он тебя обидел. Я не могла допустить, чтобы он тебя унизил или оскорбил.

— Да, и он всего лишь отослал меня на кухню.

— Я скрыла, чтобы спасти нам жизнь. Мы вынуждены были зайти к ним, надо было передохнуть и поесть, иначе что бы с нами теперь было? Ведь мы же с ног падали, ты сам отлично знаешь.

— Ты была готова заплатить цену, которую он назначил.

— Я была готова погибнуть, защищая тебя.

Он ничего не ответил.

Она прижалась к нему и, перестав противиться слезам, заплакала в таком безудержном отчаянии, что он был поражен.

— Господи, господи! — молилась она сквозь рыдания, обретя наконец способность говорить. — Спаси нас, огради от несчастья, господи… Помоги мне, Адам, я больше не могу, я не вынесу!

Обезумев от горя, она даже не заметила, что он остановил коня, снял ее на землю и, намотав поводья на руку, с нежностью и страхом прижал ее к себе.

— Что же это? — прошептал он наконец. — Что с нами будет, если мы станем предавать друг друга?

Она поняла, что и он плачет, его худое израненное тело сотрясают беззвучные рыдания.

— Адам, — с мольбой прошептала она. — Адам… Аоб, любимый…

Обнявшись, они просидели на земле до рассвета. А день все не брезжил, потому что небо затянули тучи.

— Мы никогда больше не допустим такого ужаса, — сказала она, пряча голову у него на груди. — Никогда! Мы будем беречь друг друга, иначе нам не выжить. Мы слишком слабы, слишком ничтожны. И если погибнем, ничего от нас не останется — будто нас никогда на свете не было.

— Идем, — сказал он наконец. — Пора в путь.

Ведь они еще не дошли до конца. Впереди горы, и надо их одолеть. И потом опять идти дальше. Капстад приближался, но до него еще было далеко.

Они взобрались на старого одра с провалившейся спиной, которого им дал скряга фермер, и снова поехали. Горы медленно поднимались перед ними все выше, выше. Но они не чувствовали ни радости, ни хотя бы облегчения. Они просто продвигались вперед, ничего не видя и не слыша, немые, опустошенные, оставив позади иллюзии, в печали, которой не найти утоления.

В воздухе сгущалась влага. Они уже чувствовали ее запах. Собирался дождь.

Идет дождь. Впрочем, теперь им не кажется, что произошло чудо. Месяц, даже неделю назад дождь был бы для них спасением, но сейчас карру позади, они поднимаются по горам и им не угрожает смерть от жажды, но все равно дождь — благо. Они радуются ему как дети.

Ни ему, ни ей не приходит в голову, что надо бы найти укрытие. Горы встают гряда за грядой, все круче и выше. Но видно, что здесь проходил не один караван, на земле колеи колес, следы копыт, Элизабет и Адам идут торной дорогой, которая то вьется по горам, то спускается в ущелья. Адам ведет коня на поводу, но они с Элизабет то и дело останавливаются и, подставив лицо дождю, с наслаждением его пьют. По телу текут струи, длинное платье намокло и облепило ее сверху донизу, оно мешает идти, зато какое блаженство ощущать всей кожей прохладное прикосновение мокрой ткани.

Оставив коня пастись, они как дети бегают наперегонки под дождем, ловят друг друга, увертываются, падают, поскользнувшись, на землю, в заросли протеи и вереска, и лежат, задыхаясь от смеха, а дождь льет и льет на них, напитывая тело влагой.

Наконец они устали от игры. Он развязывает

свой узел, с трудом распутав жесткие намокшие ремни, и вынимает клубень, который вырыл из земли еще в предгорьях. Поскоблив его ножом, он дает ей горсть мелких стружек и показывает, как размылить их в пену. Она освобождается от липнущего к телу платья и сбрасывает его на землю. Дождь льется на них непрерывным потоком, а они намыливают друг друга, трут, смывают пену, невинно радуются чистоте. Гладкие и скользкие, блестящие, как вышедшие из воды выдры, они ложатся на траву и обнимают друг друга под дождем и чувствуют, что растворились в этой глине и в воде, в этой ничейной земле, что лежит между мертвым плоскогорьем и плодородными долинами Капстада, между будущим и прошлым. Здесь они принадлежат сами себе, над ними не довлеет чужая воля, в этой своей игре, в плавном колыхании тел они чувствуют себя сродни земным стихиям. И когда наконец они замирают в изнеможении с бешено колотящимися сердцами, они так и остаются лежать на земле, тела их переплелись, точно корни, и льющаяся с неба вода смывает следы глины и былинки.

Уткнувшись лицом во впадинку возле ее ключицы, он говорит, смеясь освобожденно:

— Ты пахнешь землей и водой. Господи, как ты

красива, как желанна.

— Умереть бы сейчас, — говорит она. — Мне казалось, я умираю, и в то же время так остро чувствовала, что живу.

Долгое время спустя он наконец отодвигается, и ее тело невольно тянется за ним в попытке удержать, от неожиданного ощущения утраты и пустоты она чуть не плачет. Поджав колени, она свертывается клубочком, как ежик, стараясь сохранить тепло, которое он подарил ей, волосы ее разметались по траве, спина в глине.

— Скоро темнеть начнет, — говорит он ей, помогая подняться.

Оба ошеломлены: куда же девался день? Уже сумерки. Придется здесь ночевать. Но негде укрыться, под проливным дождем не разглядеть пещеры, а деревья и кусты сейчас не защитят. Они устраиваются в крошечной нише в склоне горы и прячутся от дождя за крупом коня. Но их все равно заливает, и к тому же заметно похолодало. В сумерках видно, что возле носа коня вьется белое облачко. Всю ночь они стараются согреть друг друга, завернувшись в тяжелую кароссу. Нигде нет сухой щепки, чтобы развести костер, нет крупицы тепла, которая бы их согрела. Теперь они раскаиваются в своем сумасбродстве и удивляют-

ся, чему так бурно радовались днем? Мгновенье, которое было так совершенно и прекрасно, мгновенье счастья и высшей полноты бытия, когда она кричала и билась в его объятиях, — это мгновенье отдалилось от них, отодвинулось, утратило достоверность. Восторг казался беспредельным, вечным, — и вот потускнел, исчез.

Неужто счастье может длиться лишь мгновенье и это мгновенье нельзя удержать? — думает она, борясь с поднимающимся в груди кашлем. Мы верим в это мгновенье так безраздельно, что готовы платить за него страданиями всю жизнь. Но вот оно пролетело, и все, что от него осталось, — эта ночь в горах, ведь даже память приглушает и искажает прошлое. Мгновенье было так богато и что же? Сейчас они лишь знают, что пережили его, — или просто верят. А завтра?

Трясясь от холода, они наблюдают, как занимается серый день. Нет, больше ждать невозможно, они выскакивают из укрытия и бегут по склону, чтобы хоть немного согреться. Внизу мчится рыжий пенистый поток, они переправляются через него и сразу же начинают подниматься по противоположному склону. Скорее, скорее, останавливаться нельзя. Уже наступают сумерки, когда наконец они нашли небольшую пещеру и в

ней кучу сухого хвороста. Адам разводит огонь, — ну вот, разгорелся, теперь можно подложить и мокрых веток. От костра гораздо больше дыма, чем тепла, но все лучше, чем вчерашняя ночь под проливным дождем. Элизабет кашляет, однако не так сильно, как зимой в горах.

Еще два дня льет дождь, потом солнце пробивается сквозь редеющие облака и брызжет на траву. Они поднимаются к последнему перевалу. Внизу раскинулась долина, она тянется на юго-восток, расширяясь веером. Вьется дым над крышей далекой фермы. Вот она, обетованная земля, они почти у цели. Осталось дней десять — пятнадцать, не больше.

А потом издохла лошадь. Отравилась ядовитыми ирисами, которые выросли после ливней, объяснил Адам. Старая кляча едва тащилась, и все же, когда Элизабет ехала верхом, они продвигались намного быстрее. А сейчас лошадь лежала на боку с раздутым брюхом среди цветущего аронника.

Они сидели возле мертвой лошади. На Элизабет было коричневое шелковое платье, сухое, но мятое, как тряпка после ливня. Эта незадача совсем выбила их из колеи.

— Все начало налаживаться, и вот… — горько

сетовала она. — Ведь мы и так немало пережили, казалось бы, довольно!

— Наверное, мы поспешили, — почему-то сказал он.

— Как же нам было не спешить? — удивилась она. — Мы уже столько времени идем и идем.

— А куда мы идем, Элизабет? — вдруг спросил он серьезно.

Она в изумлении уставилась на него.

— Какой странный вопрос! Почему ты спрашиваешь?

— Полно, такой ли уж странный? Мы все время твердим: в Капстад, в Капстад, домой… — Он с нежностью погладил гриву мертвого коня. — А в какой Капстад мы идем?

— На свете есть только один Капстад.

— Да, так нам казалось, когда мы были далеко. Так нам хотелось. Но чем ближе мы подходим… — Он умолк и долго молчал, потом посмотрел ей в глаза. Ветер легонько играл ее волосами. — У тебя один Капстад, у меня — другой. И ты это хорошо знаешь.

— Мы с тобой придем совсем не в тот Капстад, где жили раньше, — пылко возразила она, стараясь убедить его взглядом. — Теперь там все будет по-другому. И мы начнем жизнь заново.

— Ты думаешь, это возможно — начать жизнь заново?

— Но ведь мы с тобой так хорошо обо всем переговорили! У тебя опять появились сомнения?

— Опять? Они никогда и не исчезали. Но по ту сторону гор от сомнений было легче отмахнуться. Тогда было важно другое — выжить. Зато теперь мы должны знать, что нас ждет.

— Как только мы вернемся, я испрошу у губернатора помилования для тебя. Ведь мы же с тобой все решили, верно?

— А если я и вправду убил в ту ночь Левиса? Убийце нет прощения.

— Ну и что же, ты спас жизнь мне и тем самым искупил смерть Левиса. — Она настойчиво смотрела ему в глаза. — Адам, почему ты мне не веришь?

— Тебе-то я верю. Но я хотел бы хоть немного поверить Капстаду.

— Ты столько раз говорил, что не можешь больше жить вдали от Капстада.

— Да, говорил. А теперь я должен понять, могу ли я жить в этом самом Капстаде.

— Ты будешь свободен, — напомнила она. — Так же свободен, как и я. Сможешь делать все, что захочешь, и никто не посмеет тебе помешать.

Ты слишком много думаешь о прошлом. Ведь ты изменился и стал совсем другим человеком.

— Но стал ли Капстад другой страной? — не сдавался он.

— Чего же ты тогда хочешь? — сердясь спросила она. — Без тебя я туда не пойду. Но и здесь не могу остаться.

— Без тебя я туда не пойду, — повторил он с вымученной улыбкой. — Если бы ты только знала…

— Адам, ты должен доверять мне.

— А о себе ты подумала? Может быть, тебе будет еще тяжелее, чем мне. Твои родные тебя отвергнут.

— Ты мне дороже. И если мне придется выбирать между ними и тобой, что ж — я уже выбрала.

— Но представь себе, что мы поженились, что прошло много лет… С тобой перестанут знаться, будут отворачиваться от тебя на улице, чураться твоих детей, и я все это буду видеть, я буду видеть, как ты осталась в одиночестве. Думаешь, я смогу все это вынести, зная, что тебя наказывают за меня?

— Глупости. Сколько белых вступают в брак с чернокожими! — В ее глазах вспыхнуло негодование. — Даже старый губернатор Ван дер

Стель — говорят, то ли его мать, то ли бабка была негритянка.

— С тех пор прошло полвека, и за эти полвека многое изменилось. И потом, когда белый женится на негритянке, это еще полбеды, но чтобы белая женщина вышла за негра!

— Адам, я тебе обещаю! Прошу тебя, верь мне.

— Они тебя никогда не простят, — безжалостно продолжал он. — Ведь если их женщины станут выходить за черных, от порядков, которые они установили, ничего не останется, и они уже не смогут быть хозяевами страны. Неужто ты не понимаешь?

— Просто ты не можешь забыть пережитых мучений. Ты так настрадался, что даже не хочешь поверить в другую жизнь.

— Ты думаешь, я не хочу? — спросил он. — Господи, неужто ты и в самом деле так думаешь?

Она медленно склонила голову. Лошадь лежала неподвижно среди смятых белых цветов. В траве жужжали пчелы.

— Ладно, пусть ты права и все у нас с тобой сложится благополучно, — сказал он наконец. — Нас не отвергнут, мы будем вместе, мы будем счастливы. Я получу свободу, — получу благодаря тебе. А моя мать? Она так и останется рабыней

и будет гнуть спину в поместье своего хозяина. А все остальные рабы в стране? Мы с тобой не изменим их долю, как бы ни старались. Капстад навеки останется Капстадом. Я буду единственным исключением, и то, если мне повезет.

— В таком случае тебе не надо было возвращаться, — сказала она.

— А что мне было делать?

— Ты хочешь отвести меня домой, а потом вернуться в пустыню и снова бродить один, как раньше?

— Уж лучше казнь. Уж лучше я пойду и сам себя им выдам.

— Так что же нам делать? — с мольбой спросила она. — Где выход?

— Выхода нет. Это-то и страшно. Ведь когда человек задает вопросы, это значит, что на них нет ответа, ты разве не знала?

Он посмотрел на свои ладони, на длинную гноящуюся рану — она горела, рука распухла до плеча и стала черно-багровой. Сколько мы всего пережили за этот год, и счастья и горя, и все случилось помимо нашего желания, ни ты, ни я не выбирали свою судьбу. Мы даже старались уберечь себя от любви. Мы ее гнали, но она пришла и подчинила нас себе и стала смыслом нашей жиз-

ни. И уж раз так случилось, раз наши надежды исполнились, мы должны вынести все, что нам выпало. Мы виновны, нам не уйти от расплаты. Нас ждут плети из гиппопотамовой кожи и раскаленное железо, ждут крики чаек на нестихающем ветру. А потом? Потом когда-нибудь опять плеск черной воды под веслами, и снова все сначала. Может быть, это и есть самое большое счастье, на которое человек может надеяться.

— Идем, — говорит он ей тихо. — Идем, нас ждет Капстад.

Но его рана не пустила их. Травы, которые им дали готтентоты, приостановили было воспаление, но рука не зажила. Может быть, Адам натрудил ее во время перехода через горы, или ливень разбередил рану, кто знает, но через несколько дней после смерти лошади ему стало совсем плохо. Ночью он не сомкнул глаз, однако не будил Элизабет, хотел, чтобы она отдохнула. Но когда взошло солнце и она открыла глаза, то с ужасом увидела, что лицо у него серое, как зола, и искажено от боли, а лоб покрыт каплями пота. Он стиснул зубы и все равно не мог удержать стона. Рука чудовищно распухла и почернела. Порой он впадал в забытье и бредил.

Он велел ей разбить одно из страусиных яиц

и растолочь скорлупу на камне, потом приподнялся с ее помощью и стал есть порошок из ее ладони. Но жар не спал.

Она осторожно намазала ему рану медом, как сам он все время мазал, но и мед не помог.

— Неужели больше ничего нельзя приложить? — в отчаянии спросила она.

— Можно приложить недотрогу, — с трудом проговорил он. — Или полынь. Они хороши от лихорадки.

— Где их найти?

— Я пойду с тобой и покажу.

Но через минуту ему снова пришлось лечь, он весь горел, его качало от слабости. Элизабет оставила его под деревом и ушла искать листья, которые он ей описал; на всякий случай она рвала все подряд.

В последние дни им несколько раз встречались фермы, но она боялась за Адама, не зная, как их примут хозяева, и они старательно обходили жилье. Право, лучше уж пустыня, чем фермеры в такой дали от закона и властей. Но сейчас Элизабет молила бога послать им ферму, а фермы не было.

Она целый день носила ему листья, но все оказывалось не то. В конце концов они решили

испробовать листья, которые она нашла, растолкли их, сварили в скорлупе страусиного яйца и, не остужая, приложили горячую массу к ране. Потом она укрыла его кароссой и снова ушла на поиски.

Он лежал под деревом, закрыв лицо руками и стиснув зубы.

Если он сейчас умрет, думал он, ей будет легче. До Капстада совсем близко, она доберется и одна. Но при мысли о смерти все его существо бунтовало. Пройти такой путь, прожить в страданиях столько лет и умереть у самой цели! Нет, нет, ведь он всегда побеждал смерть. Когда его укусила змея, он был ближе к смерти, чем сейчас. Когда он ослабел от жажды, упал и не мог идти, смерть заглянула ему в глаза. И все-таки каждый раз поблизости оказывались люди и спасали его — люди, которые хорошо знали эту страну. А сейчас с ним не было никого, кроме Элизабет. Как она узнает среди такого множества трав и кустов исцеляющую раны недотрогу?

Бабушка Сели, ты бы ее сразу нашла. Все склоны гор в Паданге сверху донизу покрыты недотрогой, прикоснешься пальцем к одному дрожащему листку, и все они свернутся. Там недотрога не такая, как в Капстаде, она другой породы. Другой

породы и гораздо красивей. Все в твоей прежней жизни было не таким, как в Капстаде, все было гораздо красивей — вулканы и берега, заросшие пальмами, коралловые рифы, гибискус и кинамон, жасмин, лилии. А теперь ты лежишь на кладбище под горой, где хоронят малайцев. Тебя хоть перед самой смертью отпустили на свободу. Бедняжка, там так голо и пусто, один-единственный ряд деревьев защищает могилы от ветра, — то ли дело голландское кладбище с часовней и массивной каменной стеной.

Не в тот ли день все началось? Мы узнали, что она умерла, и мать убежала тайком хоронить ее, а баас велел мне идти во двор… Нет, мама, довольно! Всю жизнь ты уговаривала меня склониться перед белыми, принять их законы — для них эти законы одни, для нас совсем другие. Нам ничего не позволяли, мы могли только стоять на коленях и твердить: «Благодарю тебя, баас». Но с меня хватит, конец: я не подниму руку на тебя, мама. Отца и деда я не знал, — одного казнили, другого продали, но с тобой я прожил всю жизнь. Ты лечила мои раны и утешала меня, когда я был ребенком. Ты — моя мать. Вот я хватаю ножку для стола, чудесную гладкую ножку, которую я с такой любовью выточил из можжевельника, — в Капстаде

нет столяра-краснодеревца искуснее меня — и бью его по голове. Пусть теперь забирают меня и уводят. Пусть привязывают к позорному столбу перед дворцом губернатора. Пусть кричат у меня над головой чайки. Я только об одном жалею: меня приговорили всего лишь к плетям и клеймению раскаленным железом. Мой дед Африка был настоящий мятежник, не чета мне. Он умер здесь же на площади, привязанный, может быть, к этому же самому позорному столбу, но сначала ему переломали на колесе все кости. «Умирая, я стал человеком»… Я недостоин тебя, Африка. Тем более сейчас: ты видишь, я возвращаюсь в Капстад, я разыгрываю из себя белого, собираюсь открыть мастерскую и делать мебель… Они укротили меня и надели на шею ярмо. Прости меня, дед мой Африка, прости, бабушка Сели, простите, отец, мама, простите меня, люди. Я оставил тех, с кем я должен быть. Но я люблю ее.

Я столько времени крался за их караваном, я видел, как они шаг за шагом губят себя, и когда я в тот день подходил сквозь заросли дикого инжира к ее фургону, сам ли я сделал выбор или был избран и просто выполнял предначертанное?

Тогда я еще мог вернуться. Что мне была белая женщина, которая осталась одна в пустыне?

Сколько их — черных, шоколадных, белых — лежат непогребенными среди холмистых вельдов. Одной больше, одной меньше, не все ли равно?

Чего я от нее тогда хотел? Не тело ее мне было нужно, нет. Я уже любил одну женщину в темноте и потерял ее, с меня было довольно. После такого говоришь всем остальным: «Нет, я не могу с тобой жить, ты бесплодна», и уходишь. Так чего же я от нее хотел? В тот первый вечер, когда она мылась в своем фургоне при свете лампы и на стенку падала ее черная тень, — закинутые за голову руки, упругая грудь, легкая припухлость живота, — нет, нет, я чувствовал не желание. Не просто желание. Желанием я научился управлять, оно легко вспыхивает и его легко подавить. Так что же, что же?

Что вынудило меня подойти к ней, когда она стояла у реки на валуне, взять одежду — одежду ее мужа, не мою, — разорвать в клочки и швырнуть на ветки нашей изгороди? Чего я хотел — посмеяться над ней, оскорбить ее, испугать? Нет, дело было не в ней, а во мне. Я хотел подавить свою дрожь и громко сказать всему миру: «Вот я, смотрите: я — человек». Сколько же дерзости надо вложить в свой протест? Ведь так легко хватить через край, так легко ошибиться!

А потом я ушел с покинутой фермы на охоту и брел по вельду, не обращая внимания на пасущихся антилоп и зайцев, я твердо решил не возвращаться, но оставалась ли у меня еще в тот день возможность выбирать? Или все было предрешено заранее, мне было суждено вернуться к тому, чего я страшился, суждено прийти к ней и сказать: «Вот, возьми меня, возьми мою судьбу».

Неужели все мои муки и сомнения окажутся напрасными только потому, что в этой долине не растет недотрога?..

С листьями недотроги в руках вернулась она к нему в сумерки, даже не зная, что нашла как раз то, что искала. Они опять растолкли листья, заварили их и приложили горячую массу к ране. Всю ночь она просидела возле него, слушая, как он бормочет что-то в забытьи и стонет.

Когда я умирала от голода и жажды в карру, ты ушел и отыскал антилопу, которая всю ночь защищала своего детеныша от шакалов. Ты прогнал хищников. Наверное, она решила, что ты пришел спасти ее. А ты убил детеныша, и ее ты тоже убил, чтобы утолить ее молоком мою жажду. И, мстя за предательство, она распорола тебе руку рогами. Теперь настал твой черед. Я опоздала, теперь я вижу. Если бы я только знала, чего искать, я бы

давно вернулась, ведь эти кусты растут по всей долине. Я учусь так медленно, так запоздало.

Ты лежишь передо мной беспомощный, точно младенец, о котором я должна заботиться, и руки мои полны целебных листьев. Через день-два будут люди, может быть, они приветят меня, может быть, обидят. А потом все-таки отвезут в Капстад. К матери с ее вечными жалобами на весь мир и мечтами об Амстердаме и Батавии. К отцу с его загубленной жизнью и рабской преданностью Компании. Снова будут званые вечера, балы во дворце, пикники на Горе, прогулки в Стелленбос и в Дракенстейн, будут приходить в гости офицеры, путешественники из других стран. В одно из воскресений — кто знает? — снова будет бой быков. Жизнь потечет своей чередой, как раньше… нет, не так, как раньше! Но разве я смогу оставить тебя здесь? Даже если ты умрешь сегодня ночью у меня на руках, я не покину тебя. Ведь ты все время был со мной. Ты освободил меня. И навсегда связал меня с собой.

Ты крестил меня своей кровью, я тебя — влагой своей любви. Мы прошли такой долгий путь, постигая друг друга, была такая сушь и нечем было утолить жажду, были мертвые дети. Но мы находили водоносные клубни, кафрские арбузы

— кенгве, маленькие красные огурцы, съедобные коренья. Были страусиные яйца и мед на могиле умершего бога, было молоко антилопы и убиенный новорожденный детеныш. И были лес и море. Никогда этого не забывай. Был рай, Эдемский сад. Он был, был! И потому ты будешь жить, Адам, и в поте лица твоего будешь есть хлеб. И я буду жить. Так уж случилось. Мы есть, мы существуем.

Если ты исцелишься, я до конца дней моих стану оберегать твою жизнь. Забуду тщеславие, забуду себя. Буду смиренно ограждать тебя от разочарований и злобы, которая царит вокруг. Покуда смерть не разлучит нас. Не умирай.

— Хотим мы или не хотим, но все равно в конце концов приходится умирать, — говорил старик с тонкими лиловыми прожилками на щеках и на носу, глядя на нее смеющимися зелеными глазами. Он сидел на стуле, широко расставив ноги и выпятив брюшко, обтянутое дорогим жилетом с золотым шитьем, который привезли месяц назад из родных краев. — И потому надо жить добродетельно. Ведь дьявол ни днем, ни ночью не спускает с тебя глаз. И если ты согрешишь, он ввергнет тебя в озеро серное и огненное, и ты будешь гореть там до скончания века, стеная и

скрежеща зубами.

— Нет, дядя Якобс, я туда не хочу, — сказала она, побледнев, срывающимся голосом. — А вот посмотреть одним глазком интересно.

— Страшное зрелище, — с увлечением продолжал старик. — Сидит зверь багряный, преисполненный именами богохульными, с семью головами и десятью рогами, и на нем жена, облеченная в порфиру и багряницу. Вопят и стенают проклятые господом. Еще страшнее, чем преступники, которых казнят перед дворцом. И так во веки веков.

— Не пугайте ребенка, зачем вы рассказывает такие страсти? — с неудовольствием сказал отец, который сидел против дяди Якобса за маленьким столиком в тени шелковицы. — Ваш ход, Стефанус.

— Ах, папенька, мне так хочется послушать про ад.

— Такие рассказы не для детского слуха, — сердито возразил отец.

— Лучше заранее знать, что тебя ждет, и остерегаться, — сказал Якобс и положил руку на плечо девочке. — Верно, Элизабет?

Она кивнула. Он провел рукой по ее спине, на миг задержавшись внизу, на ягодицах. Она

учащенно задышала, замирая в предвкушении удовольствия и жуткого страха.

— Скоро за тобой начнут ухаживать молодые люди, — говорил он. Она стояла, прижавшись к его стулу. Сидящий напротив отец сосредоточенно думал, склонившись над шахматной доской.

— Элизабет еще не интересуется молодыми людьми, — сказал он с досадой, не поднимая глаз от шахмат.

— Ты в таком возрасте, когда девушку легче легкого ввести в искушение, и потому надо заранее знать, с чем ты можешь столкнуться, — продолжал Якобс. — Твой ход, Элизабет, посмотрим, запомнила ли ты, чему я учил тебя в прошлый раз.

Она передвинула коня.

— Как же ты папенькиного слона не заметила? — ласково укорил ее Якобс. Его рука поднялась выше и ущипнула ее за бедро. — И если молодые люди станут позволять себе вольности, ты сумеешь поставить их на место, верно, Элизабет? — спросил он, возвращаясь к прежней теме.

— Да, — прошептала она, кивнув головой.

Отец сделал ход.

— Теперь снова ты, Элизабет.

Она с минуту изучала доску, закусив губу. По-

том пошла пешкой.

— Ага, это уже лучше. Самое драгоценное достояние девушки — ее чистота. Не забывай об этом ни на минуту. Знаешь, что я тебе советую? Плюнь На вертопрахов, которые будут вокруг тебя увиваться, и посвяти себя заботам о старом дядюшке. А уж я буду ублажать тебя как принцессу.

— Хорошо, дядя Якобс.

Она стояла с пылающим лицом, сама не понимая, почему допускает все это. Боится она его? Нет, ни капли. Его не пришлось бы даже отталкивать, стоило чуть отодвинуться, — и он тотчас бы прекратил игру. Нет, тут какая-то другая причина. Ее манит самая опасность, близость адского пламени.

— Не упускай из виду папенькину ладью. В этой жизни нельзя зевать и ставить себя под удар, иначе пропал. А коли пропал — гореть тебе в адском пламени.

— Да ведь это всего лишь игра, Стефанус, — сказал отец.

— Шахматы — очень серьезная игра, Маркус, потому-то я и хочу, чтобы Элизабет выучилась ей с детства. Это прекрасная школа жизни. Она учит быть все время начеку. Молоденькую девушку подстерегает столько опасностей, согласитесь, ей

так легко погибнуть.

— Вас подстерегало столько опасностей, как же вам удалось не погибнуть? — спрашивает старик фермер, не спуская глаз с жены, которая разливает принесенный рабыней чай.

Элизабет пожимает плечами.

— Да вот выбрались как-то, — говорит она. — Адам защищал меня, заботился обо мне. Он у нас уже столько лет, с ним чувствуешь себя как за каменной стеной.

— Повезло вам, — говорит старик, помешивая чай. — Сейчас рабам уже нельзя доверять. Неблагодарные твари.

Она сидит, потупив взгляд. (Прости меня, что я снова вынуждена играть в эту игру, ведь это ради тебя, я хочу привести тебя домой целым и невредимым.) Больше всего ее удивляет, как легко она научилась лгать. Что ж, лиха беда начало.

— Вы говорите, несчастье случилось за горами?

— Да, на наш караван напали бушмены, — подтверждает она.

— И потом вы потеряли мужа. Бедное дитя, вы еще так молоды.

Элизабет не поднимает глаз. Старуха фермерша вздыхает и поудобнее устраивается в кресле,

расставив толстые ноги. Над головой ее вьются мухи, но она от них не отмахивается.

— Да, — произносит муж, — все мы в руце господней. И карает она жестоко. Но мы не ропщем, вот только скот все падает и падает. От ядовитых ирисов, после ливня они выросли.

— У нас тоже конь от них издох.

— Да, от божьего гнева не скроешься. Право, я думаю, он наказывает нас так сурово за преступления Компании. Бежать надо из Капстада, бежать как можно дальше. Возьмите, к примеру, нас. Когда-то мы поселились здесь с женой и семерыми сыновьями, а теперь вот остались одни. Дети разбрелись, ушли за горы, один дальше другого. И никакой силой их было не удержать, ровно бес в них вселился.

— Вы знаете, я хотела просить вас…

— Да, да, конечно. Вы хотите, чтобы мы помогли вам добраться до Капстада, вы уже говорили. — Он отпивает из чашки чай, вздыхает. — Право, не знаю, как и быть, уж больно время сейчас горячее. — Поднимается и идет к двери, смотрит на поля, на горы в лиловой дымке, окаймляющие долину, на низкое солнце. — Мы сейчас фрукты собираем, а тут еще виноград начал поспевать, работники от зари до зари на плантациях. При-

сматривать за ними тоже не легкое дело, скажу я вам, день-деньской на ногах.

— Тогда, может быть, у вас есть соседи…

— Нет, нет, вы меня не поняли. Ну конечно, мы вам поможем. Бедное дитя, остаться вдовой в такие годы. Просто сейчас каждая пара рук дорога.

— Я заплачу, — сухо говорит она.

— Что вы, господь с вами, вот выдумали! Разве я возьму денег за услугу? — Он возвращается к креслу. — Интересно, а что вы хотели мне предложить? — спрашивает он с плохо скрытым любопытством.

Она поднимает лежащее на полу возле ее стула ружье, которое Адам захватил в ту ночь, когда они бежали с фермы де Клерка.

— М-м, — задумчиво тянет фермер, беря ружье у нее из рук, заглядывает в дуло, щелкает курком, гладит приклад. — М-м… Кажется, недурная вещица… Больше-то у вас, наверно, ничего нет?

Она молча берет свой замызганный узел и развязывает ремень. Старики горящими глазами следят, как она развертывает грязную шкуру, потом разочарованно откидываются на спинки своих плетеных кресел.

— И все? — спрашивает хозяин.

Она поднимается со стула и во весь рост встает

перед ним в своем измятом шелковом платье, на исхудавших плечах лежат косы, голова высоко вскинута.

— Осталась только моя честь.

— Господь с вами, — поспешно говорит хозяин, уклоняясь от укоризненного взгляда жены. — Я же сказал вам, нам ничего не надо. Мы все должны помогать ближнему, верно ведь? Недели через две нам так или иначе пришлось бы снаряжать в Капстад фургон. У меня есть страусовые перья и яйца, слоновая кость, разные шкуры — сын недавно привез из-за гор. Отправим товар раньше, только и всего. Ну что вы, что вы, не стоит благодарности. А за ружье спасибо.

Она ехала в фургоне, и ей казалось, что все это происходит с ней во сне, никогда за все время их пути она не испытывала такого странного ощущения. И по лесам, и через горы, и через мертвые сожженные равнины они с Адамом шли пешком, и хотя порой казалось, что они шагают как заведенные, все же лишь от них одних зависело идти им или не идти, они сами решали, где остановиться на привал, где свернуть в сторону, где нужно ускорить шаг, где замедлить. Теперь они сидели, подчинившись колыханию фургона, медленно влекомого волами, и не в их воле было

изменить свой путь. Казалось, время приближает их к судьбе, с которой они заранее смирились. На Элизабет было коричневое шелковое платье, которое рабыня на ферме выстирала, накрахмалила и выгладила, на Адаме — полотняная рубашка и штаны до колен, которые стали узки старому фермеру. И эта одежда отдаляла их друг от друга. Им было неловко глядеть друг на друга, казалось, они только что обнаружили, что наги.

На козлах сидел старый раб Януарий в надвинутой на лоб широкополой шляпе, с коленей у него свисал длинный кнут из гиппопотамовой кожи. Казалось, волы знают дорогу с закрытыми глазами — сначала узким ущельем к зеленой, с пышной растительностью долине Ваверен, потом свернуть на север и ехать по широкой накатанной дороге вдоль русла извилистой реки до темно-золотых холмов Свартланда, потом опять на юг к огромному гранитному венцу Жемчужной горы. А там уже останется только голая Капстадская низменность, и через несколько дней пути на синем небе появится синий силуэт Столовой горы и станет медленно расти и подниматься выше, выше…

Да, все было словно во сне. Ночью Элизабет приходилось спать в фургоне, а Адам и их возница

устраивались на земле под кузовом. Даже днем они вынуждены были идти на всякие ухищрения и делать вид, что встретились случайно. Они не хотели, чтобы старик что-нибудь заподозрил. Впрочем, какая разница? К тому времени, как он вернется на ферму и все расскажет хозяевам, Адам и Элизабет уже будут в безопасности, Адам получит свободу. И все же что-то заставляло их таиться. Страх, что Януарий начнет болтать о них в Капстаде? Да, такой страх у них был, но главное — целомудренная сдержанность, потребность оградить от посторонних взоров то, что до сих пор принадлежало только им одним. Элизабет как бы замкнулась в себе, точно невеста перед свадьбой. День венчания так близок, так неотвратим, и ей хотелось прожить эти последние считанные дни с иллюзией непорочности. Ведь так скоро все развеется. А он, Адам, возможно, думал: «Сейчас, в этом нашем последнем переходе, от которого я не сумел тебя удержать и потому смирился, присутствие старика возницы снова сделало тебя недосягаемой, и я должен поддерживать эту иллюзию, должен даже на мгновение и сам поверить, что это — правда. Скоро я опять буду сжимать тебя в объятиях, скоро я опять обрету тебя. А сейчас нам почему-то надо, чтобы между

мною и тобой было расстояние. Это тревожит и, как ни странно, успокаивает».

Да, они были точно во сне. Казалось, они движутся вперед, а земля в это время медленно поворачивается назад, возвращаясь к прошлому, противясь будущему, которое рвалось им навстречу точно ветер, хотя в воздухе не было ни дуновения. Как мы похожи на антидорок, думал он, когда они неслись мимо нас лавиной по саванне, глядя огромными невидящими глазами в глаза своей судьбе.

Не верилось, что они возвращаются. Не верилось, что эти холмы, расстилающиеся вокруг них в темной зелени гигантских вересков, завтра уже будут принадлежать прошлому.

— Ты часто здесь ездишь? — спросил Адам возницу.

Старик перестал жевать табак, выплюнул вбок длинную струю слюны, потом сказал:

— Случается. Раза три-четыре в год.

— Тебе нравится там, на ферме?

— А что ж, нравится. Хозяин неплохой. Мы с ним вместе выросли. У меня жена в Капстаде, потому он всегда меня и посылает с товаром. Жену-то давно продали, еще до того, как мы сюда переселились. Сейчас она уже старенькая, уход

за ней нужен, забота. Уезжаю от нее и не знаю, приведет господь еще раз увидеться или нет?

— А если бы тебя отпустили на свободу?

Януарий тихонько рассмеялся.

— Зачем мне свобода? Сейчас обо мне баас печется, а дадут мне свободу — куда я денусь?

— Ты где родился, в Капстаде? — Адам и сам не понимал, зачем расспрашивает старика. Может быть, просто так, чтобы скоротать время, которое тянулось нескончаемо медленно, потому что Элизабет по целым дням лежала сзади них в фургоне и дремала.

— Нет, я родился не в Капстаде, — ответил Януарий. — Меня с матерью привезли с Мадагаскара. Но я еще маленький был, ничего не помню. И слава богу, что не помню, — добавил он, коротко рассмеявшись. Они долго ехали молча, потом он спросил: — Рад небось, что домой возвращаешься?

— Домой? — недоуменно повторил Адам.

— Ну да, в Капстад.

— А, да, конечно. — И, глядя в пустоту, медленно повторил: — Домой. В Капстад.

— Ты ведь давно оттуда?

— Очень. Я уже почти ничего не помню. Приеду и не узнаю, так, наверное, там все изменилось.

— Узнаешь, не волнуйся. Капстад не меняется, сколько я его помню, он всегда одинаковый. Ну, новые дома появились, новые улицы, церковь построили. Вон недавно виселицу новую поставили. А все равно как все было, так и осталось.

— Ты когда-нибудь бывал на острове?

— Это на острове Роббен, что ли? Нет, не бывал. Да и не приведи господь.

…Плеск весел, рассекающих воду, журчанье капель в темноте…

— А ты что, провинился перед законом? — вдруг осторожно спросил старик.

— Нет, что ты, — поспешно возразил Адам. — Я просто… просто плавал туда за фруктами и за водой для питья.

Януарий глянул на Адама старыми, все понимающими глазами и засмеялся.

— Ну и провинился, подумаешь, эка важность, чего скрывать-то? — Он положил в рот еще кусок прессованного табака. — Мне тоже в молодости ох досталось, как только шкура выдержала столько плетей. Горяч был. А к старости кровь остывает, смиряешься. Бунтуй не бунтуй, все едино.

— Моя кровь никогда не остынет, — решительно возразил Адам.

— Молод ты еще, потому и говоришь так. А в

старости вспомнишь мои слова.

— Тебя вон отпускают одного в такую даль, — неожиданно переменил разговор Адам. — Скажи, неужели ты никогда не пробовал убежать?

— Убежать? — В водянистых глазах старика выразилось изумление. — Куда ж я убегу? Я раб, я собственность моего бааса.

Адам ничего не ответил.

— Ну а ты, — настойчиво сказал Януарий, — ты разве убежишь сейчас от своей госпожи, а?

Долго молчал Адам, потом коротко сказал:

— Нет, не убегу.

— Ну вот, видишь! — И старик самодовольно засмеялся.

Фургон катился и катился, раскачиваясь и подпрыгивая на ухабах.

— Ступай-ка ты вперед и подгони волов, — распорядился Януарий. — Они сегодня что-то совсем разленились. Я хочу добраться до Жемчужной горы засветло.

Ощущая при каждом движении свое новое платье, Адам слез и пошел впереди упряжки. Совсем немного дней осталось. Интересно, мать все еще работает в поместье? Да жива ли она? Живы ли баас и… и Левис? Может быть, в Капстаде Адама забыли… Нет, там ничего не забывают. И если

Левис умер, его казнят. Он спас ей жизнь и тем искупил смерть Левиса, сказала она. Верь мне, Адам, верь, прошу тебя. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Ведь мы уже так близко.

— Ты что-то совсем притихла, — сказал он, преодолевая смущение; он уже не погонял волов, а сидел с ней рядом на задке фургона. Передняя стенка была опущена, старик их не видел.

— Неможется что-то, — ответила она уклончиво.

— Ты заболела?

Она качнула головой.

— Нет. — Лицо у нее было очень бледное. — Наверное, меня просто растрясло. Мы тащимся так медленно. И совсем не останавливаемся передохнуть.

— Старик сказал, что хочет засветло добраться до Жемчужной.

— Значит, осталось всего ничего?

Только Капстадская низменность. Завтра мы увидим Гору. А через три дня — с таким тяжелым грузом, наверное, через четыре…

Она кивнула; глаза ее были потуплены, спущенные вниз ноги качались. Из-под колес фургона поднималась пыль и стлалась за ними облаком.

— Тебе очень тяжело? — спросил он.

— Нет, что ты.

Под его упорным взглядом она медленно подняла голову и посмотрела ему в глаза.

— Что-то тебя мучит, я же вижу.

Она не ответила.

— Элизабет.

Она качнула головой. Глаза ее горели. Так что же, значит, счастья не существует? Значит, мы лишь гонимся за призраком? Нет, неправда, счастье не призрак, оно есть, существует, я его испытала. И рай на земле существует. Пусть лишь мгновенье, пусть мы знаем, что вот-вот нас оттуда изгонят, но он есть!

— Не сердись, — прошептала она, прижимаясь головой к его плечу. — Просто мы эти дни живем с тобой розно, и мне от этого не по себе. Но как только мы приедем… Я счастлива, поверь мне, очень счастлива.

… — Нет, моя девочка, — сказал ее отец. — Игра тебя сейчас не занимает, твои мысли далеко. — Он протянул руку над доской, помедлил минуту, потом смахнул с доски фигуры. — Что с тобой? — спросил он.

— Я просто волнуюсь, невеста перед свадьбой и должна быть рассеянной. — Элизабет с усилием улыбнулась, стараясь обмануть отца.

— Нет, по-моему, ты ничуть не волнуешься. Твоя мать за эти недели с ног сбилась. А ты…

— Мне просто хотелось в этот последний вечер побыть с тобой вдвоем, — призналась она. — Потому я и сказала, что хочу сыграть партию в шахматы. Ты ведь так занят.

— С завтрашнего дня ты будешь посвящать все свое внимание мужу.

— Да.

— Он очень достойный человек. Я доволен. Но, конечно, я буду скучать о тебе.

— Не навеки же мы уезжаем.

— Но когда вы вернетесь… — отец грустно улыбнулся. — Помнишь, как в Библии сказано: «…и станут одна плоть»…

— И люди правда становятся одной плотью? — взволнованно спросила она. — Ты тоже стал? Значит, это в самом деле такое счастье и ради него можно жертвовать всем на свете?

— Нет, это не жертва, — возразил он. — Люди сами выбирают свою судьбу, по своей собственной воле.

— А много ли у нас этой воли? — пылко спросила она.

— Ты сама нам объявила, что выходишь замуж за Ларсона, — напомнил он.

— Я не об этом, — с досадой возразила она. — Я хочу знать, возможно ли такое вообще, могут ли люди стать одной плотью, раствориться в другом без остатка, отказаться от своей воли.

— Родная моя… — Он замялся.

— А вдруг в один прекрасный день у тебя откроются глаза и ты увидишь, что ошибся? Что вы всегда были чужие? И ваша жизнь — как две колеи от колес фургона, они идут по пыльной земле рядом, никогда не пересекаясь, и исчезают за горизонтом…

— Невесту перед свадьбой всегда одолевают сомнения, это естественно, — стал успокаивать ее отец. — С мамой было точно так же.

— Почему ты не хочешь говорить со мной откровенно? — резко перебила она.

— Но я же объясняю тебе…

— Ты решаешься на важный поступок с открытыми глазами. Ты уверен, что не обманываешь себя. Но на самом деле все это тебе как бы снится. Потом ты просыпаешься и понимаешь, что видел сон… — Она задумалась. — Ты действуешь по убеждению, ты веришь, что поступаешь так, как должно. Может быть, тебе даже приходится бросить вызов всему миру. Но ты надеешься, что создашь для себя собственный мир. Для себя и

своего избранника. Вы прилепитесь друг к другу и будете одна плоть. А потом однажды… что будет, если вдруг однажды ты проснешься и поймешь, что ты по-прежнему один? А близкие тебе лишь скажут: «Ага, мы тебя предупреждали, но ты нас не слушал. Теперь расплачивайся…»

— Ты преувеличиваешь, Элизабет, — сказал отец, начиная сердиться. — Я попрошу доктора дать тебе успокоительных капель.

— А что ты сделал в тот день, когда проснулся и прозрел? — спросила она с намеренной жестокостью.

Отец глянул на нее и опустил голову.

— Как ты узнала? — спросил он чуть слышно.

— Все это видят, ты что же, сомневался?

Он покачал головой.

— Мы любили друг друга и сделали все, чтобы быть вместе. Ее семья была против, родные твердили ей, что это будет мезальянс. Она привыкла к довольству, к роскоши. А я был всего лишь скромный гражданин Капстада, и отец мой бунтовал против губернатора. Но мы решили доказать, что будем счастливы вопреки всем и всему.

— Вы любили друг друга, вы преодолели столько препятствий, что же погубило ваше счастье?

— Не знаю. — Отец вздохнул. Казалось, он сразу

постарел. — Ты думаешь, счастье может погубить только какое-нибудь особое злодейство или коварство? Нет, оно просто уходит незаметно. В один прекрасный день ты вдруг обнаруживаешь, что мир совсем не такой, как тебе казалось.

Она смотрела на пустую доску.

Он порывисто встал, подошел к ней и положил ей руки на плечи.

— Элизабет, прошу тебя, отбрось сомнения. Ты не спасуешь перед жизнью. У тебя есть воля, мужество, я это еще в детстве видел. Тебе досталась горячая кровь моей матери-гугенотки и непримиримость моего отца. Это поможет тебе выстоять. Я верю в тебя, слышишь? — Его руки дрожали у нее на плечах. — Довольно и того, что я неудачник. Ты должна, должна быть счастлива. Твоя жизнь будет прекрасной, достойной, ты не зря ее проживешь. Пусть тебе удастся то, что мне не удалось.

Она сжала его руку, глядя перед собой в пустоту.

— И для всего этого довольно выйти замуж, прилепиться, быть одной плотью? А моя душа, моя воля?

Он покачал головой, рассмеялся невесело.

— Ты всегда все хотела повернуть по-своему.

Какая ты упрямая!

— Да потому что у меня собственное представление о счастье! — вскричала она. — И я не буду жить по чужой указке. Я не просто женщина, я человек, и я хочу оставить в жизни след. Я не хочу, умирая, думать, что прожила свою жизнь впустую.

— Родная, значит, тебе действительно так тяжело?

Она снова посмотрела на доску.

— Зря мы, наверное, оставили игру, — сказала она со вздохом. — От разговоров мало толку. — Она встала и посмотрела отцу в глаза. — Прошу тебя, не обращай внимания. Я просто волнуюсь перед свадьбой и говорю глупости. Я счастлива, поверь мне, очень счастлива…

Фургон катился по дороге. Они сидели рядом и молчали. Потом он протянул руку и положил ей на колено. Она накрыла ее ладонью. Скрипел фургон, покачивался на ухабах.

За это счастье я буду драться, думала она. Я никому не дам его погубить. Мы выстрадали его, оно принадлежит нам по праву. До нынешнего дня о нашей любви знали лишь мы, через несколько дней она станет известна всему миру. Но я буду драться за нее. За то, чтобы мы с тобой всегда

были одна плоть. Иначе зачем был этот долгий путь? Не может быть, чтобы мы прошли его напрасно. Мы будем жить, мы будем вместе. Все это время мы были лишь муж и жена, мужчина и женщина, два живых существа, затерявшиеся в пустыне. Завтра Капстад постарается всеми силами превратить нас в черного раба и белую госпожу. Она крепко зажмурила глаза. Я люблю этого человека, который сидит рядом со мной, этого незнакомца, которого я знаю так хорошо.

Нет, довольно сомневаться, довольно думать, что все могло бы быть иначе. Это недостойно нас, бессмысленно. Так случилось, так должно было случиться, потому что ты — это ты, а я — это я. Будь мы другими, мы и поступали бы иначе. Мы сами выбрали свою судьбу — и все, что с нами было, и все, что будет. А эта страна нам помогла. И значит, мы не имеем права ни о чем жалеть.

Наивность девочки, стоящей на ветвях шелковицы.

— Если госпожа согласна, мы здесь и заночуем. А завтра чуть свет отправимся на базар, — говорит старик Януарий, стоя перед ней со шляпой в руках.

Он гнал волов без передышки, чтобы одолеть Капстадскую низменность за три дня, и вот уже

город лежит перед ними и солнце закатывается прямо за Горой. Ясно виден мрачный каменный дворец, белые дома среди садов, зеленые ущелья и красные скалы Чертова пика, Столовой и Львиной гор. Внизу широкой дугой раскинулся залив. День за днем Гора медленно, незаметно поднималась навстречу им из-за горизонта, становилась все более синей, все более грозной в своем отрешенном молчании. И вот они пришли к ее подножью.

— А может быть, все-таки доедем? — с волнением, но нерешительно спрашивает Элизабет.

— Сударыня, а где же тогда я буду ночевать? Ведь мне в Капстаде не у кого остановиться.

— Мы можем дойти отсюда пешком, — говорит Адам. — Ведь город — рукой подать. Хотите?

— Не знаю, право. — Она вдруг растерялась. — Мы так близко. Всю дорогу я не чаяла доехать, а сейчас вдруг…

— Я понимаю. Но ведь не ночевать же на дороге, — говорит Адам.

Она глядит на него, спрашивая взглядом. Он чуть заметно кивает головой в сторону моря. Она не сразу понимает, что он задумал, но соглашается. Ей кажется, что ноги у нее налиты свинцом, на желудке тяжесть, ее подташнивает.

— Если хотите, я, так и быть, отвезу госпожу, — покорно предлагает Януарий.

— Нет, — говорит она, — не надо, мы пойдем пешком.

— А госпожа не заблудится? Там столько домов.

— Не беспокойся. — Элизабет слабо улыбается. — Ты забыл, я ведь там родилась и выросла.

— Ну тогда конечно, сударыня. — Он роется в ящике под козлами и достает оттуда кусок вяленого мяса. — Возьмите на дорогу. Это ведь только кажется, что город рукой подать, на самом деле до него еще идти и идти. Проголодаетесь и перекусите.

— А тебе осталось? — спрашивает Элизабет.

— Нет. Да мне и не надо. Приеду утром на базар и куплю чего-нибудь.

— Не надо, Януарий, — говорит она. — Я привыкла подолгу обходиться без еды.

— Как же так, сударыня, ведь вы — женщина.

— Оставь мясо себе, Януарий. Мы обойдемся.

— Старый раб с благодарностью кланяется.

И вот они пускаются в путь. На этот раз у них нет никакой поклажи, нет даже маленького узелка и каросс. Им ничего не надо. Они в молчании идут среди кустов молочая. Как странно, они

опять одни.

Вечность назад я ехала этой дорогой, отправляясь в путешествие, и со мной было два крытых фургона, две упряжки по десять волов в каждой и еще двенадцать волов про запас, четыре лошади, восемь собак, пятнадцать кур, шесть готтентотов, Херманус Хендрикус Ван Зил, Эрик Алексис Ларсон. И вот я возвращаюсь одна. Бедный Эрик Алексис Ларсон. Бедный Херманус Хендрикус ван Зил. Вы оба не выдержали встречи с женщиной. Неужто я действительно несу в себе проклятье?

...Город хорошо спланирован, пересекающиеся под прямым углом улицы широки, но мостовая ничем не вымощена, в этом и нет надобности, так как земля здесь твердая. Большинство улиц обсажено дубами. Названий улицы не имеют, кроме одной — Гееренграхт, на ней стоит дворец, а перед дворцом — площадь. Дома, построенные по большей части в одном стиле, красивы и просторны, однако не выше двух этажей; многие из них снаружи оштукатурены и побелены, некоторые выкрашены в зеленый цвет — любимый цвет голландцев. Лучшие дома в городе сложены из местного синеватого камня, который добывают каторжники в карьерах острова Роббен. Дома, как правило, покрыты темно-бурым тростником

(Restio Tectorum), который растет в сухих песчаных местах. Он прочнее соломы, но тоньше и более ломок. Этот кровельный материал получил в Капстаде такое широкое распространение, видимо, потому, что свирепствующий в этих краях знаменитый юго-восточный ветер-«убийца» срывает более тяжелые крыши и причиняет неисчислимый ущерб и жертвы…

Как только фургон исчез за кустами молочая, они свернули с дороги направо и двинулись к морю. Подкрадывались сумерки. Над головой пролетела розовым облаком стая фламинго, они держали путь в сторону болота за Чертовым пиком.

Снова я на берегу, куда море выкинуло меня в ту ночь вместе с обломками плота и где я заново родился на свет. «Круг должен замкнуться, — сказала ты. — Чего бы нам это ни стоило…»

Был отлив, крошечные волны тихо набегали на мокрый песок, пахло водорослями и бамбуком. Они шли по луке залива у самой кромки воды, не оставляя следов. Темнело. Ночь была безлунная. Начали выступать звезды. Зажегся Южный Крест, шесть звезд Кхусети, стал виден Млечный Путь, звезды осыпали все небо.

Держась за руки, ни от кого не прячась, по-

дошли они к подножью склона, на котором раскинулся город. Волны лизали им ноги, и вода в этот теплый вечер была ледяной. Горели желтые огоньки вдали, тускло светились освещенные лампами окна. Что это, неужели музыка? Наверное, во дворце бал, офицеры в шитых золотом мундирах танцуют с дамами в нарядных платьях с кринолинами и в пудреных париках, благоухают розы, рабы разносят на серебряных подносах привезенное из Франции бургундское в хрустальных бокалах… Нет, наверное, ей почудилось, никакой музыки нет. Вот море действительно шумит и плещет, ракушки шуршат под ногами — эти звуки не могут обмануть.

Дальше идти не надо. По-прежнему держась за руки, чтобы не потерять друг друга в темноте, они поднялись на берег и сели на мягкий сухой песок, прогретый за день жарким солнцем.

Помнишь ночь, когда нас выследили львы? Какой огромный мир лежал тогда вокруг нашего крошечного лагеря. Обезумев от голода, львы прыгнули через колючую ограду прямо на огонь, все смяли, сокрушили, угнали перепуганных волов в ночь и одного сожрали. Те же звезды были тогда над нами.

Элизабет и Адам сидели рядом. Им не хотелось

говорить, да слова были и не нужны. Тишина подавляла.

Помнишь день, когда я спустилась к речке, где ты купался, и ты вышел ко мне обнаженный? Ты заставил меня посмотреть на тебя с уважением, признать в тебе человека. Как я боялась тебя и желала, как боялась себя. Какая странная, непостижимая сила во мне живет? Какой скрытый даже от меня самой неизведанный мир?..

И еще был день, когда во дворце устроили бой быков и перед началом священник читал молитву. Бык был полон сил и жизни, под атласной кожей играли мускулы, а потом все превратилось в кровавое месиво вперемешку с песком и навозом. И я ушла домой, чувствуя, что очистилась, освободилась от всего, что меня мучило.

Сейчас мы как скелет змеи — мы сбросили все временное, тленное.

Она сама начала его ласкать, так тихо, бережно, что он и не заметил, как под ее руками возникла жизнь. Потом он прошептал:

— Сними свою одежду.

Они не видели друг друга, ночь была совсем темна. Но они снова были наги, чужая одежда была отброшена прочь. Он обнял ее, и ее руки снова с нежностью коснулись его тела. Потом она

опрокинула его на спину и отвела стремящиеся к ней руки. Он понял и согласился. Странно, но оба почему-то чувствовали, что сегодня он должен подчиниться ее ласкам.

Любовь? Близость и ночь.

И в ней, и в нем откуда-то из глубины их существа поднимался могучий вал прибоя. Я хочу навеки сохранить в себе каждое твое прикосновение, навеки сохранить в себе тебя. Что бы ни случилось потом, этот миг принадлежит нам, он будет с нами до конца.

Как прекрасна смерть.

— Аоб… — прошептала она, прижимаясь щекой к его щеке.

Мы лежим с тобой так тихо, но в этот миг мы снова проходим весь назначенный нам путь.

Кто ты? Ты самое дорогое, что есть у меня в мире, но что я знаю о тебе?

Как только начало светать, они сбежали к морю, и едва не задохнувшись от обжигающего холода, принялись окачивать друг друга водой и плескаться. Потом, стуча зубами, выскочили на песок, дождались, пока их обсушит солнце, оделись и пошли к подножью Львиного хребта, где он будет ждать ее в роще среди кустов, так они решили. Она пойдет одна и все заранее устроит,

а потом вернется за ним. Ведь осталось только закрепить свободу, которую он получил давно.



Зимой в нашу пещеру вбежал детеныш антилопы, спасаясь от стужи, а может быть, от хищников. Но ты убил его. Потом убил собаку. А наш ребенок? Что будет с ним? Нужно научиться жить после того, как предал. Ты говорил мне: «Это мясо, это пища, без нее мы умрем». Я не хотела ее есть, но потом все-таки ела вместе с тобой. Наверное, иначе нам было бы не выжить. И ты был прав во всем, с начала до конца.

А дальше, наверное, было так. Он час за часом сидел в зарослях молочая, терпко пахнущих на солнце, глядел на лениво ползущие облака. Они сгустились и закрыли своей шапкой вершину, поднялся ветер, стал крепчать, расти, ломать ветки деревьев и кустов, среди которых он прятался.

А потом сквозь шум ветра до него донесся лай собак, лошадиное ржанье… все ближе, ближе… И он в тревоге, замирая от волнения, поднялся на ноги.

И поднявшись, увидел людей, которые шли к нему из далекого города, за их спиной была высокая гора, вокруг ревел ветер. Он стал искать среди людей ее, но не нашел — ее не было. Что с ней случилось? Он ничего не понимал. А потом вдруг понял и сразу покорился. Ведь иного и быть

не могло, все было предопределено заранее.

Сложив на груди руки, он спокойно стоял на разгулявшемся ветру и ждал солдат, которые приближались к нему верхом со сворой псов.

В душе у него была тишина и ясность. Он знал: сейчас они спросят, как спросила она в самом начале: «Кто ты?»

Что ж, пусть, думал он, ловя открытым ртом ветер. Никто не отнимет у нас мир, который живет в нас, даже мы сами. Но, боже мой, боже, какой долгий путь нам с тобой предстоит. Нет, не надо думать о том, что нас ждет, надо верить.

